АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1984

СОДЕРЖАНИЕ

Чесноков П. В. (Таганрог). Логические и семантические формы мышления как значение грамматических форм 3
Петр Я. (Прага). Международная целевая программа «Национальные языки в развитом социалистическом обществе» (социально-лингвистические, методологические и научно-практические аспекты) 14

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Горелов И. Н. (Саратов). Проблема лингвистического обеспечения искусственного интеллекта 20
Меновщиков Г. А. (Ленинград). Эскимосско-алеутское языкознание. Итоги и проблемы 28
Журавлев В. К. (Москва). Диахроническая фонология. Состояние и перспективы 39
Шабес В. Я. (Ленинград). О проекции содержательных единиц на план выражения 49
Васченко В. (Бухарест). Грамматическая категория общего рода в русском языке 60
Попова З. Д. (Воронеж). Может ли обойтись синтаксис без учения о членах предложения? 69

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Шелов С. Д. (Москва). Терминология, профессиональная лексика и профессионализмы (К проблеме классификации специальной лексики) 76
Алексеев М. Е. (Москва). К вопросу о классификации лезгинских языков 88
Вейхман Г. А. (Москва). Лингвистика текста и проблема сложноподчиненных предложений 95
Муравицкая М. П. (Киев). Психолингвистический аспект взаимодействия лексического и грамматического в слове 108

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Мельничук А. С. (Киев). Лингвистическая проблематика на IX Международном съезде славистов 116

Рецензии

Слюсарева Н. А. (Москва). *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии 126
Репина Т. А. (Ленинград). *Будагов Р. А.* Язык — реальность — язык . . 129
Иванов В. В. (Москва). Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги 132
Лаанест А. Х. (Таллин). Heutige Wege der finnischen Dialektologie . . . 136

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 140

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1984 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ЧЕСНОКОВ П. В.

ЛОГИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ КАК ЗНАЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ

Логические формы мышления (такие, как суждение, вопрос, побуждение, объединяющая их более общая форма — логема [1—6], понятие, умозаключение и разновидности этих форм) в силу их обусловленности потребностями процесса познания и, в конечном счете, потребностями практической деятельности людей являются общечеловеческими. В связи с этим воплощение логических форм в определенных грамматических формах (единицах) обусловливает универсальный характер последних и, следовательно, общие структурные черты всех языков мира. Универсальными следует признать, например, слово и предложение [7; 8, с. 110; 9, с. 122], а также основные коммуникативно-функциональные типы предложений — повествовательное, вопросительное и побудительное предложения.

Однотипность мышления всех людей и, следовательно, единство логического строя мыслительной деятельности людей, говорящих на разных языках, не раз подчеркивали классики марксизма-ленинизма, а также многие логики, психологи и лингвисты. «Так как процесс мышления,— писал К. Маркс,— сам вырастает из известных условий, сам является *естественным процессом*, то действительно постигающее мышление может быть лишь одним и тем же, отличаясь только по степени, в зависимости от зрелости развития, следовательно, также и от развития органа мышления» [10].

Согласно утверждению выдающегося русского лингвиста А. А. Потебни, «логические категории... народных различий не имеют» [11, с. 69].

Однако при общности логического строя мышления протекание мыслительной деятельности на базе конкретных языков с неодинаковым грамматическим строем порождает определенные различия во внутренней организации мысли, которые не обусловлены потребностями процесса познания и не определяют познавательных возможностей человека. Поэтому они не представляют интереса для логики и гносеологии. Такие различия наблюдаются также в рамках одного языка при переходе от одного этапа исторического развития к другому.

Основываясь на результатах наблюдения, а значит, на фактических данных, А. А. Потебня отмечал, что «языки различны между собой не одной звуковой формой, но всем строем мысли, выразившимся в них» [11, с. 69].

Таким образом, кроме логических форм мышления, порожденных процессом познания и в связи с этим общечеловеческих по своей природе, существуют чисто структурные формы мыслей, связанные с особенностями конкретных языков и, следовательно, национальные по своему характеру, которые, естественно, могут совпадать в различных языках и, наоборот, быть неодинаковыми при оформлении идентичного содержания в одном и том же языке. Назовем их семантическими формами мышления.

Неразличение логических и семантических форм мышления ведет к серьезным ошибкам, среди которых можно выделить две крайности.

Первая крайность — это сведение всех форм мышления к логическим, свойственное логическому направлению в языкознании («Грамматика Пор-Рояля», К. Беккер, Г. Герман, Н. И. Греч, частично Ф. И. Буслаев [12—14]). Справедливо квалифицируя логические формы мышления как единые для всех людей и признавая формы языка воплощением этих форм, представители указанного направления трактуют и языковые формы как

универсальные, усматривая специфику языков лишь в звуковом составе, а не в значении их форм.

Вторая крайность — сведение всех форм мышления к семантическим под общим названием «логические формы», характерное для неогумбольдтианства, и приписывание в связи с этим национальных различий логическому строю мышления [15].

С другой стороны, признание как общечеловеческих логических форм, так и национальных семантических форм мышления при игнорировании диалектики общего и отдельного может вести к разрушению единства человеческого мышления — метафизическому разделению и противопоставлению в нем двух сфер, двух типов мыслительной деятельности — языкового и надъязыкового (логического) мышления, что свойственно, например, представителям психологизма.

Г. Штейнталь считает, что язык есть особое мышление, протекающее по своим самобытным законам и в формах, отличных от форм логического, неязыкового мышления [16].

«Язык есть тоже форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается»,— заявляет А. А. Потебня [11, с. 70].

Аналогичные взгляды высказывают Г. Пауль и О. Есперсен [17—19].

Во второй половине XX в. разграничение и противопоставление двух разных типов мышления — логического и языкового — наблюдается в концепции двух сфер преломления действительности при ее отражении в сознании человека — сферы мышления и сферы языка [20, 21].

Между тем «...отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее» [22, с. 318]. Это значит, что логические и семантические формы существуют в неразрывном единстве, как две стороны единого процесса организации мысли, протекающего в одной сфере языкового мышления. Логические формы как универсальные способы построения мысли, как общие структуры единиц мышления всегда реализуются в более частных, национальных по природе структурах мысли, связанных с особенностями грамматического строя конкретных языков,— в семантических формах мышления [23—25].

Утверждение, что семантические формы не обусловлены потребностями процесса познания и не определяют познавательных возможностей человека, не означает, будто мышление могло бы осуществляться без них. Любая из семантических форм не является необходимой для формирования мысли, любую из них можно заменить другой, выразив отражение того же факта объективной реальности с помощью единицы языка, имеющей иную грамматическую форму, т. е. каждая конкретная семантическая форма факультативна для мыслительной деятельности, однако в любом случае мысль должна быть облечена в какую-нибудь семантическую форму, что свидетельствует об облигаторности категории семантических форм в целом. Каждая же логическая форма необходима для мышления сама по себе, не может быть устранена без ущерба для него, не может произвольно заменяться другой логической формой. Замена одной логической формы другою изменяет роль мысли в мыслительном процессе, несмотря на отражение прежнего факта действительности (например, замена понятия *плодородные донские земли* суждением *Донские земли плодородны*).

Не следует подменять понятие факультативности конкретных семантических форм мышления с точки зрения общечеловеческого процесса познания (конкретных форм, а не категории семантических форм в целом!) понятием факультативности специфических форм, присущих определенному языку, для мышления на этом языке. В результате такой подмены Б. А. Серебренников приписывает сторонникам концепции семантических форм чуждое им утверждение, будто и для мышления на данном конкретном языке все обусловленные им семантические формы не являются необходимыми, которое затем обоснованно оспаривается [26, с. 132]. Разумеется, те семантические формы, без которых невозмож-

но осуществление мыслительного процесса на данном конкретном языке, необходимы для мышления на нем и для условий, при которых может быть использован только этот язык, но они факультативны для общечеловеческого процесса познания, так как могут быть заменены другими при мышлении с помощью иного языка. Разграничение логических и семантических форм мышления, по мнению Б. А. Серебренникова, означает неправомерное исключение семантических форм из сферы логического познания [26, с. 144—145], в то время как в работах, критикуемых Б. А. Серебренниковым, специально подчеркивается неразрывное единство логических и семантических форм, их принадлежность к одной сфере языкового мышления, которая, естественно, представляет собой область логического познания и включает в себя, кстати, кроме логических и семантических форм, также и наполняющее их содержание. Из сказанного вытекает, что Б. А. Серебренников в рассматриваемых случаях подвергает критике сформулированные им самим положения, которые он приписывает другим авторам.

Хотя семантические формы безразличны для логики и теории познания, их изучение необходимо для языкознания, так как без них невозможно воплощение мысли в конкретных формах языка, и материальные формы языка как способы организации языковой материи, как определенные структуры плана выражения не могут быть квалифицированы (истолкованы) и отнесены к определенной категории без учета выражаемых ими семантических форм мышления, которые, в сущности, составляют их собственно грамматическое значение, следовательно, определяют их функциональную роль в речи. Будучи национальными или присущими лишь ограниченной группе языков, семантические формы вместе с воспроизводящими их грамматическими формами образуют специфические черты конкретных языков или языковых групп. Целый набор таких характерных черт может выступать в качестве типологической характеристики отдельного языка или языковой группы.

Исключительное многообразие семантических форм не позволяет описать каждую из них в отдельности. Однако представляется возможным наметить восемь основных параметров этих форм, в рамках которых может быть описана любая семантическая форма. Эти параметры едины для всех языков. Различия между конкретными семантическими формами и, следовательно, между определенными языками, которым присущи те или иные семантические формы, состоят в конкретных характеристиках форм в рамках каждого параметра.

Первый параметр — степень расчлененности содержания при отражении действительности.

Одно и то же содержание при построении мысли структурно может быть расчленено на большее или меньшее число компонентов (сегментов) или совсем не расчленено.

При аналитическом способе выражения отношений между предметами и явлениями предмет и отношение к нему мыслятся раздельно, противопоставляясь друг другу, при флективно-синтетическом — слитно. Это значит, что различие между языками аналитического строя и языками флективно-синтетического строя связано с раздельным и слитным отражением предметов и отношений к ним.

В латинском *fratris liber*, как и в русском *книга брата*, отношение книги к брату (принадлежность) мыслится одновременно с братом благодаря их выражению одним словом. Противопоставление отношения предмету полностью исключается. Уже в народной латыни начинает использоваться предлог для раскрытия отношения к предмету (*liber* ***de*** *fratre*) [27, с. 106, 109]. Аналитический способ выражения отношений закрепляется в современных романских языках (ср. франц. *le livre* ***du*** *frère*). Раздельное осмысление отношения и предмета при наличии предлога доказывается появлением идеи отношения до произнесения имени: если в приведенных примерах слово *брат* по какой-либо причине не будет произнесено и прозвучит только *liber de...* или *le livre du...*, у слушателя все же

успеет сформироваться идея принадлежности книги кому-то, что свидетельствует об отчленении идеи отношения от идеи предмета, об их противопоставленности при использовании аналитической формы.

В древнерусском языке были широко распространены определенно-личные односоставные предложения с глаголом-сказуемым в 1-м и 2-м лице (*Иду*, *Несешь*). Выраженность действия и лица в одном слове (глаголе) обусловливала их слитное отражение, снимала возможность их противопоставления и акцентирования одного из этих компонентов. По мнению А. А. Потебни, А. И. Соболевского, А. И. Томсона, А. А. Шахматова, С. П. Обнорского, Т. П. Ломтева, Е. И. Истриной, употребление местоимений (т. е. обращение к двусоставным предложениям) было вызвано необходимостью подчеркивания лица с помощью логического ударения, потребностью в выделении субъекта действия, в его противопоставлении действию, а также в противопоставлении одного субъекта другому, что невозможно без мысленного отделения субъекта от действия [28, с. 17—20, 60—63, 66, 73, 75—77].

Второй параметр — степень самостоятельности отражаемого содержания.

В отличие от первого параметра этот параметр характеризует то же структурное явление как бы с обратной стороны. Если в рамках первого параметра раскрывается отношение целой мысли к разным участкам ее содержания со стороны расчлененности (разделенности) в сознании объективно единого содержания, то в пределах второго параметра устанавливается обратное отношение разных участков содержания мысли ко всей данной мысли в том же аспекте.

В пределах второго параметра мыслительное содержание делится на отдельное — организованное в самостоятельную единицу мышления, особый сегмент (например, идея принадлежности, выражаемая предлогом во французском *le livre **du** frère*), и слитное — слившееся воедино с другим содержанием, не образующее отдельного сегмента (например, идея принадлежности, воспроизводимая словоформой неотделимо от идеи предмета в латинском *fratris liber*).

Отдельное содержание (сегмент), в свою очередь, может быть структурно несамостоятельным и структурно самостоятельным. Структурная несамостоятельность единицы мышления и языка состоит в том, что она оказывается неспособной выступать в определенном отношении к содержанию другой единицы и подключается к другой единице с целью раскрытия ее отношения или уточнения ее содержания. Структурно несамостоятельная единица мышления выражается в языке служебным словом. Такова, например, идея принадлежности, воссоздаваемая предлогом в приведенном выше французском словосочетании. Ее структурная несамостоятельность подтверждается недопустимостью смыслового вопроса к ней или от нее. Структурная самостоятельность единицы мышления и языка есть ее свойство выступать в определенном отношении к содержанию другой единицы (других единиц), о чем свидетельствует возможность постановки смыслового вопроса от данной единицы к другой или от другой единицы к данной, который и служит для выявления смыслового отношения. Если мы идею принадлежности выразим знаменательным словом, включенным в словосочетание или предложение, то она приобретет структурную самостоятельность. Например: *Я узнал о **принадлежности** книги брату.*

Третий параметр — распределение совокупного содержания мысли между ее компонентами.

В отличие от первого параметра, образующего чисто количественную сторону расчленения целостной мысли на отдельные сегменты, т. е. охватывающего лишь ее расчлененность на большее или меньшее количество компонентов, третий параметр объединяет в себе различные способы распределения содержания этой мысли между ее структурными компонентами, т. е. способы качественного расчленения мысли. При сохранении одного и того же совокупного содержания целостной мысли и количества составляющих ее компонентов это содержание может по-разному распре-

деляться между отдельными компонентами, потому что на стыке каждых двух непосредственно соотнесенных компонентов какая-то часть содержания может включаться то в состав одного, то в состав другого компонента.

Такие изменения формы как внутренней организации содержания чаще всего касаются слияния идеи отношения либо с компонентом, от которого направлено отношение, либо с компонентом, к которому направлено отношение.

Так, в русском *Иду через улицу* идея локального отношения подключена структурно к содержанию имени (т. е. к понятию о предмете), а в тождественном ему по объективному содержанию *Перехожу улицу* та же идея отношения вливается в содержание глагола (т. е. сливается с понятием о действии). В немецком *Ich steige auf den Berg* («Я поднимаюсь на гору») идея локального отношения структурно объединена с содержанием имени, в предложении же *Ich besteige den Berg*, отображающем ту же объективную ситуацию, идея того же отношения сливается с содержанием глагола.

В структуре предложения современных германских языков при наличии отрицательного местоимения недопустимо второе отрицание при глаголе (нем. *Niemand kam*, англ. *Nobody came*), что было характерно и для древнерусского языка. Например: *Никтоже приходилъ къ нимъ* («Житие Феодосия Печерского» — по списку XII в., л. 45б) [28, с. 227—234].

В современном русском языке в подобных случаях обязательно употребление отрицательной частицы *не* перед глаголом, иначе окажется невозможным общеотрицательный смысл предложения (*Никто не пришел*). Такая языковая и семантическая форма обусловливает присоединение идеи отрицания к понятию о действии, которое в результате отрицается относительно всего класса предметов, обозначенных местоимением. Элемент *ни* в составе местоимения приобретает усилительно-разделительное значение, акцентируя факт отрицания действия относительно каждого предмета в пределах класса.

В соответствующем немецком, английском и древнерусском предложениях идея отрицания включается в содержание местоимения, которое в связи с этим выражает мысль об отрицаемом классе предметов. Утверждение же действия относительно отрицаемого класса предметов придает предложению такой же общеотрицательный смысл, какой наблюдается в местоименных общеотрицательных предложениях современного русского языка, но грамматическая и семантическая форма предложений с отрицательными местоимениями в немецком, английском и древнерусском языках оказывается иной.

Четвертый параметр — характер охвата отражаемого содержания.

Если предыдущий параметр выявляет отношение совокупного содержания целостной мысли к содержаниям ее компонентов, то рассматриваемый параметр обнаруживает обратное отношение содержания любого компонента к содержанию всей мысли, в состав которой он входит, а поскольку последняя может быть сколь угодно широкой по своему содержанию, постольку речь может идти об отношении содержания отдельной единицы мышления к любому более широкому содержанию, представленному в каждом данном случае в виде целостной более широкой мысли или не представленному. Это отношение состоит в концентрации в отдельном компоненте (в отдельной единице мышления) не только большего или меньшего содержания, но и именно данного содержания, а не другого. Если идея локального отношения действия к предмету сливается с понятием о действии в одном компоненте (*Перехожу улицу*), этот компонент шире охватывает определенное объективное содержание, чем компонент, отражающий действие в отвлечении от его локального отношения, например, в случае, когда идея этого отношения присоединяется к понятию о предмете (*Иду через улицу*).

Четвертый параметр связан также с первым и со вторым. Большая расчлененность мысли и соответственно сокращение количества участков

содержания, сливающихся в одном компоненте с другим содержанием, приводит к обеднению (сужению) содержания отдельных компонентов. Во французском *le livre du frère* компонент мысли, выраженный существительным *frère* и отражающий предмет в отвлечении от отношения принадлежности, охватывает меньшее объективное содержание, чем в русском *книга брата* компонент мысли, воспроизводимый словоформой *брата* и отражающий тот же предмет слитно с отношением принадлежности.

В санскрите возможны построения типа *убит ногами слонами*, в которых одновременно наблюдаются два параллельных отношения, исходящих от понятия о действии,— к понятию об орудии действия (убит чем? — *ногами*) и к понятию о субъекте действия (убит кем? — *слонами*). В русском языке подобные конструкции недопустимы. Они заменяются выражениями типа *убит ногами слонов*, в которых устанавливаются последовательные отношения понятия действия к понятию об орудии (убит чем? — *ногами*) и понятия об орудии к понятию о субъекте действия (чьими ногами? — *слонов*) [29].

Во втором именном компоненте русского *убит ногами слонов* и санскритского *убит ногами слонами* один и тот же предмет (слоны) отражается совместно с разными отношениями (схватывается, так сказать, в разных отношениях): в русском — совместно с отношением принадлежности (орудия субъекту действия), в санскритском — совместно с отношением осуществляемости (действия субъектом). Таким образом, характер охвата предмета в содержании данного компонента изменяется при переходе от одного языка к другому.

Разница между конкретными и соответствующими абстрактными понятиями (*храбрец — храбрость*, *мудрец — мудрость*) состоит в различном характере охвата содержания: признак отражается в одном случае совместно с его носителем, в другом — изолированно от носителя.

Противопоставленность различных частей речи создается тоже благодаря различному характеру охвата отражаемых фактов: например, в лексико-грамматическом значении существительного отражаются предметы и явления отвлеченно от отношения к ним со стороны других предметов и явлений (*весна*, *шум*, *помощь*, *вопрос*), в то время как наречия могут отражать те же явления совместно с обстоятельственным отношением к ним со стороны других явлений (*весной*, *шумно*), а глаголы часто отображают те же явления слитно с отношением их осуществления, исходящим от других предметов и явлений (*помогаю*, *спрашиваю*). Поэтому наречия иногда допускают замену равноценными по содержанию сочетаниями существительных с предлогами (*по весне*, *с шумом*), а глаголы — сочетаниями отглагольных существительных с очень отвлеченными по значению глаголами, обозначающими лишь активное осуществление действия как таковое (*оказываю помощь*, *задаю вопрос*).

Именно таким формально-семантическим различием между частями речи можно объяснить, почему одни и те же объективные явления могут называться в разных языках словами различных частей речи. Так, индоевропейским существительным, обозначающим отрезки времени (*зима*, *лето*), в языке индейцев хопи соответствуют наречия, а индоевропейским существительным процессуального значения (*молния*, *волна*, *пламя*) — глаголы [30, 31]. Характером охвата содержания определяются различия в семантике морфологических форм (ср. *письмо сына* и *письмо сыну*, где одно и то же лицо — сын — отражается в разных отношениях благодаря употреблению различных падежных форм).

Четыре проанализированных параметра объединяются тем, что в них воплощены отношения между мыслительными единицами разных уровней — между более или менее широкими построениями мысли, с одной стороны, и их компонентами, с другой. Общность четырех следующих параметров состоит в том, что все они характеризуются отношениями между мыслительными единицами одного уровня — между компонентами в пределах одной более широкой мысли.

Пятый параметр — порядок следования компонентов мысли.

Порядок слов оказывает влияние на порядок следования компонентов мысли, так как появление каждого компонента мысли стимулируется соответствующей ему материальной единицей языка. Поскольку же языки различаются порядком слов в предложении и словосочетании, постольку и порядок следования компонентов мысли может быть различным при мышлении на разных языках.

Присущий латинскому языку порядок слов породил такой порядок следования компонентов мысли, при котором определяющие компоненты мысли предшествовали определяемым. Но уже в самой латыни зародился новый порядок слов, получивший распространение и закрепление в романских языках, который обусловливал следование определяющих компонентов мысли за определяемыми [27, с. 102].

В литовском языке несогласованные определения в род. падеже предшествуют определяемым существительным, в русском — следуют за ними (ср. литов. *autobuso sustojimo vieta*, *Gedemino pilies bokštas* и соответствующие им по объективному содержанию русские *место остановки автобуса*, *башня замка Гедеминаса*), и в этом проявляется обусловленная строем языка особая манера в расположении компонентов мысли.

В процессе формирования национального немецкого языка в нем распространилась и закрепилась так называемая рамочная конструкция, важнейшей особенностью которой является расположение неизменяемой части сказуемого в конце самостоятельного простого предложения и сказуемого в полном составе в конце придаточного предложения [32, с. 133 и сл.]. При таком порядке слов действие (предикативный признак) мыслится после всех связанных с ним предметов и явлений: субъекта (носителя), объектов, обстоятельств и их признаков. При мышлении на основе многих других языков (например, русского) действие (предикативный признак) осознается непосредственно после субъекта (носителя) или до него (во всяком случае раньше большинства связанных с ним предметов и явлений при их значительном количестве).

Шестой параметр — система отношений между компонентами мысли.

Человек не может отобразить природу сразу во всей ее полноте [см. 22, с. 164]. Он вынужден познавать ее по частям, причем любой ее отрезок не может быть охвачен полностью в одном познавательном акте и всякий раз отражается с разных сторон. Поэтому, познавая один и тот же участок объективной реальности, люди могут отображать в одних случаях отношения между одними его частями, а в других — между другими. В связи с этим возникают различия в системе отношений между компонентами мыслей, тождественных по объективному содержанию: при одной структуре мысли устанавливаются непосредственные отношения между одними компонентами, при другой — между другими.

На древней стадии номинативного строя языка любой атрибут мыслился как принадлежащий непосредственно предмету. Отношение признака к признаку заменялось прямым отношением признака к предмету. Вместо *Он пришел ночью* в то время говорили *Он пришел ночной*, вместо *тяжело раненый человек — тяжелый раненый человек*. Обстоятельственные синтаксические отношения, раскрывающие принадлежность признака признаку, на этой стадии еще не представлены. Они появились позже в результате разложения древнего номинативного строя [33].

XVI—XVII вв. ознаменовались развитием в строе немецкого языка прежде отсутствовавших инфинитивных оборотов, вводимых предлогами *ohne*, *um*, *statt* [32, с. 6], типа *Er antwortete*, *ohne zu zaudern* («Он отвечал не колеблясь»). Если сравнить приведенное предложение с тождественными ему по объективному содержанию предложениями *Er antwortete und zauderte nicht* («Он отвечал и не колебался») и *Er antwortete ohne Zaudern* («Он отвечал без колебания»), которые были возможны и раньше, легко установить различия в системе отношений между компонентами выражаемых мыслей. В первом предложении отражены отношения субъекта действия к обоим действиям и отрицательное обстоятельственное отношение первого действия ко второму (ответа к колебанию). Во втором предложении также

раскрываются отношения субъекта к обоим действиям, но не выявляется отрицательное обстоятельственное отношение ответа к колебанию. В третьем предложении отражаются отношение субъекта лишь к первому действию и отрицательное обстоятельственное отношение первого действия ко второму.

В немецком языке оборот «винительный падеж с инфинитивом» употребляется после глаголов чувственного восприятия, что невозможно в русском языке. Поэтому предложение *Ich höre einen Vogel singen* (букв. «Я слышу птицу петь») придется перевести на русский язык (если мы хотим оставаться в рамках простого предложения) как «Я слышу пение птицы». При этом системы отношений между компонентами мысли в немецком и русском предложениях оказываются неодинаковыми. В немецком предложении отражаются непосредственные отношения слухового восприятия к птице, слухового восприятия к пению и птицы к пению. В русском предложении отображены лишь два из трех отмеченных отношений: непосредственное отношение слухового восприятия к птице в нем отражения не находит.

Для санскрита, как отмечалось, была типична страдательная конструкция, в которой одновременно отражались отношение между действием и его орудием и отношение между действием и его субъектом (*убит ногами слонами*). В русском языке такая структура заменяется построением *Убит ногами слонов*, благодаря которому раскрывается то же отношение между действием и орудием, но вместо непосредственного отношения действия к субъекту выявляется отношение между орудием и субъектом.

Седьмой параметр — направленность отношений между компонентами мысли.

В действительности всякое отношение между предметами есть взаимоотношение, поэтому любому отношению, направленному от одного предмета к другому, соответствует обратное отношение, направленное от второго предмета к первому. (Так, если первый предмет больше второго, то второй предмет меньше первого.) В мыслительном же акте в каждый данный момент отражается лишь одно отношение, в связи с чем при отображении взаимоотношения между определенными объективными явлениями направленность отношения между соответствующими им компонентами мысли может оказаться различной.

В двусоставном предложении *Выступают акробаты* и в односоставном номинативном предложении *Выступление акробатов* выражаются отношения между тождественными по объективному содержанию компонентами мысли; но в первом случае отношение направлено от понятия об акробатах к понятию о выступлении (речь идет о совершении акробатами определенного действия), что может быть обнаружено с помощью смыслового вопроса, направленного от компонента *акробаты* к компоненту *выступают* (что делают акробаты?); во втором же случае непосредственно раскрывается отношение выступления к акробатам (выступление как активный признак характеризуется со стороны его принадлежности акробатам), об этом свидетельствует вопрос, задаваемый от компонента *выступление* к компоненту *акробаты* (чье выступление?).

В древнерусском языке употреблялись двусоставные отрицательные предложения бытия, в которых глагол сочетался с им. падежом имени. Например: *Николиже въ Великомъ Новѣгородѣ таковъ пожаръ не бывалъ* (Новг. лет., II, 64). В таких предложениях отражено отношение предмета (пожара) к отрицательному признаку, каковым является небытие, а именно обладание небытием. Уже в древнейших памятниках личные предложения с отрицанием при глаголе бытия почти полностью вытеснены безличными, свойственными и современному русскому языку [34]. Теперь бы мы сказали: *Не было пожара*. При безличной структуре раскрывается отношение отрицательного признака к предмету (отнесенность небытия к пожару). Это подтверждается направленностью вопроса от глагола к имени (не было чего?).

В современном русском языке при изображении отношения между действием или состоянием и исполнителем действия или носителем состояния

часто используются безличные односоставные предложения с безличными глаголами, образованными от личных с помощью суф. *-ся*: *Вам пишется легко*, *Ему работается хорошо*, *Как тебе служится*?, *Мне не спится*, *Всем вольно дышится* и т. п. Немецкий язык в этом случае предпочитает двусоставные предложения, в которых отражается отношение исполнителя (или носителя) действия (или состояния) к самому действию (или состоянию), а именно совершение действия его исполнителем или обладание носителя определенным состоянием (например: *Wie dienst du*? «Как ты служишь?»). В соответствующих же односоставных предложениях русского языка раскрывается обратное отношение — отношение действия или состояния к производителю или носителю, а именно принадлежность действия или состояния производителю или носителю (отнесенность действия или состояния к производителю или носителю).

Восьмой параметр — собственно отношения между компонентами мысли.

При отражении одного и того же объективного содержания различия в системе отношений между компонентами мысли и в направленности этих отношений обычно сочетаются с различиями в самих отношениях. Если в санскритском *убит ногами слонами* отражено отношение осуществляемости действия его субъектом, то в соответствующем русском *убит ногами слонов* в силу непосредственной соотнесенности понятия о субъекте действия лишь с понятием об орудии отображается отношение принадлежности орудия субъекту. В немецком *Wie dienst du*?, как было отмечено, раскрывается отношение совершения действия субъектом, в то время как в русском *Как тебе служится*? выявляется отношение принадлежности действия субъекту (отнесенность действия к субъекту).

В двусоставном предложении из древнерусского языка *За много летъ не бывала такова вода* (Пск. лет., I, 134) отражено отношение обладания предмета отрицательным признаком, в соответствующем односоставном *Много лет не было такой воды* — обратное отношение, т. е. отнесенность признака к предмету.

Из понимания формы как внутренней структуры содержания следует вывод о невозможности каких-либо иных параметров семантических форм, кроме описанных восьми. В самом деле, структура есть не что иное, как расчлененность целого на части и взаимоотношение между этим целым и его частями, а также частей между собой. В чисто структурном плане возможны лишь четыре вида отношения между целостной мыслью и ее компонентами:

1) со стороны целостной мысли:
   а) расчленение ее именно на данное количество компонентов,
   б) именно данное распределение совокупного содержания мысли между ее компонентами;
2) со стороны каждой части:
   а) выделенность или невыделенность данной части содержания в особый сегмент (компонент), структурная самостоятельность или несамостоятельность этого сегмента в рамках целого,
   б) воплощение именно данной части совокупного содержания в данном компоненте.

Между компонентами единой мысли допустимы тоже лишь четыре вида отношений:

1) порядок следования компонентов;
2) непосредственная соотнесенность каждого данного компонента с определенным другим (с определенными другими);
3) раскрытие в данном компоненте отношения его содержания к содержанию другого компонента (других компонентов) или отношения содержания другого компонента (других компонентов) к его содержанию, поскольку одновременно оба отношения отражены быть не могут;
4) отражение в данном компоненте именно данного отношения из множества объективно существующих отношений отображаемого в компоненте явления.

Единство формальных особенностей любой мысли во всех восьми параметрах и составляет ее конкретную семантическую форму как способ внутренней организации содержания. Покажем это на примере активной (действительной) и пассивной (страдательной) конструкций в немецком языке: *Paul trinkt Milch* и *Milch wird von Paul getrunken*. Содержание первого предложения расчленено на три компонента, содержание второго — на четыре; идея производимости действия его субъектом выражается предлогом *von* и выступает как отдельная единица, чего нет в первом предложении, в котором идея отношения между субъектом действия и действием поглощается содержанием глагола и сливается с идеей действия. Отношение между действием и объектом в каждом из двух случаев отражается слитно с другим содержанием. Мысли, выраженные обоими предложениями, состоят из трех структурно самостоятельных компонентов, соответствующих трем знаменательным словам.

Различны распределение совокупного содержания между структурно самостоятельными компонентами мысли и, значит, характер охвата отражаемого содержания в каждом компоненте. В первом предложении идея отношения между субъектом действия и действием сливается] с содержанием понятия о действии, обогащая его. На стыке понятий о действии и объекте происходит расщепление идеи отношения: идея собственно отношения (влияния действия на объект) включается в содержание понятия о действии (в словоформе *trinkt* при данном контексте мыслится воздействие на какой-либо объект), идея направленности этого отношения на определенный объект сплавляется с понятием о самом объекте.

Во втором предложении идея отношения между субъектом действия и действием в виде структурно несамостоятельного компонента, выраженного предлогом *von*, подсоединяется к понятию о субъекте, образуя с ним один структурно самостоятельный компонент, хотя и не сливается с ним в одной структурно нечленимой единице. Идея отношения между действием и объектом полностью (т. е. в единстве собственно отношения и его направленности) сливается с понятием о действии в едином нечленимом сегменте [1].

Порядок следования компонентов мысли в сопоставляемых предложениях различен: в первом предложении — понятие о субъекте, понятие о действии, понятие об объекте, во втором— понятие об объекте, понятие о субъекте, понятие о действии.

Система отношений в обоих случаях одинакова (понятия о субъекте и объекте непосредственно соотнесены с понятием о действии); направленность отношений различна: в первом предложении — от понятия о субъекте действия к понятию о действии, от него к понятию об объекте; во втором — от понятия об объекте к понятию о действии, от него к понятию о субъекте действия. В связи с этим отражаемые отношения оказываются неидентичными: в первом предложении отражаются отношение совершения действия субъектом и влияние действия на объект, во втором — испытывание (восприятие) действия объектом и совершаемость действия субъектом.

Проведенный анализ показал, что семантические формы мышления неразрывно связаны с грамматическими формами, что они, в сущности, составляют собственно грамматическую семантику [2] тех грамматических форм, которые не являются универсальными и не выражают логических форм как общечеловеческих способов внутренней организации мысли. Логические формы мышления выступают в качестве собственно грамматической семантики универсальных языковых форм; семантические формы — принадлежность специфической сферы (стороны) грамматического строя конкретных языков, в совокупности они образуют ее план содержания и вместе с системой материальных грамматических форм (структур) определяют своеобразие грамматического строя каждого языка.

---

[1] О различии между действительными и страдательными конструкциями в способе отражения одних и тех же фактов действительности см. [8, с. 119—120; 9, с. 131—133; 35, 36].

[2] См. в связи с этим [37—39].

Поскольку грамматические формы воплощают в себе либо логические формы мышления, либо семантические, изучение грамматического строя языка должно основываться на анализе тех и других мыслительных форм. Такой подход к грамматике в целом можно назвать формально-семантическим, ибо, в конечном счете, и логические формы как способы организации содержания составляют тоже формальную семантику языковых единиц.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Чесноков П. В.* Логическая фраза и предложение. Ростов-на-Дону. 1961.
2. *Чесноков П. В.* Основные единицы языка и мышления. Ростов-на-Дону, 1966, с. 121—126.
3. *Чесноков П. В.* О взаимосоответствии формальных типов языковых и логических построений.— В кн.: Язык и мышление. М., 1967, с. 90, 94.
4. *Панфилов В. З.* Грамматика и логика. М.— Л., 1963, с. 14.
5. *Панфилов В. З.* Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971, с. 113—114.
6. *Визгалов П. И.* Некоторые вопросы диалектики соотношения языка и мышления. Казань, 1962, с. 6.
7. *Мещанинов И. И.* Проблемы развития языка. Л., 1975, с. 33.
8. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977.
9. *Панфилов В. З.* Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982.
10. *Маркс К.* Письмо Л. Кугельману.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., 2-е изд., т. 32, с. 461.
11. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. I—II. М., 1958.
12. *Потебня А. А.* Мысль и язык.— Полн. собр. соч. Т. I. Одесса, 1922, с. 16—18.
13. *Виноградов В. В.* Из истории изучения русского синтаксиса. М., 1958, с. 136—139,
14. *Березин Ф. М.* Хрестоматия по истории русского языкознания. М., 1973, с. 69—75. 156—157.
15. *Holz H.* Sprache und Welt. Probleme der Sprachphilosophie. Frankfurt-am-Main, 1953, S. 59 и сл.
16. *Steinthal H.* Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Prinzipien und ihr Verhältnis zu einander. Berlin, 1855.
17. *Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960, с. 57.
18. *Jespersen O.* Logic and grammar. Oxford, 1924, p. 4.
19. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958, с. 56—57.
20. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 80—81.
21. *Звегинцев В. А.* Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968, с. 62.
22. *Ленин В. И.* Философские тетради.— Полн. собр. соч., т. 29.
23. Философские основы зарубежных направлений в языкознании. М., 1977, с. 56—62.
24. *Чесноков П. В.* Семантические формы мышления и грамматика.— В кн.: Значение и смысл речевых образований. Калинин, 1979, с. 126—145.
25. *Чесноков П. В.* Семантические формы мышления как значение грамматических форм.— В кн.: Семантика грамматических форм. Ростов-на-Дону, 1982, с. 3—11.
26. *Серебренников Б. А.* О материалистическом подходе к явлениям языка. М., 1983.
27. *Сергиевский М. В.* Введение в романское языкознание. 2-е изд. М., 1954.
28. *Борковский В. И.* Сравнительно-исторический синтаксис восточно-славянских языков. Типы простого предложения. М., 1968.
29. *Овсянико-Куликовский Д. Н.* Синтаксис русского языка. 2-е изд. СПб., 1912, с. 25.
30. *Уорф Б.* Отношение норм поведения и мышления к языку.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I. М., 1960, с. 145—147, 153—154.
31. *Уорф Б.* Наука и языкознание.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. I, с. 176—177.
32. *Адмони В. Г.* Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка. Л., 1966.
33. *Кацнельсон С. Д.* Номинативный строй речи. I. Атрибутивные и предикативные отношения: Тезисы диссертации на соискание степени доктора наук. М.— Л., 1939, с. 3.
34. *Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. III. М., 1968, с. 376—380.
35. *Сусов И. П.* Семантическая структура предложения. Тула, 1973, с. 21, 28—29.
36. *Кубик М.* Модели двусоставных глагольных предложений русского языка в сопоставлении с чешским. Прага, 1977, с. 21—30, 59.
37. *Попова И. А.* Сложносочиненное предложение в современном русском языке.— В кн.: Вопросы синтаксиса современного русского языка. М., 1950, с. 391—392.
38. *Кодухов В. И.* Грамматические и понятийные значения.— В кн.: Материалы по русско-славянскому языкознанию. Воронеж, 1963, с. 253.
39. *Чеснокова Л. Д.* Конструкции с предикативным определением и структура предложения в современном русском литературном языке. Ростов-на-Дону, 1972, с. 22—24.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ПЕТР Я.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ В РАЗВИТОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

(социально-лингвистические, методологические и научно-практические аспекты)

Два года тому назад в своей статье [1] я обратил внимание на то, что в вышеназванной программе уделяется большое внимание разным сторонам сознательного воздействия на языковые ситуации, сложившиеся в период строительства развитого социалистического общества. Известно, что функционирование языка обусловлено не только его системной организацией. Не меньшее значение имеет и социологический аспект, воздействие экстралингвистических факторов на систему языка. Поэтому наша монография, планируемая как итог целевой программы, будет включать лингвистическую и социологическую проблематику [2], т. е. в ней будут рассматриваться категории и явления языкового и социального характера. Как отметил Ю. Д. Дешериев [3, с. 304—305], любые лингвистические явления представляют собой социальные феномены, отражающие конкретную специфику языка, а явления социальные — это обобщенное выражение совокупности социальных факторов нелингвистической природы. При этом «нелингвистическое социальное» взаимодействует с собственно лингвистической стороной социолингвистического явления.

В [1] я указал также, что подготавливаемая монография будет строиться на основе марксистско-ленинской философии языка, диалектического понимания соотношения между языком и обществом и, в особенности, ленинской языковой политики и понимания В. И. Лениным функции языка при решении национального вопроса. Этот факт определяет методологический и отчасти методический [4] подход при работе над монографией. Мы стремимся к тому, чтобы в ней содержалось новое синтетическое понимание намеченной проблематики в области теории и реализации языковой политики, чтобы в ней давался анализ социальных факторов, воздействующих на функционирование языка с точки зрения актуальных потребностей социалистического общества. При этом особое внимание будет уделяться специфике языковой ситуации в социалистических странах. Наша монография представит немалый интерес и для развивающихся стран: она будет содержать предложения, касающиеся решения многочисленных чрезвычайно важных в политическом отношении вопросов в этих странах, и окажет благотворное влияние на их стремление преодолеть пережитки колониализма и неоколониализма.

В подготавливаемой коллективной монографии будет содержаться разработка современного состояния теории и практики языковой стороны национального вопроса с учетом конкретных этапов развития общества, с необходимой ретроспективой и прогностическими обобщениями. Достичь этого можно лишь при условии последовательного развития того общего, что в теоретическом плане было сформулировано классиками марксизма-ленинизма.

Маркс и Энгельс впервые показали, что национальный вопрос имеет прежде всего социальное содержание и что его действительное, демократическое решение возможно лишь на основе борьбы пролетариата за свержение власти капитала. Возникновение нации в современном понимании они связывали с разложением феодализма и с возникновением капитализма, причем большое значение в этом историческом процессе отводилось именно национальному языку. Энгельс, занимаясь решением сложных вопро-

сов определения национальных границ на смежной территории двух близких языков (диалектов), последовательно исходил из социолингвистических или же лингво-социологических критериев.

Марксистская концепция национального вопроса — дальнейший этап последовательной разработки теории классовой борьбы. Она стала актуальным руководством к пониманию диалектического соотношения национального и интернационального в рабочем движении, столь искаженному некоторыми современниками Маркса и Энгельса из рядов реформистов и оппортунистов.

В. И. Ленин, последовательно развивавший учение классиков марксизма в период империализма, первой пролетарской революции и в первые годы построения Советского государства, теоретически сформулировал и на практике проводил национальную политику в конкретных условиях многонационального советского государства. В связи с этим он разработал принципы языковой политики Коммунистической партии и определил ее подход к языковой культуре в период строительства социалистического общества, особо подчеркивая при этом необходимость всестороннего развития всех национальных языков.

После смерти В. И. Ленина проблемы отношений между нациями (народностями) в СССР отражены в партийных документах, в решениях съездов КПСС и довольно обширной специальной литературе предмета, разрабатываемой с 20-х годов XX в. вплоть до наших дней советскими лингвистами. В центре внимания находится языковая политика, в том числе вопросы национально-русского двуязычия и широко понимаемая языковая культура в рамках культуры социалистического общества. Широкие масштабы приобрело исследование социолингвистической ситуации национальных языков (с учетом все более распространяющихся билингвизма и диглоссии), анализ социальной обусловленности функционирования языков в многонациональном государстве. Изучение всех этих и других вопросов вызвано актуальными потребностями общественной практики после Великой Октябрьской социалистической революции и затем в период после второй мировой войны, когда развитие национальных языков, культуры народов и контактов между ними получило небывалый размах. В послеоктябрьский период было упразднено господство буржуазии и аристократии, предписывавшее эксплуатируемым классам языковые нормы. В новом обществе, лишенном антагонистических классов, отпала проблема классово обусловленного престижного варианта языка, недосягаемого для народных масс [2, с. 48].

В настоящее время предстоит разработать теорию языковой политики, определяющую взаимоотношения между социалистическими народами и государствами. В связи с объективно действующими интеграционными тенденциями в настоящее время большую важность приобретают проблемы, связанные с массовой коммуникацией в социалистическом обществе, с активным воздействием человека на развитие национальных языков, в особенности на словарный состав и на орфографию. По сравнению с досоциалистической эпохой изменилась также социальная стратификация национального языка. Однако нельзя не учитывать, что даже после преодоления антагонистических противоречий в обществе все же остаются социальные группы и подгруппы, отличающиеся друг от друга культурой, образованием, характером работы, возрастом и т. д. Этот факт находит свое отражение в языковой ситуации. Особое значение приобретает также — по отношению к научно-технической революции — трудовая коммуникация и языковое поведение, обусловленное развитием социалистической личности. В соответствии с демократизацией образования и его распространением среди широких масс планомерное управление языковой культурой приобретает новые формы.

В [1] я указывал, что при подготовке коллективной монографии мы будем учитывать богатый опыт советской социолингвистики. В этом плане весьма важно замечание В. М. Жирмунского о том, что изучение языка как общественного явления с самого начала развития советского языкознания занимало весьма видное место в лингвистической науке, составляя в изве-

стной мере ее методологическую специфику [5, с. 23]. Советские лингвисты добились интересных результатов уже в довоенный период, в особенности в тех работах, в которых они последовательно опирались на анализ конкретного языкового материала. Еще в то время они с успехом занимались решением тех вопросов социальной обусловленности языка, которые намного позже начала ставить и разрабатывать современная мировая лингвистика, не уделяя при этом достаточного внимания достижениям советской лингвистики довоенного периода. Я подчеркиваю этот факт с определенной профессиональной гордостью еще и потому, что наша коллективная работа продолжит более ранние новаторские исследования старшего поколения наших советских коллег.

Разумеется, мы будем опираться не только на эти важные работы, но и на результаты современной советской социолингвистики, занимающей видное место в мировом развитии данной дисциплины. Ценный источник представляют для нас достижения советского общего языкознания послевоенного периода. Мы используем также опыт и достижения лингвистов ГДР, ЧССР, ПНР и других стран, которые внесли немалый вклад, в особенности в течение последних десятилетий, в развитие данной дисциплины.

Подготавливаемая коллективная монография в целом посвящена проблемам социальной лингвистики — ее основу составляет исследование вопроса о специфических чертах общественной обусловленности функционирования языка (в особенности национального литературного языка) в социалистических государствах. При этом имеется в виду не только сознательное использование возможностей языка как важнейшего коммуникативного средства, но и активное воздействие общества на язык, что и определяет (или должно определять) качественно новый подход общества к языковой проблематике. Развитие языка подчиняется специфическим закономерностям. Ведь язык обслуживает все сферы жизни общества, и тем самым он становится отражением общественного сознания, оказывая, однако, обратное воздействие на общество, которому служит в рамках своих возможностей. Задача лингвистики, опирающейся на марксистскую социологию,— определить те комплексы языковых явлений, которые могут оптимально использоваться в рамках научно-технической революции и в идеологической борьбе за укрепление социалистического общественного сознания.

Советские социологи и социолингвисты наметили несколько теоретических аспектов изучения соотношения между обществом и языком в разных планах, которые будут в значительной мере учитываться при подготовке монографии. Это следующие аспекты: социально-философский (диалектика общественного развития), аспект общесоциологической теории (т. е. исторического материализма), аспект общественной структуры (функционирование языка в разных общественных системах и организмах) и аспект эмпирический [6]. Данную структурацию социолингвистических и лингвосоциологических исследований, согласно социологической теории, следует понимать как одно иерархически упорядоченное целое, объединенное различными причинными взаимоотношениями и связями. При этом необходимо учитывать иерархию этих уровней и анализировать формы существования этих категорий в социальной структуре общества, не упуская из виду специфику их взаимосвязей, т. к. последние могут носить прямой или опосредованный характер.

Готовая рукопись монографии, которая будет издаваться в Праге, должна быть сдана в печать в конце 1985 г.

В первом разделе монографии будут разрабатываться все существенные проблемы, касающиеся языковой политики. Координацию и редактирование этого раздела предложено провести советским товарищам. Опираясь на мысли В. И. Ленина, внимание будет обращено на обобщение опыта, приобретенного в этой области в течение периода после Великой Октябрьской социалистической революции вплоть до наших дней, и на выявление некоторых особенностей в отдельных социалистических странах. В рамки данной проблематики, однако, входит в настоящее время также описание языковой (социолингвистической) ситуации; сюда относятся, с одной сто-

роны, вопросы демократизации языка, интернационализации и принципы взаимного обогащения языков, а с другой стороны, изучение интеграционной функции языка, который на практике выступает в качестве средства наднациональной коммуникации. Это две диалектически взаимосвязанные стороны национальной и наднациональной коммуникационной формы.

Важная составная часть работы — определение перспектив дальнейшего проведения языковой политики в социалистических странах и научно-практические рекомендации. Мы исходим из того факта, что лингвистика как общественная наука, опирающаяся на познанные закономерности развития общества, имеет возможность не только оказывать активное воздействие на языковую ситуацию данного периода, но и формулировать общие предположения по отношению к будущему. При этом в деле регулирования развития и кодификации литературного языка и в деле обеспечения языковой культуры лингвистика играет главную и координирующую роль.

Мы полагаем, что реализация языковой политики в ближайшее время будет направляться на всестороннее развитие общественных функций национальных языков с учетом интеграционного воздействия одного языка межнационального общения. Взаимовлияние друг на друга обоих языков, но прежде всего влияние языка, выполняющего интеграционную функцию, будет касаться лишь одной части языковой структуры национальных языков, а именно той, которая поддается воздействию экстралингвистических факторов. Это безусловно скажется на развитии языковых выразительных средств и в еще большей мере на развитии национальной терминологии (в особенности в области техники), что найдет отражение в школьном преподавании и в применении языка в научной и технической литературе. С другой стороны, межнациональный язык будет выступать по отношению ко всем национальным языкам в качестве посредника при обмене культурными и научными ценностями, выполняя интегрирующую функцию.

Интегрирующая функция языка при сохранении всех особенностей и функций национальных языков в рамках каждого национального сообщества в будущем распространится не только на одно государство, но и коснется большого числа государств, взаимосвязанных в экономической, политической и культурной сферах. Один из национальных языков приобретет, таким образом, характер языка, обладающего не только специфическими национальными, но и межнациональными функциями. При сложившейся таким образом коммуникационной ситуации в конкретной речевой деятельности будет иметь место не так называемое переключение кода [7], а включение коммуникации в функциональный стиль, в рамках которого будет проходить речевая деятельность (речевой акт).

Все это будет способствовать утверждению новых форм в процессе развития словарного запаса, в частности, распространению лексических заимствований и образованию интернационализмов, которые, согласно В. В. Акуленко [8], лишь при социализме получают массовый характер, т. к. они являются средством преодоления препятствий на пути к интернационализации культуры (в том числе науки и техники).

В настоящее время наряду с расцветом национальной культуры и языков отдельных наций и народностей СССР происходит бурное развитие общесоветской социалистической культуры, умножение функций и возрастание коммуникативной роли русского языка среди населения СССР [9]. Национально-русское двуязычие нерусских народов СССР является реальностью, оно обладает способностью к дальнейшему углублению и является источником обогащения культурного уровня всего населения СССР [10].

В наши дни среди специалистов социалистических стран распространен национально-русский билингвизм, обусловленный сотрудничеством в сфере науки и техники и потребностью следить за достижениями советской науки по публикуемой на русском языке научной литературе или необходимостью предоставлять широкому кругу специалистов возможность

знакомиться с результатами, достигнутыми в отдельных социалистических странах. Однако в определенной степени распространяется не только пассивное или ограниченное знание русского языка, но также и активное знание русского языка, знание его в совершенстве, постепенно затрагивающее все социальные прослойки (особенно это касается молодого и среднего поколений). Функциональный, социальный билингвизм [11] вне территории СССР пока еще не получил достаточного распространения, он имеет место прежде всего в работе профессиональных коллективов, конгрессов, рабочих совещаний и т. д., в которых принимают участие носители разных национальных языков, славянских и неславянских.

Во втором разделе, координирование и авторскую разработку которого обеспечат товарищи из ГДР, будет рассматриваться влияние социальных факторов на функционирование языка в социалистическом обществе. Тема актуальна, т. к. наряду с теоретическим изложением вопроса в работе будут содержаться рекомендации, касающиеся оптимального функционирования языка. Авторы этой части на основе анализа диалектики соотношения между языком и обществом исследуют прямое и опосредованное воздействие социальных факторов на язык. При анализе изменений, которые произошли в языке, согласно марксистской теории языка, различаются внешние и внутренние факторы, что подтверждается результатами исследования динамики развития языка в период социализма.

Интерес представит та часть монографии, которая посвящена проблематике современных литературных языков, социальной дифференциации национального языка, взаимоотношениям между формами существования языка и условиями употребления речевых вариантов. Авторы обращают особое внимание на задачи массовой коммуникации в социалистическом обществе, в особенности с точки зрения потребностей развитого социалистического общества.

Заслуживает внимания рассмотрение проблем, касающихся роли языковой коммуникации на отдельных этапах развития личности. Сюда входят не только психолингвистический и социолингвистический анализ соответствующих явлений, но и практическое использование огромных коммуникативных возможностей языка. В отличие от капиталистического социалистический строй стремится в интересах всех трудящихся творчески использовать все источники и орудия общественного прогресса. Долг лингвистов — выявить все эти потенциальные возможности языка.

Третий раздел монографии, координирование которого взяла на себя чехословацкая комиссия, посвящен проблематике языковой культуры. Соответствующие проблемы связаны, с одной стороны, с изучением возможностей оптимального функционирования общенародного литературного языка, а с другой стороны, с анализом средств внедрения языковой культуры во все сферы жизни наций (в том числе в сферу просвещения, массовых средств информации и в другие отрасли культуры). Обобщается опыт всех европейских социалистических стран, принимающих участие в работе над программой, и прежде всего результаты, достигнутые лингвистами ЧССР и ГДР, которые уже в прошлом уделяли немалое внимание данным вопросам в связи с функциональным пониманием языка. При этом следует учитывать, что при социализме постоянно растет число активно пользующихся литературным языком и потребителей общенародной культуры, широкие масштабы приобретает демократизация образования и массовое распространение достижений науки и техники. Отправной точкой сравнительного изучения языковой культуры является понятие языковой ситуации [12, 13].

В следующей части работы рассматриваются стратификация национального языка и роль, которую в этом процессе играют индивидуальный и общественный факторы. Анализируются существовавшие до сих пор взгляды на кодификацию как единство объективных и субъективных факторов в период строительства развитого социалистического общества, характеризуется культура речевой коммуникации (в отличие от культивирования языковых средств), в которой отражаются особенности соответствующей коммуникационной сферы.

В подготавливаемой монографии лингвисты имеют исключительную возможность при решении конкретных языковых задач наглядно показать общественную значимость лингвистики как науки и практическую ценность получаемых ею результатов. Наш коллектив постарается выполнить эту задачу.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Петр Я.* О реализации программы «Национальные языки в развитом социалистическом обществе».— ВЯ, 1982, № 5.
2. *Ахманова О. С., Данчинова И. А.* Социолингвистика в свете эвристики и онтологии языка.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики. М., 1981.
3. *Дешериев Ю. Д.* Социальная лингвистика. К основам общей теории. М., 1977.
4. *Крючкова Т. Б.* К вопросу о методах социолингвистических исследований.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики.
5. *Жирмунский В. М.* Проблемы социальной дифференциации.— В кн.: Язык и общество. М., 1968.
6. *Осипов Г. В.* Теория и практика советской социологии.— В кн.: Социальные исследования. Теория и методы. М., 1970, с. 18.
7. *Гамперц Д. Д.* Об этнографическом аспекте языковых изменений.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. Социолингвистика. М., 1975, с. 311.
8. *Акуленко В. В.* Вопросы изучения лексических интернационализмов и процессов их образования.— В кн.: Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969, с. 67.
9. *Холмогоров А. И.* Научное управление языковой жизнью народов СССР.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики.
10. *Дешериев Ю. Д.* Теория языка и речевая практика.— В кн.: Теоретические проблемы социальной лингвистики, с. 219—220.
11. *Джунусов М. С.* Социальный аспект двуязычия в СССР.— В кн.: Социология и идеология. М., 1969, с. 49.
12. *Швейцер А. Д.* Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., 1977.
13. *Никольский Л. Б.* Синхронная социолингвистика. М., 1976.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГОРЕЛОВ И. Н.

ПРОБЛЕМА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Лингвистика, неотъемлемая составляющая теорий коммуникации и информации, как это ни покажется странным, играет весьма пассивную роль в разработке необходимых программ, планируемых, реализуемых и анализируемых кибернетиками.

Работ, серьезно затрагивающих актуальные лингвистические проблемы, в кибернетической периодике и в монографиях по кибернетике гораздо больше, чем собственно лингвистических работ, затрагивающих проблемы кибернетики в аспекте лингвистического обеспечения искусственного интеллекта (в дальнейшем — ИИ) и даже в аспекте машинного перевода. Если не считать статьи Р. Г. Пиотровского [1], то за последние пять лет в наших академических журналах лингво-филологического направления не появилось ни одной работы подобного рода.

Причин сложившегося положения, полагаю, достаточно. Многие лингвисты не желают заниматься кибернетикой не только (и не столько) потому, что надо доучиваться, приступая к чтению кибернетической литературы, привыкать к новому понятийному аппарату; в гораздо большей степени следует, на мой взгляд, объяснять своеобразную «кибернетическую аллергию» лингвистов тем, что они не знают, насколько лингвистична проблема ИИ, насколько ее решение способно служить интересам «чистой» лингвистики — во всех ее частных аспектах и в ее методологических основаниях.

Не следовало бы забывать, что именно прикладные задачи обучения языкам породили плодотворные лингвистические идеи, реализованные в наглядно-тематических и в частотных словарях, транскрипционных системах, перечнях речевых структур, сравнительно-типологических исследованиях. И разве не методике обязаны своими достижениями лингвисты, взявшиеся изучать языковые смешения, начинающиеся в речевой интерференции? К сожалению, мало еще лингвистов, заглядывающих в историю собственной науки. Но такой подход лишает возможности своевременно видеть и перспективы.

В новой работе Ю. Н. Марчука [2], где автор — его же словами — «неизбежно касался сложных лингвистических проблем», можно познакомиться с весьма характерными обстоятельствами, определившими всю историю теории и практики машинного перевода: на всех трех этапах (1946—1957 гг., 1957—1967 гг., 1967 г. до настоящего времени) сложнейшие лингвистические проблемы пытались и пытаются решить кибернетики. Они прошли долгий и весьма трудный путь, оказавшийся — при всем энтузиазме и при всех бесспорных достижениях — чреватым радикальной сменой воззрений. В начальный период было мало «ясности в вопросе о возможностях и границах формализации применительно к такому сложному общественному интеллектуальному феномену, каким является естественный язык» [2, с. 19]. Сегодня приходится делать вывод, что «поручение составления алгоритма перевода математикам вообще бессмысленно» [2, с. 10]. Можно предположить, что «бессмысленно» — из-за отсутствия у математиков фундаментального лингвистического образования, что, как правило, соответствует действительности. Но если

касаться начального периода развития теории и практики машинного перевода, то главное заблуждение математиков сводилось к убеждению, что лингвистикой разработаны, конечно, не только общие теории языка в целом, но и строгие частные описания отдельных национальных языков и их специфических признаков, причем так, что их возможно свести в справочники, подобные таковым, скажем, в инженерной физике или в строительном деле. «Приходится сожалеть,— пишет Ю. Н. Марчук,— что лингвистическая теория в части автоматической обработки текстов не располагает на сегодняшний день такими выводами, которые могли бы составить содержание таких справочников» [2, с. 7]. Но, право же, нет необходимого содержания и нет таких выводов отнюдь не только «в части автоматической обработки текстов»! Ю. Н. Марчук справедливо отмечает, что «к лингвистическим моделям предъявлялось два требования — последовательность и непротиворечивость выделения существенных свойств лингвистического объекта, с одной стороны, а с другой — способность объяснять наблюдаемые факты и предсказывать ранее неизвестные свойства объекта» [2, 13]. Абсолютно справедливо желание автора «дополнить эти два требования также и третьим, а именно: лингвистическая модель должна воспроизводить языковые и речевые объекты... строение модели имитирует строение объекта тогда и только тогда, когда воспроизводятся некоторые (скажем точнее: существенные.— *Г. И.*) характеристики этого строения» [2, с. 14]. Но ведь надо признать, что и первые два требования лингвистика не всегда выполняла.

В распоряжении математиков, приступавших к разработке теории и практики машинного перевода, вместо ожидаемых справочников оказались словари и грамматические описания в терминах членов предложения и частей речи. Математики были уверены в строгости этих терминов с их многовековой традицией, подтверждаемой как будто бы и школьным обучением. Но «именно в „априорности“ и сила традиционного учения о частях речи — выверенная веками возможность охарактеризовать любой объект,— и его слабость, открытость для критики логических оснований, лежащих в основе классификации» [3, с. 41]. А вот еще: «Сеть членов предложений плохо служит улавливанию его конструктивных основ... Сама возможность и высокая степень вероятности различных синтаксических характеристик одних и тех же конструкций подтверждает неадекватность системы членов предложения и их критериев синтаксической действительности» [4, с. 24—25]. Спрашивается, что могли сделать математики с таким «справочным материалом»? Ю. Н. Марчук, основываясь на нынешних результатах машинного практического перевода, приходит к выводу, что «члены предложения являются универсальными семантическими эквивалентами в области грамматики, данными по тексту», чего нельзя сказать о частях речи, и что «русский язык является единственным языком, систематически освещенным с позиций частей речи и членов предложения» [2, с. 65]. Но как же быть, во-первых, с таким фактом, что вне пределов членов предложения остаются, например, союзы, предлоги, междометия, частицы, ряд наречий? Как использовать «универсальные семантические эквиваленты в области грамматики» по отношению к таким регулярным и высокочастотным «не-членам предложения»? Как их использовать, если членом предложения может быть не одно слово (для машинной техники оно, как известно, определяется как «нечто между двумя пробелами в строке»), а словосочетание — с рядом «пробелов»? Как быть, во-вторых, с указанными «универсалиями» применительно к инкорпорированным комплексам или к результатам многочисленных усилий связать член предложения с частью речи единой системой критериев? Я вовсе не отстаиваю «честь лингвистики», не подвергаю сомнению цитированных положений из книги Ю. Н. Марчука. Я хотел бы, напротив, ссылаясь на эту книгу, показать, что практика машинного перевода, его программы способны проверить достоверность лингвистических построений. Приложенные к книге образцы машинного англо-русского перевода и его редакторской правки со всей очевидностью подтверждают заключительное замечание автора весьма полезной для лингвистов кни-

ги: сегодня возможно «применение машинного перевода в тех системах, где он достаточен как неотредактированный продукт в качестве лишь сигнальной информации» [2, с. 215].

На пределы возможностей автоматического перевода сегодня четко указывают и сами кибернетики: несмотря на интересные опыты сочинения компьютером рассказов [5], машина никогда не заменит человека в области художественного перевода. Да это и не нужно. Необходима, однако, эффективная помощь лингвистики в чрезвычайно нужном и неотложном деле — в обучении машин автоматическому переводу научно-технических текстов и аннотированию.

«Инженерная лингвистика», «лингвистика для роботов», «лингвистическое обеспечение искусственного интеллекта» — все это выходит далеко за рамки задач МП. Обратившись к проблеме одноязычного диалога человека с машиной, процитируем вначале в отрывках редакционную статью из академического журнала 1982 г.: «Сейчас это направление становится одним из важнейших в теории управления и технической кибернетики. В его рамках тесно переплетаются методы, характерные для дискретной математики и психологии, математической логики и лингвистики, теории автоматов и биологии... Понимание и ввод слитной речи, распознавание трехмерных зрительных сцен, формирование сценариев поведения по древу целей, понимание текстов... Надо особо подчеркнуть, что появление интеллектуального интерфейса — единственный путь к широкому внедрению ЭВМ... Национальные программы развития вычислительной техники в ряде стран (США, Япония, Франция) уделяют разработке интеллектуального интерфейса исключительное внимание, считая, что она является определяющим направлением развития вычислительной техники в ближайшие десятилетия» [6, с. 3—4; ср. 7].

Судя по публикациям и аннотациям из сигнал-информации, только в 1982 г. в мире было проведено и опубликовано более 60 крупных работ, связанных с уже действующими диалоговыми системами на базе естественного языка. В этом количестве не учитываются ни роботы-сиделки, понимающие и выполняющие инструкции больного и врача (в рамках небольшого набора), ни автоматические справочные бюро различной специализации, отвечающие устно и письменно (на языке пользователя) на вопросы, касающиеся узкой области (например, номера телефонов, адреса, расписания поездов и самолетов и т. п.).

Я имею в виду только такие системы, которые способны соотносить предъявляемые им сообщения на базе тысяч лексических единиц и сотен правил их комбинирования с машинной памятью, в которой хранится большой запас экстралингвистических знаний («банк сведений»), так что экономически целесообразно использовать машину в непосредственном диалоге на естественном языке для практического обсуждения ряда вопросов. Последние могут касаться, например, степени новизны изобретения, степени достоверности сведений, наличия/отсутствия возможности получения информации по специальным отраслям. Диалоговый режим снимает проблему языка-посредника, т. е. ЭВМ становится высокорентабельной, а искомые результаты достигаются в весьма сжатые сроки. Но, не обольщаясь, следует признать наличие и в этих системах неспособности к такому диалогу, который — даж на весьма ограниченном, «детском» словаре — мог бы имитировать диалог с ребенком (в рамках, доступных его пониманию) в полном смысле этого слова, т. е. в «человеческом режиме» общения. Не в том суть, что машинные синтезаторы речи пока не умеют передавать интонаций и тембра. Дело в количестве и качестве тех реальных степеней свободы (в комплексе человеческих возможностей), которые позволяют общаться, опираясь на предшествующий опыт, на осознание реальности ситуации и на подсознательно получаемую внешнюю и внутреннюю информацию. В результате вербальная часть может быть перестроена и варьирована в самых широких пределах (при самом бедном словаре) коммуникативных возможностей порождения и восприятия. Эта часть может пересекаться, например, со всевозможными контекстами в любой, субъективно актуальный, момент. Грубо говоря,

робот может на вопрос о состоянии здоровья ответить точно и в медицинских терминах (чего не может, например, ребенок). Но робот не может на этот вопрос ответить: «—А, ничего... Не обращай внимания!» Если же заложить в программу робота такую возможность, то она будет использована вероятностно, а не мотивированно. На первый взгляд, как кажется, подчеркиваемое различие не имеет значения для решения проблемы делового диалога с ИИ. Но на самом деле мы обсуждаем вопрос о соотношении вербального и невербального в речевом акте.

В подавляющем большинстве случаев практики создания ИИ, а также в исходных теоретических позициях кибернетиков (и лингвистов) интеллектуальная или же квазиинтеллектуальная деятельность рассматривается исключительно как система операций с теми знаковыми системами, которые выступают во внешней коммуникации, т. е. с языками. Большинство кибернетиков мыслит, судя по всему, в терминах информативного кода, довольно близкого к системе, например, шахматной игры. Имеет смысл задуматься, почему успехи шахматной машины, соперничающей сегодня весьма успешно с прекрасным шахматистом-перворазрядником, а подчас и с мастером,— почему эти успехи значительно опережают естественноязыковую компетенцию диалоговой машины? В свое время Ф. де Соссюр эффектно, но не слишком серьезно провел аналогию между естественным языком и шахматами, а затем и сам попал в «метафорическое поле», им же созданное, что обусловило очевидный разрыв между намерениями и возможностями лингвистического структурализма.

Никто не имеет права отказать шахматной игре в творческом, эвристическом аспекте. Следовательно, нельзя отказать ЭВМ в возможностях имитировать творчество, реализовать эвристический поиск, хотя именно в этом пункте больше всего ломаются копья сторонниками и противниками возможностей ИИ. И в лингвистике не затихают споры относительно того, является ли речь творческим процессом. Точнее: почти никто из лингвистов не упустил возможности подчеркнуть творческий характер речи. Интересно, кстати, выяснить, почему не так уж много лингвистов умеет играть в шахматы на машинном уровне, но с завидной легкостью (как будто это и не творчество вовсе) многократно объяснит коллегам суть и детали своих профессиональных достижений. По мнению Л. Чейфа, «лингвистика... должна принять к сведению, что четкой или автономной семантической структуры в основе речи (или предложения) не может существовать. Речь — это творческий процесс, посредством которого лежащее в ее основе знание, в значительной степени аналогическое по своей природе, выкристаллизовывается в пропозициональные и языковые структуры» [8, с. 72].

С помощью социолингвистического обследования достаточного массива художественных текстов можно доказать, что авторская индивидуализация речевых стилей персонажей достигается в основном не через и н д и в и д у а л ь н ы е дифференциации, а через дифференциации между социальными (возрастными, половыми, образовательно-культурными, общественно-иерархическими и пр.) г р у п п а м и персонажей. И если бы, к примеру, горьковский Барон разговаривал не с Сатиным и не с Настей, а с другим Бароном, стилисту пришлось бы туго в попытках показать, как существенно отличаются речевые характеристики обоих Баронов.

Л. Чейф прав, подчеркивая эвристический характер речевого соотнесения (при порождении и восприятии сообщения) достаточно стабильных поверхностных структур с достаточно нестабильными ситуациями общения. Различные ситуации психически группируются в типы по принципу аналогий. И по тому же принципу используются речевые структуры. Именно отсюда и возникают наши речевые (и языковые) ритуалы-клише в условиях, например, повторяющихся — по смыслу — ситуационных типов («привегствие», «прощание», «поздравление», «выражение благодарности» и т. д. и т. п.) — вплоть до зачина и концовки в рецензиях на статью. Но следовало бы конкретно выявить удельный вес и соотношение т в о р ч е с к о г о (в плане, предложенном Л. Чейфом)

и рутинного в текстах, соответствующих ситуативным типам, внутри них. Можно предположить, что ситуативным типам будут соответствовать достаточно типизированные наборы средств выражения, внутри которых можно будет найти варианты с разными вероятностными характеристиками — от самой малой до самой высокой. Представим себе теперь, что «банки сведений» диалоговых систем блокируются не со словарями естественного языка и не с его грамматикой, а с наборами готовых средств обозначения и выражения фрагментов знаний. Допустим также, что ЭВМ располагает способностью распознавать (по признаку, скажем «ключевой единицы» или нескольких «ключей») тот или другой вариант записанного в ее вербальной памяти типа. Тогда построение диалога «человек-машина» будет самым существенным образом облегчено сравнительно с нынешним, где используются самые сложные (самые уязвимые поэтому) принципы пословного конструирования. Существующие организации словарных единиц (вместе с «банками сведений») в так называемые «фреймы» тематического типа, конечно, гораздо лучше, чем на «дофреймовском» этапе. Но и фреймы не могут решить дела: уж слишком сложны для машины самые разнообразные и неоднозначные правила использования каждого слова. Полагаю, что сам уровень понимания и использования языка машиной (языка, предназначенного для коммуникации в диалоге, т. е. естественного языка) останется прежним, низким, если фреймы останутся прежними. Отсюда ясно, что без лингвистического решения совершенно новых (и для лингвистики — тоже) задач описания речевых структур в ситуативных типах создателям диалоговых систем ИИ не обойтись. Пусть на начальной стадии наборы будут бедными, жесткими. Но они составят корпус «деловой прозы», на практичность которой указывали не раз А. П. Ершов и его коллеги [9, с. 109—119].

Что же касается творчества в речевой деятельности, то оно сводится, как правило, к эвристическому исследованию типа ситуации, типа высказывания и совмещения второго с первым — при использовании комбинаций из готовых элементов языка и речи.

Следует отметить, что «материальная символическая система», о которой пишет один из крупнейших современных американских кибернетиков, Т. Виноград [10],— это то же самое, что универсальный предметный код (УПК) Н. И. Жинкина, о котором он сообщил читателям «Вопросов языкознания» 20 лет назад [11] и о котором снова можно прочитать в посмертном его труде [12, с. 95]. Другими словами, это «язык мозга», «внутренняя речь» (не смешивать с «внутренним проговариванием»!), функционирование которых и составляет материальный субстрат нашего мышления.

В отличие от других кибернетиков, Т. Виноград понимал, приступая к созданию своего диалогового робота [13], что имитация человеческого речевого поведения и человеческого интеллекта мыслимы лишь в том случае, если ЭВМ будет построена на тех же принципах взаимодействия мышления и языка (а не на операциях с коммуникативным языком, отождествленным с языком мозга!), какое имеет место у человека. Мы знаем, что отождествление языка и мышления привело вначале к гипотетической «теории лингвистической относительности», затем к попыткам ее экспериментального подтверждения и — параллельно — к внедрению ее в качестве основы для «лингвофилософии» [14]. В отечественной психолингвистике «теория лингвистической относительности», критиковавшаяся ранее многими отечественными языковедами, была и экспериментально опровергнута [15, 16] с опорой на положения Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьева и др. Любопытно, что Мохамед Хассан Абдулазиз (Кения), как и многие нынешние критики «теории лингвистической относительности» за рубежом, связывает альтернативную концепцию с усилиями Н. Хомского [17]. Следует учесть, что первая публикация Н. И. Жинкина об УПК относится еще к 1960 году [18], в связи с чем стоит только пожалеть об определенной неинформированности на фоне «информационных взрывов».

Подобно человеку, робот Т. Винограда не просто манипулирует язы-

ком (английским) в очень ограниченном масштабе, а связывает вербальные инструкции от пользователя с реальной собственной практической деятельностью и комментирует ее. Он не просто «выучивает», скажем, что «геометрические тела могут быть разной формы, разного цвета, разного веса, разной величины и могут занимать разное пространственное положение» (в пределах специальной площадки, «сцены»), но и практически (с помощью телеглаза и тактильных датчиков своей «руки») выполняет инструкции по манипулированию геометрическими телами. Это значит, что данное устройство связано с внешним миром системой собственных сенсорных рецепторов («зрение», «осязание», «пространственная моторика», «гравитационное ощущение»). Слово языка, которому обучен робот, семантизировано, таким образом, не в вербальном контексте, а в невербально учитываемой ситуации, экстралингвистически. Поэтому Т. Виноград с полным правом формулирует в статье свое возражение Н. Хомскому: «Языковое употребление и мыслительная деятельность, бесспорно, оказываются в пределах сферы биологических систем (здесь автор не биологизирует ни мышления, ни языка, не отрицает их социальной природы, а имеет в виду их нейрофизиологические субстраты. — *Г. И.*), и приложение к ним более системно ориентированного подхода может дать объяснения, которые выведут семантику из пределов „мистерий" Хомского» [10, с. 168]. Отсюда следует, что «внутренний язык представления знаний» ЭВМ диалогического назначения перспективнее всего формировать в «человеческом режиме» — «от живого созерцания», от практической деятельности (с параллельным языковым обучением) к абстрактному мышлению и снова к практике, на новом качественном уровне. В принципе — так же, как обучается ребенок родному языку или как О. Есперсен, будучи сторонником прямого (натурального) метода, предлагал обучать иностранным языкам. То, что это — не фантазия, а будущее (частично и — настоящее), подтверждается распространенностью термина «персептрон» в обозреваемой области [19], функционированием устройств автоматического распознавания устной и письменной речи, самим роботом Т. Винограда.

Все практические методики скорочтения, а также специальные исследования Р. М. Фрумкиной [20, 21], И. А. Зимней [22, 23], Н. И. Жинкина [24, 25] Н. Г. Елиной [26], Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова [27, с. 69, 75—79, 113—161] показали, что весьма многое из того, что лингвисты часто приписывают тексту (в плане его содержательности, цельности, связности на содержательном уровне), в нем не содержится. Несколько упрощая, можно сказать, что после обнаружения «подтекста» (не в тексте), «затекста» (вне текста), «предтекста» (вне текста) и «контекста» (частично вне текста) собственно текст придется рассматривать лишь как некую последовательность графических или звуковых сигналов, отсылающих реципиентов в область внетекстового. Вполне убедительно А. И. Новиков показал, что областью семантики текста следует считать денотативный уровень его организации, но эта организация раскрывается реципиенту лишь в процессе декодирования текста, в процессе его понимания (с опорой на экстралингвистические знания). Поэтому денотат «нельзя считать лингвистической единицей». Смысл текста также «не бывает полностью лингвистическим,... так как опирается не столько на языковое знание, сколько на соотношение предметов действительности, составляющих сферу обозначаемого... Поэтому для исследования собственно лингвистических закономерностей необходим учет и всех экстралингвистических явлений, входящих в семантику текста» [28, с. 21]. Экспериментально доказана парадоксальность ситуации, которая обнаруживается в процессе чтения: «обработка некоторых слов занимает меньше времени, чем требуется для того, чтобы их прочитать или услышать» [29, с. 410]. Естественно, такое «чудо» может произойти лишь в том случае, если значительная часть текста реально не обрабатывается (т. е. обрабатывается на субсенсорном уровне, «боковым зрением» или вполуха»), а другая часть («значимая») отыскивается по антипационной программе реципиента, которая реализуется с опережением реального процесса восприятия

текстовых фрагментов. Реципиент узнает типовую ситуацию, относительно которой сигнализируют «ключевые опоры», и все с большей уверенностью находит в тексте то, что в нем «может быть», т. е. адекватное типу ситуации типовое языковое выражение. Ведь мысль (смысл), как и образ реальности, симультанны, гештальтны (комплексны), а языковое выражение их — последовательно, линейно. Справедливости ради укажем, что еще в 1968 г. русский читатель мог познакомиться в переводе с работой инженера Дж. Л. Фланагана, где говорилось, что человек обрабатывает текст не в порядке последовательного восприятия его элементов, а «целыми кусками» [30]. Если действительно настало время, как утверждают Р. Шенк, М. Левовиц и Л. Бирнбаум [29], «предоставить нашим машинам те же преимущества», то это означает кибернетическое подтверждение соответствующих концепций в лингвистике текста и небходимость (для машины) выйти за рамки выученного коммуникативного языка — в область экстралингвистики.

Однако не будем забывать, что диалог с человеком требует от машины владения и поверхностными языковыми структурами. Наше предложение ввести в машинную вербальную память не отдельные единицы словаря, а наборы готовых средств выражения на уровне словосочетаний и предложений (даже и блоков предложений) не снимает задачи понимания и уместного в данном контексте их употребления. Неизбежная вариативность внутри таких наборов требует также способности идентификации, сличения реального фрагмента с эталоном, хранящимся в машинной памяти. Следовательно, робот должен уметь производить синтаксические трансформации, производить действия также и в плане анализа по НС (хотя и на уровне более сложных единиц), в плане генеративной грамматики. По этим и другим причинам кибернетики давно пытаются использовать в самом широком диапазоне уже имеющийся в лингвистических исследованиях материал, фрагменты лингвистических теорий. Достаточно указать, например, что в работе Ю. Я. Любарского [31, с. 154—165] на материале М. И. Стеблина-Каменского исследовались возможности машинного опознания метафоры. В разделе под названием «Сохраняющие смысл преобразования текста» В. С. Медовой [32] использует результаты исследований Е. В. Падучевой в области семантики синтаксиса [33]. Работа Ю. А. Сорокина, Е. Ф. Тарасова и А. М. Шахнаровича [34] оказалась в поле внимания знакомого нам кибернетика Э. В. Попова [35]. А в журнале «Техническая кибернетика» показано, как введенная в машину опубликованная классификация лингвистических способов выражения пространственных отношений обнаружила неполноту и противоречивость [36, с. 86]. К сожалению, дело не только в неудачных частных классификациях. Если в 1974 г. признавалось, что «любые описания языка в рамках формальных теорий не адекватны большинству явлений, характеризующих язык» [37, с. 152], то и в 1982 г. (как и сегодня) приходится констатировать: «...давно уже испытывается острая неудовлетворенность из-за отсутствия определений самых необходимых, самых обиходных понятий, начиная с понятия „язык“ и кончая понятиями „предложение“ и „слово“. Не лучше обстоит дело с разграничением основных уровней языка — фонетики, морфологии, синтаксиса и семантики» [38, с. 16]. Между тем в 1981 г. Н. Сейнджер показал успешное практическое применение «компьютерной» (цепочечной) грамматики английского языка, которая «работает» на базе 9500 слов, используя нетрадиционные подразделения их на классы, а также специфический метод анализа языка в целом [39]. Судя по литературе, работа Н. Сейджера, к сожалению, еще не получила оценки лингвистов.

Достижения в области ИИ, включая диалоговые системы, весьма впечатляющи. Конечные цели отдалены во времени, но решения промежуточных задач на этом пути уже осуществляются. Самое активное участие лингвистов в этой работе — не просто социальный заказ. Выполняя его, лингвисты взамен получат экспериментальную проверку своих теоретических построений на надежность. Научная добросовестность не может позволить игнорировать такую возможность.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Пиотровский Р. Г.* Лингвистические аспекты «искусственного разума».— ВЯ, 1981, № 3.
2. *Марчук Ю. Н.* Проблемы машинного перевода. М., 1983.
3. *Милославский И. Г.* Морфологические категории современного русского языка. М., 1981.
4. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
5. *Meehan J. R.* The metanovel: writing stories by computer. New York—London, 1980.
6. Искусственный интеллект. Теория и практика.— ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982, № 5.
7. *Попов Э. В.* Система взаимодействия с ЭВМ на ограниченном русском языке.— Программирование, 1978, № 4.
8. *Чейф Л.* Память и вербализация прошлого опыта.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983.
9. *Ершов А. П.* Методологические предпосылки продуктивного диалога с ЭВМ.— ВФ, 1981, № 8.
10. *Виноград Т.* К процессуальному пониманию семантики.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII. М., 1983.
11. *Жинкин Н. И.* О кодовых переходах во внутренней речи.— ВЯ, 1964, № 6.
12. *Жинкин Н. И.* Речь как проводник информации. М., 1982.
13. *Виноград Т.* Программа, понимающая естественный язык. М., 1976.
14. *Альбрехт Э.* Критика современной лингвистической философии. М., 1977.
15. *Горелов И. Н.* Опыт психолингвистического подхода к «теории лингвистической относительности».— В кн.: Виды и функции речевой деятельности. М., 1977.
16. *Горелов И. Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.
17. *Абдулазиз Мохамед Х.* Устное слово.— Курьер ЮНЕСКО, 1982, сентябрь—октябрь.
18. *Жинкин Н. И.* Исследование внутренней речи по методике центральных речевых помех.— Изв. АПН РСФСР, 1960, № 113.
19. *Хант Э.* Искусственный интеллект. М., 1978.
20. *Фрумкина Р. М.* Вероятность элементов текста и речевое поведение. М., 1971.
21. *Фрумкина Р. М.* О влиянии установки на механизмы вероятностного прогнозирования при восприятии речи.— В кн.: Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.
22. *Зимняя И. А.* Смысловое восприятие речевого сообщения.— В кн.: Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.
23. *Зимняя И. А.* Вероятностное прогнозирование в смысловом восприятии речи.— В кн.: Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.
24. *Жинкин Н. И.* Язык, речь и текст.— В кн.: Речь как проводник информации. М., 1982.
25. *Жинкин Н. И.* Замысел речи.— В кн.: Планы и модели будущего в речи. Тбилиси, 1970.
26. *Елина П. Г.* К проблеме «опорных единиц» текста.— В кн.: Лексико-грамматическая сочетаемость в германских языках. Челябинск, 1976.
27. *Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.* Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М., 1983.
28. *Новиков А. И.* Лингвистические и экстралингвистические элементы семантики текста.— В кн.: Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982.
29. *Шенк Р., Левовиц Л., Бирнбаум Л.* Интегральные понимающие системы.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII.
30. *Фланаган Дж. Л.* Анализ, синтез и восприятие речи. М., 1968.
31. *Любарский Ю. Я.* Выразительные возможности языка диалога в автоматизированных системах управления.— ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982, № 5.
32. *Медовой В. С.* К проблеме перенастройки лингвистических процессоров.— ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982, № 5.
33. *Падучева Е. В.* О семантике синтаксиса. М., 1974.
34. *Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Шахнарович А. М.* Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М., 1979.
35. *Попов Э. В.* Проблема общения с многофункциональными базами данных на ограниченном естественном языке. ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982, № 2.
36. *Варосян С. О., Поспелов Д. А.* Неметрическая пространственная логика.— ИАН СССР. Техническая кибернетика, 1982, № 5.
37. Discussing language. Ed. by Parret G. The Hague, 1974.
38. *Кибрик А. Е.* Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982.
39. *Sager N.* Natural language information processing: A computer grammar of English and its applications. Reading (Mass.), 1981.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

МЕНОВЩИКОВ Г. А.

ЭСКИМОССКО-АЛЕУТСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ

Эскимосско-алеутские языки, как и история духовной и материальной культуры их носителей — эскимосов и алеутов, привлекают все бóльшее внимание исследователей в области гуманитарных наук — лингвистов, этнографов, археологов, искусствоведов в Советском Союзе и ряде зарубежных стран. Этот интерес ученых обусловлен не только особенностями строя языков и историей развития культуры эскимосов и алеутов, но и историей заселения человеком субарктической и арктической зоны на стыке крайнего северо-востока Азии и Северной Америки.

Современные данные археологии, этнографии и языкознания позволяют предполагать, что протоэскимосы и протоалеуты в доисторическое время до миграции их в Северную Америку представляли собою союз генетически родственных племен, обитавших по соседству в регионе северо-восточной Азии, и вели преимущественно континентальный образ жизни охотников на сухопутного зверя и рыболовов. Эти племена находились в непосредственном и длительном языковом и культурном контакте, что нашло отражение как в сходстве важнейших сторон строя их языков, так и в области материальной и духовной культуры.

Новейшие изыскания в области археологии, антропологии, этнографии и геологии, относящиеся ко времени и месту образования древних культур на стыке Северо-Восточной Азии и Северо-Западной Америки, проведенные советскими и зарубежными учеными, свидетельствуют о том, что около 8—10 тыс. лет тому назад через Берингов пролив на Аляску и Алеутские острова из Северной Азии произошла миграция племен протоэскимосов и протоалеутов, положивших начало создания двух приморских палеолитических культур в условиях субарктического климата [1—6]. Первым эшелоном, как полагают, продвигались протоалеуты, занявшие островные земли с более умеренным климатом в регионе юго-западной Аляски и Алеутских островов. За ними непосредственно следовали протоэскимосы, занявшие земли и острова на Аляске по побережью Бристольского залива и Берингова пролива, а также на прилегающих к Аляске и проливу островах Нунивак, Сивукак (Лаврентия) и других. Именно здесь, на стыке Северной Азии и Северной Америки, произошло разделение двух родственных по языку и культуре племен и создание ими различающихся по формам и способам занятий уникальных культур субарктических и арктических охотников на морского зверя. Это различие в материальной культуре, а также утрата тесных языковых контактов из-за территориальной удаленности одного племени от другого с течением веков привели к таким изменениям в строе эскимосского и алеутского языков, которые сделали невозможным взаимопонимание эскимосов и алеутов.

Археологические исследования советских и американских ученых на местах древних алеутских стоянок Анангула и Чулака и эскимосских Коцебу, Нортон, острова Врангеля и др. свидетельствуют, что древняя алеутская культура формировалась на Алеутских островах, а эскимосская — на побережье Аляски, прилегающих к ней островах и Азиатском берегу Берингова пролива [7].

Лексика эскимосского и алеутского языков показывает, что все названия морских животных, являвшихся основными объектами занятий

эскимосов и алеутов, а также названия предметов и орудий морского промысла, понятий, связанных с приморским образом жизни, у этих племен совершенно не совпадают. Имеющаяся в эскимосско-алеутских языках общность в звуковом составе (три основных гласных *а*, *у*, *и*, наличие увуляризации согласных *к'*, *х'*, *г'*, сонанта *н'* и ряд других общих фонетических признаков), в морфологической структуре слова (суффиксальная агглютинация с частичным совпадением по структуре и значению морфем словоизменения и словообразования, особенно — общности личных форм глагола и притяжательных форм имени) и совсем незначительные совпадения в базисной лексике указывают на отдаленное их генетическое родство. Разительные различия в корнеслове эскимосско-алеутских языков позволяют также считать, что как протоэскимосы, так и протоалеуты (последние —особенно!) еще в континентальный период своего существования и в последующий за ним период миграций могли полностью или частично ассимилировать какие-то более малочисленные иноязычные палеоазиатские племена и адаптировать по моделям грамматического строя своего языка значительную часть их лексики [8].

Сопоставление глагольных и именных парадигм эскимосского (любого из его диалектов) и алеутского языков показывает, что алеутский язык не развил или же утратил многие черты строя протоэскимосско-алеутского языка, в то время как протоэскимосский язык, объединявший близкородственные языки инупик и юпик со всеми их территориально раздробленными диалектами, продолжал развиваться в условиях образованной этими племенами приморской культуры [8].

Из сказанного следует, что грамматический строй современных эскимосского и алеутского языков складывался, развивался и изменялся в условиях изолированного существования первоначально двух родственных этносов, что исторически подтверждается и условиями становления их обособленных приморских культур [3, 5].

Понятие «эскимосский язык», о чем свидетельствует сопоставительное изучение его многочисленных территориально-диалектных подразделений, оказывается в значительной степени условным, поскольку единого эскимосского языка, на котором могло бы общаться большинство его носителей, не существует. В действительности имеется общеэскимосская языковая семья, состоящая из двух основных близкородственных языков — юпик и инупик (от основ *юк* и *инук* «человек» и суф. *-пик*, придающего именам значения «настоящий, действительный»). На языке юпик говорят эскимосы Чукотского побережья (СССР), островов Лаврентия и Нунивак (США) и Аляски, а на языке инупик — эскимосы Гренландии, Канады и частично Аляски. Оба этих языка включают более 25 диалектов, часть из них в результате длительного изолированного развития фактически превратилась в отдельные эскимосские языки, статус которых подтверждается также рядом этнокультурных признаков и этническим самосознанием их носителей.

На наличие трех эскимосских диалектов на азиатском побережье Берингова пролива впервые указали в конце XIX в. русские этнографы Н. Л. Гондатти и В. Ф. Миллер. Эти диалекты были названы ими унынским (*ун'азиг'мит.— М. Г.*), науканским (*ныву́к'аг'мит.— М. Г.*) и вутээнским (*сиг'ыныгмит*) [9, 10]. В начале XX в. этнограф В. Г. Богораз подтвердил мнение своих предшественников и пополнил их краткие междиалектные лексические соответствия словарными, текстовыми и фономорфологическими соответствиями [11].

Азиатскую группу юпик составляют два языка — старосибирский и чаплинско-науканский, при этом внутри последнего выделяются два территориально обособленных диалекта: чаплинский (*ун'азиг'мит*) и науканский (*ныву́к'аг'мит*). На чаплинском диалекте говорит также эскимосское население американского о-ва Лаврентия, расположенного поблизости от м. Чаплина (СССР).

Аляскинская группа юпик состоит из двух больших диалектных подразделений: тихоокеанский юпик (иначе — алютик) и центрально-аляскинский юпик. Первая включает диалекты кадьякский и чугачский, вто-

рая — собственно центрально-аляскинский юпик, нунивакский диалект, диалект зал. Хупер (иначе — чевакский) и диалект Нортон. Центрально-аляскинский юпик в свою очередь включает три говора — кускоквиумский, юконский, нушагагский.

Диалекты и языки группы юпик сами по себе представляют довольно сложный конгломерат, они находятся друг к другу в различной степени близости. Между отдельными диалектами и языками юпик прослеживаются значительные расхождения на разных уровнях строя, образовавшиеся как в результате скрещения, так и по причинам длительного автономного развития [12].

Среди азиатских подразделений языка юпик особое место занимает язык сиреникских эскимосов, который по признакам кардинальных строевых отличий от других диалектов в области лексики, грамматики и частично фонетики приобрел статус отдельного языка, поскольку происшедшие в нем изменения привели к взаимному непониманию между его носителями и носителями других двух азиатских диалектов — чаплинского и науканского. Сиреникцы до начала XX в. находились в относительной территориальной изоляции от других групп эскимосов. Их непосредственными соседями по территории и хозяйственно-культурным контактам были иноязычные чукчи-оленеводы. По многолетним наблюдениям автора данной статьи (1932—1970 гг.) сиреникцы осознавали себя как особый этнос, несмотря на их малочисленность [13].

Иллюстрацией межъязыковых различий могут служить следующие предложения с аналогичным содержанием:

чапл. д.	*Аг'нак' укиник'ук' аткуямын'*
сирен. яз.	*Нахсых' иглах'тык'ых'тых' мыцыкхшынын'*
	«Женщина шьет платье»
чапл. д.	*Упынг'амын' кынлан'а ысх'игатанка иланка*
сирен. яз.	*Пулъыг'аг'нын' нын'ысыман'ытынка иланыка*
	«С весны не-видел-я-их друзей-моих»
чапл. д.	*Таг'нух'ак ак'умгак'ук' амикун*
сирен. яз.	*Тан'ах' ман'ух'сыг'ацык'ых'тых' амикын*
	«Ребенок сидит на шкуре

Как видно, из девяти сопоставленных слов в составе трех простейших предложений только два слова оказались однокоренными, при этом все глагольные слова, являющиеся предикативным и смысловым ядром предложения, не совпали не только по корнеслову, но и по морфологическому строению.

Отсутствие в языке сиреникцев в сопоставлении с другими диалектами юпик грамматической категории двойственного числа, структурные различия в падежной системе, в способах морфологического строения глагольных словоформ, в наличии фонемы [ц] и гортанного смыка [ʔ], отсутствующих в других диалектах, значительные различия в лексике, осознание своей этнической и культурной обособленности — все это в совокупности дает основание относить его к самостоятельным языкам [13].

Сиреникцы и чаплинцы (до полной ассимиляции сиреникского языка в 1960—1980 гг.) при общении между собою использовали или чаплинский диалект, или же иносистемный чукотский язык, который был языком-посредником между чукчами и азиатскими эскимосами, включая чаплинцев и науканцев. Сиреникцы, оказавшиеся в окружении русских, чукчей и эскимосов-чаплинцев, стали интенсивно утрачивать родной язык. Так, в начале XX в. на языке сиреникцев говорило около 100 человек, в 30-х годах — 60—70 человек, в 1954 г. нами зарегистрировано только 30 человек, говорящих на этом языке, в 1965 — 20 человек, а в 1980 — всего 5 человек. Молодое поколение сиреникцев в результате смешения с иноязычным населением языками общения избрало язык чаплинских эскимосов и русский язык.

Судьба языка сиреникцев сложилась таким образом, что носители его в древнейший период дробления эскимосского племени юпиков оказались, возможно, в абсолютной изоляции от других групп своего племени,

которая продолжалась много столетий, и попали в окружение какого-то (а возможно, и не одного) иноязычного палеоазиатского племени, язык которого не сохранился. После этого они снова стали соседствовать со своими одноязычными соплеменниками и с иноязычными чукчами. Чукотский язык оказывал длительное влияние на изменение лексики языка сиреникцев.

Грамматический строй исчезавшего на наших глазах сиреникского языка, частично его лексика и образцы устной речи (в основном — фольклорные тексты) были своевременно зафиксированы и частично опубликованы в 60-е годы [13].

Чаплинский диалект, принятый в начале 30-х годов за основу письменного, по грамматическому строю и лексическому составу близок не науканскому диалекту, а языку эскимосов о-ва Лаврентия (США), с которыми чаплинцы находились в постоянных контактах с древнейших времен вплоть до 30-х годов XX в. На материале чаплинского диалекта, являющегося основным средством общения советских эскимосов, выполнено большинство исследований по грамматике и лексике эскимосского языка [14—16].

Науканский диалект по грамматическому строю и лексике, с одной стороны, близок юпикским диалектам, с другой — инупикским, обе группы носителей которых обитают на Аляске и примыкающих к ней островах. Старинное селение Наукан до 1958 г. находилась на мысе Дежнева в Беринговом проливе и объединяло восемь общин эскимосов этого этноса. Науканцы издревле контактировали как с юпиками, так и с инупиками Аляски. Вместе с тем на Чукотском берегу их соседями были иноязычные береговые и оленные чукчи. Таким образом, науканцы находились в своеобразном лингвистическом окружении, что оказывало воздействие на частичные изменения в грамматике и лексике их языка. О языке этого междиалектного подразделения до начала 50-х годов имелись лишь отрывочные сведения в виде кратких списков слов и одного маленького текста [11].

С 1948 по 1971 г. язык науканцев, на котором говорило около 200 человек, всесторонне обследовался нами в полевых условиях. Было записано более 50 фольклорных текстов, словарь на несколько тыс. слов, фразеология, парадигмы имен и глаголов. На основе этого материала выполнено монографическое описание строя языка науканцев с приложением словаря и транскрибированных текстов [15]. В связи с тем, что эскимосы этой общины были переселены из Наукана в ряд соседних поселков с чукотским и русским населением, их язык стал постепенно изменяться и утрачиваться под иноязычным воздействием.

В 1948 г. в районе Берингова пролива нами был зафиксирован один из диалектов эскимосского языка группы инупик, носители которого проживали на островах Ратманова (Имак'лик' или Большой Диомид, СССР) и Крузенштерна (Ин'алик' или Малый Диомид, США) [15].

Диалекты и языки эскимосской ветви инупик (иначе — инуит) распространены в Северной Аляске, Канаде и Гренландии.

Язык инупиков Аляски включает следующие диалекты: диалект мыса Барроу, диалект зал. Коцебу, диалект п-ва Сьюард и диалект эскимосов Берингова пролива, живущих на м. принца Уэльского и на о-ве Крузенштерна.

Язык инупиков Канады (иначе — инуктитут) включает следующие близкородственные диалекты: диалект эскимосов Лабрадора, диалект центральных эскимосов, объединяющий три поддиалекта — иглулик, нетсилик и карибу, диалект Баффиновой земли, диалект Коппер и диалект Маккензи.

Язык эскимосов-инупиков Гренландии (иначе — гренландский язык) сформировался как письменный на базе западногренландского диалекта. На этом языке проводится обучение в эскимосских школах, ведутся радиопередачи, издаются книги, журналы, газеты. Кроме письменного языка выделяются еще два диалекта — восточногренландский и диалект Туле [12].

Диалектное дробление эскимосского языка племени инупик затрудняет свободное взаимопонимание далеко отстоящих друг от друга маргинальных групп инупиков Гренландии, Канады и Аляски. Языковому контактированию различных островных групп племени инупик мешает также и разнобой в письменности, отсутствие единой системы алфавитов. Так, например, эскимосы-инупики разных территорий Канады пользуются двумя видами письменности — на латинской основе и на силлабической. В свою очередь латинский алфавит и правила орфографии гренландских инупиков значительно отличаются от алфавита и орфографии канадских и аляскинских инупиков. Все это тормозит процесс консолидации раздробленных групп некогда единого этноса.

Родственные по языку, материальной и духовной культуре племена юпик и инупик длительное время обитали совместно на единой территории в регионе Берингоморья. В эскимосском языке той поры возникло множество общих для юпиков и инупиков слов, относящихся к названиям объектов и предметов морского промысла. Общей в своей массе сохранилась и базисная лексика, образовавшаяся в языке еще в континентальный период жизни этих племен. Позднее юпики и инупики стали постепенно распадаться на отдельные территориальные группы. Юпики расселились преимущественно в регионе Берингова пролива и на тихоокеанском побережье Аляски, а инупики в своем большинстве мигрировали на северные земли Канады и Гренландии. Начало этой миграции археологами и антропологами исчисляется примерно в 2,5—3 тыс. лет от нашего времени, когда единая для этих племен приморская культура достигла своего высокого развития [1—7].

Вместе с тем имеющиеся различия в строе языков юпик и инупик, которые касаются в основном глагольной лексики, частично парадигматики именных и глагольных частей речи, а также изменения, относящиеся к фономорфологической структуре слова, указывают на то, что эти два родственных племени еще в континентальный период их существования тесно контактировали и в то же время сохраняли особенности своих племенных диалектов.

Часть изолированных территориальных групп племени юпик обосновалась на побережье Чукотского п-ва. При этом не исключается, что происходили и двусторонние миграции на ту или другую сторону пролива. На последнее обстоятельство указывает, например, то, что в топонимике чукотского побережья и в мифологии азиатских эскимосов (юпик) сохранились инуитские названия, а в языке эскимосов о-ва Лаврентия (США) — иноязычные чукотские слова. Хозяйственные и культурные контакты между отдельными родственными и неродственными племенами в регионе Берингова пролива сохранялись вплоть до начала XX в.

В настоящее время общая численность эскимосов составляет около 97 тыс. человек, из них проживает на Аляске (около 30 тыс.), в Канаде около 18 тыс.), в Гренландии (около 47 тыс.), в СССР (около 1200 чел.).

Отдаленно родственные эскимосам по языку и культуре алеуты расселены на Алеутских (США) и Командорских (СССР) островах. В США их численность примерно 2000 человек (точных данных нет), в СССР — 300 человек.

Алеутский язык объединяет три диалекта: уналашкинский (восточный), аттовский (западный) и аткинский. До 1942 г. на уналашкинском диалекте говорили алеуты п-ва Аляска и островов Уналашка, Умнак, Акутан, Св. Георгия и Св. Павла. На аттовском — алеуты о-ва Атту и о-ва Медного (СССР), а на аткинском — алеуты о-ва Атка и о-ва Беринга (СССР). Американские алеуты в 1942 г. были переселены с островов Алеутской гряды на острова Адмиралтейства. Алеуты Командорских островов — Медного и Беринга — в 1826 г. были завезены Российско-Американской компанией с Алеутских островов Атка и Атту. В настоящее время советские алеуты проживают на о-ве Беринга совместно с русским населением. Язык командорских алеутов в течение последнего столетия интенсивно ассимилируется русским языком, по данным 1982 г. на нем говорило не более 20 человек старшего поколения.

В начале XX в., почти через 70 лет после И. Е. Вениаминова, изучение языка и культуры алеутов продолжил русский ученый В. И. Иохельсон. Его труды в значительной мере пополнили наши знания о фонетических и строевых особенностях алеутского языка [17, 18]. Работы по алеутскому языку И. Е. Вениаминова и В. И. Иохельсона явились базой для его дальнейшего изучения рядом зарубежных ученых, среди которых следует назвать имена Х. К. Бакмейстера, Ф. Боаса, К. Бергсланда, Д. П. Хаддингтона, Н. Марша, Е. Рансома, М. Краусса, Р. Х. Джасигана и алеута М. Диркса [19, разд. II, Aleut]. Особую научную ценность представляют труды К. Бергсланда, посвященные различным разделам лексики, фономорфологии и грамматики алеутского языка [20—22 и др.].

Исследования по языку алеутов в нашей стране были возобновлены в Секторе палеоазиатских и самодийских языков Института языкознания АН СССР в 1963 г. и продолжаются в настоящее время [23—25].

Эскимосско-алеутская семья языков не обнаруживает прямого генетического родства ни с одним языком мира. На основании генеалогической классификации языков коренного населения Сибирского Севера, проведенной Л. И. Шренком в конце XIX — начале XX в., эскимосско-алеутские языки по признакам географической и этнической изолированности были отнесены к так называемым палеоазиатским языкам. Попытки ряда лингвистов (Х. К. Уленбека, В. Талбитцера, А. Саваджо, Л. Хаммериха, К. Бергсланда, М. Сводеша) установить генетическое родство эскимосско-алеутских языков с иносистемными палеоазиатскими, урало-алтайскими или даже индоевропейскими языками носили поисковый характер и не дали положительных результатов [26].

Грамматический строй алеутского языка впервые был описан выдающимся русским просветителем на Алеутских островах И. Е. Вениаминовым в 40-х годах XIX в. Его книга «Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка», а также труды по истории и культуре алеутов и других аборигенов Русской Америки имели огромное влияние на развитие гуманитарных наук в России, посвященных изучению этого региона [27, 28]. И. Е. Вениаминову первому принадлежит указание на отдаленное генетическое родство эскимосского и алеутского языков, которое в наше время неоднократно было подтверждено исследованиями ряда отечественных и зарубежных ученых. В книге «Замечания о колошенском и кадьякском языках...» И. Е. Вениаминов говорит об общих чертах грамматического строя уналашкинского (алеутского) и кадьякского (эскимосского) языков. К кадьякскому языку он относит эскимосские диалекты Берингова пролива, которые в то время по географической соотнесенности и неизученности мореплавателями и этнографами относились к так называемому «языку сидячих чукчей». При И. Е. Вениаминове термин «eskimoue» не вошел еще в научную литературу и «сидячими чукчами» наряду с береговыми чукчами называли также эскимосов островов Берингова пролива и побережья Чукотки [29] [1].

Эскимосско-алеутское языкознание как научная дисциплина стало складываться только с середины XIX в., хотя первые сведения о грамматическом строе эскимосского (по другому названию — гренландского) языка в сопоставлении с датским и латинским были представлены датским миссионером в Гренландии П. Егеде еще в середине XVIII в. и его преемником О. Фабрициусом в начале XIX в. [30—32].

К тому же времени относятся первые отрывочные сведения о языках коренного населения Аляски и Алеутских островов — алеутском, эскимосском, североиндейских, представленные русскими мореплавателями и землепроходцами, открывшими и присоединившими к России северо-западные земли Америки [14].

[1] Этноним *eskimoue* образовался и вошел в научную литературу, а затем и в общее употребление в XIX в. Происходит этот этноним от североиндейского слова *esquimoue* «сыроед». У этих же эскимосов никакого общего самоназвания не было. Племенные этнонимы *йупик* и *инупик* означают «настоящий человек». Каждая территориальная группа эскимосов называет себя по месту жительства, что совпадает часто и с названием диалекта, ср.: *нывукаг'мит* «науканцы», *сиг'ыныгмит* «сиреникцы» и т. п.

В XIX и начале XX вв. эскимосско-алеутские языки становятся объектом исследования уже широкого круга русских, западноевропейских и американских лингвистов. Среди них особое место занимают И. Е. Вениаминов, С. Клейншмидт, Ф. Барнум, В. Талбитцер, В. И. Иохельсон, В. Г. Богораз, Ф. Боас, Г. В. Шульц-Лоренцен, К. Рассмуссен, Д. Дженнесс, М. Сводеш, Л. Хаммерих, которые создают серию трудов по различным разделам грамматического строя и лексических особенностей эскимосских и алеутских диалектов [19].

Эскимосско-алеутское языкознание занимает ныне по праву важное место как в палеоазиатоведении, так и в общем языкознании, привлекая внимание исследователей языков различных типов особенностями своего агглютинативно-полисинтетического строя.

Известно, что исследования в области эскимосско-алеутских языков проводятся в Дании, Канаде, США, Норвегии, Франции, Японии и частично в других странах. Из наиболее известных научных центров в этой области можно назвать Центр по изучению языков аборигенного населения Аляски при Аляскинском университете, Департамент антропологии Университета Лаваль в Канаде, Институт эскимологии при Датском университете, ряд филологических институтов и кафедр при некоторых университетах в США (Чикаго, Огайо и др.). В числе известных исследователей эскимосско-алеутских языков второй половины текущего века следует назвать таких, как К. Бергсланд (Норвегия), Л. Каплан, С. Якобсон, М. Краусс, Г. Марш, Р. Х. Джогиган, Д. Ринсом (США), Й. Ришел (Дания), Л. Шнейдер (Канада), О. Мияока, М. Ошима (Япония) и ряд других, в той или иной степени занимавшихся или продолжающих заниматься изучением общих или частных вопросов строя языков этой семьи [19].

Особенности морфологии и синтаксиса малоизученных языков агглютинативно-синтетического типа привлекли в первой половине XX в. пристальное внимание лингвистов, исследующих флективные языки индоевропейской семьи. В своих работах по сравнительно-историческому синтаксису и морфологической типологии они стали анализировать материалы эскимосско-алеутских языков по источникам названных выше авторов. Так, материалы этих языков первыми в индоевропеистике широко использовали Х. К. Уленбек, Н. Ф. Финк, а за ними и ряд современных лингвистов, работающих над проблемами выражения субъектно-объектных отношений и структурных типов предложений, особенно — эргативных в языках различного типа [33].

В монографических работах по описанию грамматического строя языков азиатских эскимосов, выполненных в период с 1960 по 1980 г., показано, что в них отсутствует основосложение и флективная морфология, а все словоформы конструируются посредством агглютинации корневых морфем с суффиксами основообразования и словоизменения. Эскимосские именные и глагольные словоформы объединяются в стройные моносемичные системы склонения и спряжения. В эскимосских языках отсутствуют грамматические категории рода или классов слов, нет и категории одушевленности—неодушевленности. Однако в них наличествуют категории числа (ед., дв., мн.), падежа, притяжательности (принадлежности лица или предмета другому лицу или предмету), лица и числа субъекта и объекта в глагольных словоформах. Субъектное или субъектно-объектное оформление глагола, выступающего в функции предикативного ядра предложения, оказывает влияние на образование двух основных синтаксических конструкций предложения — абсолютной и эргативной, противопоставляемых внутри эргативного строя языка. В эскимосских языках от любого глагола образуются его вторичные формы — деепричастия, означающие в составе предложения сопутствующее действие, зависимое от главного действия. Особенностью этих глагольных образований является то, что они, как и финитные формы глагола, изменяются в обязательном порядке по лицам и числам субъектного и субъектно-объектного спряжения. Таким образом, категория лица и числа пронизывает всю систему именных и глагольных словоформ.

Такие категории языка, как темпоральность, модальность, аспектуальность, каузальность, локативность, количественные и качественные оценки действия, в эскимосских языках выражаются преимущественно синтетическим способом путем присоединения к производящей основе слова соответствующих суффиксов [14].

В эскимосских языках, как и в любых других языках, имеется различие между именными и глагольными разрядами слов. Такие имена, как *аг'нак'* «женщина», *кайн'а* «медведь», *к'уйн'ик'* «олень», *йук* «человек», *хван'а* «я», *тана* «этот», *иг'ивгак'* «вчерашний день», *ны* «место», и любые другие в зависимости от употребления в акте речи могут выполнять как собственно номинативные, так и предикативные функции. В первом случае они принимают формы падежа, числа и притяжательности, во втором — все формы, присущие глаголу, как-то: лицо, число, время, транзитивность—интранзитивность, аспектуальность, наклонение, формы производных глаголов — деепричастия и причастия. На эти особенности образования глагольных словоформ от именных основ предметной, дейктической, пространственно-временной и пр. семантики, указывают, например, словоформы, извлеченные из фольклорных текстов чаплинского диалекта, зафиксированных в полевых условиях, ср.:

Кайн'анг'итун'а, аг'нагун'а «Не-медведица-есть-я, женщина-есть-я» (отыменные глаголы от основ *кайн'а* «медведь» и *аг'нак'* «женщина», где суф. *-нг'и* — отрицание, суффиксы *-ту, -гу* — глагольные преобразователи, суф. *-н'а* — 1-е л. ед. ч. субъекта);

Туг'ныг'анг'итун'а, йупигун'а, Укивагмин'ун'а «Не-дух-есть-я, человек-настоящий-есть-я, укивакская-есть-я» (отыменные глаголы от основ *туг'ныг'ак'* «дух», *йупик* «настоящий человек», *Укивак* — назв. селения).

Отыменные глаголы могут выражать лексико-грамматические значения императивности, модальности, локативности, переходности, каузативности, разные степени аспектуальности, качественно-количественные оценки и другие категориальные аспекты глагола, ср.:

К'уйн'ин'лъа! «Оленя-сделай!» (императив), *Куйн'иг'йух'тун'а* «Оленины-хочу-я» (модальность), *К'уйн'их'тух'лъапихтыфтут* «С-большим-множеством-оленей-оказались-они» (количественность, модальность, временная соотнесенность); *К'уйн'их'тун'г'ата* «Со-множеством-оленей будучи-они» (деепричастная форма от отыменного глагола); *К'уйн'иг'йамалг'ит* «За-оленями-поехали-они» (суф. *-йа* придает глагольным словам значение движения куда-л. с целью);

Хван'а «я»: *Хван'ан'инах'ах'лъык'ун'а* «Я-совсем-одинешенькой-буду-я» (аспектуальность, субъективная оценочность, время, наклонение, лицо); *Тāван'инак' хван'ан'инанг'итун'а, анын'алгун'а* «Только я-неодна-я, брата-имею-я» (отрицание, обладание, наклонение, время, лицо);

Ны «место»: *Ныминитак'ыфтук'* «На-месте-своем-оказывается-была-она» (локативность, модальность, наклонение, время, лицо);

Иг'ивгак' «вчерашний день»: *Иг'ивганимнан'уфтук'* «Вчерашний-оказывается-был-он» (временная соотнесенность, модальность и др.);

Кина «кто»: *Кинан'узīн?* «Кто-есть-ты?» (вопросительность);

Укаманан (и.с.ж.): *Укаманатн'узин?* «Укаман-ли-есть-ты?» (вопросительность);

Ак'ылък'ак' «гость»: *Ак'ылък'ак'лъамкын!* «Гостем-будь-моим-ты» (субъектно-объектная форма отыменного глагола в императиве), *Малмылын* (и.с.м.): *Малмылын'улгак'!* «Малмылыном-пусть-будет-он!» (императив от имени собственного);

Мысун'исагыт уксуми аман'ак'ут «Касатки зимою волками-становятся» (от *ама* «волк», *аман'ак'ут* «волками-становятся» — имитация);

Таван'īнак' улг'аг'ух'тыпигыснамалг'и «Вот-ведь сивучем-напрасно стала-она» (от основы *улг'ак'* «сивуч» — отыменный глагол модальной семантики) и т. д.

Приведенные извлечения из текстов, реально отражающих многообразные аспекты эскимосского слово- и формообразования, свидетельствуют о том, что различные категориальные структуры, образуемые оты-

мощными глаголами, по функциональным признакам не отличаются от таких же категориальных структур собственно глагольных (Verba finitum) образований. В этом смысле, исключая чисто лексическую семантику производящих именных основ, между двумя типами эскимосских глаголов нет оппозитивных грамматических различий: те и другие изменяются по всем глагольным формам и образуют сопоставимые структуры предложения. При данных обстоятельствах граница между именем и глаголом оказывается колеблющейся.

От глагольных основ свободно образуются отглагольные имена, ср.: *к'ыпх'а-* «работать», *к'ыпх'ак'* «работа», *к'ыпх'алъык'* «процесс работы», *к'ыпх'аг'вик* «место работы», *к'ыпх'ах'та* «рабочий», *к'ыпх'асик'* «орудие работы» и т. д.

Между тем имя любого разряда сохраняет свой номинативный статус во всех ситуациях речи, когда оно выполняет свою исконную синтаксическую функцию подлежащего, прямого или косвенного дополнения. Имя в назывной функции занимает свое устойчивое место в словаре, как и глагольное слово.

Подобные принципы образования словоформ присущи всем без исключения эскимосско-алеутским языкам, что может быть наиболее наглядно показано в сопоставительных исследованиях различных лексико-грамматических разрядов слов как в диалектах группы юпик, так и группы инупик эскимосского языка.

В нашем отечественном языкознании факты эскимосско-алеутских языков из работ В. Г. Богораза и В. И. Иохельсона (наряду с фактами самодийских и чукотско-камчатских языков) в своих фундаментальных исследованиях по общим проблемам языкознания широко использовал выдающийся советский языковед И. И. Мещанинов, всесторонне аргументировавший особенности способов выражения субъектно-объектных отношений и типы различных структур предложения (особенно — эргативного) как в эскимосско-алеутских, так и в других палеоазиатских языках [34].

В Советском Союзе эскимосско-алеутское языкознание на широкой научной основе стало развиваться в послевоенный период. В Институте языкознания АН СССР был создан Сектор языков народов Севера (позднее Сектор палеоазиатских и самодийских языков). Инициатором и создателем этого Сектора был акад. И. И. Мещанинов.

В Секторе палеоазиатских и самодийских языков с этого периода проводятся всесторонние исследования эскимосско-алеутских языков и диалектов как Советского, так и Американского Севера. Достаточно сказать, что с начала 50-х годов по настоящее время на первых порах двумя, а затем тремя научными сотрудниками Сектора выполнено около двухсот работ в виде монографий, словарей, очерков, статей, посвященных как общим, так и частным вопросам строя этих языков (см. указатели литературы в [8, 12]). В этот же период проводились лингвистические экспедиции в районы обитания советских эскимосов и алеутов. Собран значительный по своему объему полевой материал, включающий фольклорные и бытовые тексты, фразеологию, парадигмы именных и глагольных частей речи, сравнительную диалектную лексику. Особенно большую научную ценность представляют полевые записи, проведенные в 40-е — 60-е годы. От носителей языка старшего поколения в этот период были записаны уникальные тексты традиционного повествовательного фольклора (мифы, сказки, героические сказания, бытовые рассказы), знание которого почти не сохранилось у молодого поколения.

На основе полевого материала сотрудниками сектора изданы такие работы, как «Грамматика языка азиатских эскимосов», «Язык сиреникских эскимосов» (ныне ассимилированный чаплинским диалектом), «Язык науканских эскимосов», «Язык эскимосов Берингова пролива», академический «Эскимосско-русский словарь» [35], «Материалы по языку и фольклору эскимосов» [36], грамматические очерки по эскимосско-алеутским языкам в 5-м томе энциклопедии «Языки народов СССР», книга «Классы глаголов в эскимосском языке» [37] и ряд других работ.

Следует сказать, что эмпирический период развития эскимосско-алеутского языкознания, период накопления полевых записей и их первичной классификации с самого начала исследований тесным образом увязывался с необходимостью теоретического осмысления языкового материала и установлением грамматических парадигм. Создание так называемых «описательных грамматик», двуязычных словарей и других типов исследований не могло происходить без учета общих теоретических оснований, вытекающих из реальных и присущих этим языкам фонетических и грамматических закономерностей.

Сотрудниками Сектора в настоящее время подготовлены, а Ученым советом ЛО ИЯ АН СССР утверждены к изданию два больших труда: «Материалы и исследования по языку науканских эскимосов» и «Материалы и исследования по языку чаплинских эскимосов». В них включаются транскрибированные тексты традиционного повествовательного фольклора азиатских эскимосов с переводами, отражающими особенности морфологической структуры слова и типов предложения, а также комментарии лингвистического, этнографического и фольклористического характера. Опубликование этих трудов даст ценный материал для широких филологических исследований в области эскимосско-алеутского языкознания и смежных с ним дисциплин — этнографии и фольклористики.

Завершена работа по теме «Синтаксис простого предложения» на материале чаплинского диалекта языка азиатских эскимосов. Это специальное исследование по эскимосскому синтаксису выполнено впервые.

В области научных изысканий перед сотрудниками Сектора палеоазиатских языков выдвигаются такие актуальные проблемы, как сопоставительные исследования грамматического строя эскимосских диалектов группы юпик, а в последующий период сопоставление их с диалектами группы инупик и алеутским языком. Сотрудники Сектора — специалисты по эскимосско-алеутским языкам — будут также участвовать в коллективных теоретических работах, посвященных общим проблемам социолингвистики, связи языка и мышления, вопросам билингвизма, аспектологии, лексикологии.

Одной из важных и безотлагательных задач остается дальнейшая полевая фиксация языкового материала азиатских диалектов эскимосского языка, особенно разобщенного по частям науканского диалекта, а также материала интенсивно ассимилируемого русским языком и исчезающего ныне алеутского языка на о. Беринга.

Сотрудники Сектора палеоазиатских языков наряду с теоретическими исследованиями в области эскимосско-алеутского языкознания проводят практическую работу по созданию учебников, словарей, методических пособий и литературы для внеклассного чтения в эскимосских школах. В качестве авторов школьных учебников выступают ныне также учителя эскимосских школ, хорошо владеющие родным языком. Все эти мероприятия способствуют выполнению Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 февраля 1980 г. «О мерах по дальнейшему экономическому и социальному развитию районов проживания народностей Севера».

В связи с тем, что изучение эскимосско-алеутских языков непосредственным образом связано с историей материальной и духовной культуры их носителей, с проблемами их этногенеза, наши лингвистические исследования в этой области и впредь будут тесно увязываться с данными археологии, этнографии и памятников устного художественного творчества эскимосо-алеутов, извлекаемыми как из полевых материалов, так и из результатов исследований по смежным гуманитарным наукам — археологии, этнографии, социолингвистики и фольклористики.

В целях координации сопоставительных исследований в области эскимосских языков юпик и инупик, а также алеутского языка было бы целесообразно установить более тесные научные контакты между советскими и зарубежными лингвистическими институтами и отдельными специалистами, чем это имеет место в настоящее время. Обмен опытом исследований и материалами явился бы ощутимым вкладом в развивающееся эскимосско-алеутское языкознание.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Black R. F., Laughlin W. S.* Reports. Anangule: A geological interpretetion of the oldest archeological site in the Aleutians.— Science, 1964, v. 143, № 3612, p. 1321—1322.
2. *Laughlin W. S.* Ruman Migration and Permanent Occupation in the Bering Sea Area.— In: The Bering Land Bridge. Ed. by Hopkins D. M. Stanford, 1967.
3. *Лафлин В. С., Окладников А. П.* Совместные исследования американских и советских археологов на Анангуле (Алеутские о-ва, Аляска).— В кн.: Соотношение древних культур Сибири с культурами сопредельных территорий. Новосибирск, 1975.
4. *Файнберг В. С.* Очерки этнической истории зарубежного Севера. М., 1971, с. 7—29.
5. *Ляпунова Р. Г.* Очерки по этнографии алеутов. Л., 1975, с. 8—21.
6. *Алексеева Т. И., Алексеев В. П., Арутюнов С. А., Сергеев Д. А.* Некоторые итоги историко-этнологических и популяционно-антропологических исследований на Чукотском полуострове.— В кн.: На стыке Чукотки и Аляски. М., 1983.
7. *Диков Н. Н.* Древние культуры Северо-Восточной Азии (Азия на стыке с Америкой в древности). М., 1979.
8. *Меновщиков Г. А.* Эскимосско-алеутские языки.— В кн.: Языки Азии и Африки. Т. III. М., 1979.
9. *Миллер В. Ф.* Об эскимосских наречиях Анадырского округа.— Живая старина, 1897, вып. II, год 7-й.
10. Материалы по наречиям инородцев Анадырского округа, собранные Н. Л. Гондатти.— Живая старина, 1897, вып. II.
11. *Богораз В. Г.* Материалы по языку азиатских эскимосов. Л., 1949.
12. *Меновщиков Г. А., Вахтин Н.* Эскимосский язык. Л., 1983, с. 16—20.
13. *Меновщиков Г. А.* Язык сиреникских эскимосов. М.— Л., 1964.
14. *Меновщиков Г. А.* Грамматика языка азиатских эскимосов. Ч. I. М.— Л., 1962; Ч. II. М.— Л., 1967.
15. *Меновщиков Г. А.* Язык науканских эскимосов. Л., 1975.
16. *Меновщиков Г. А.* Язык эскимосов Берингова пролива. Л., 1980.
17. *Иохельсон В. И.* Унанганский (алеутский) язык.— В кн.: Языки и письменность народов Севера. Ч. III. М.— Л., 1934.
18. *Иохельсон В. И.* Заметки о фонетических и структурных основах алеутского языка.— Изв. АН, 1912, № 17.
19. *Krauss M. E.* Preliminary catalogue of Eskimo and Aleut memorials. Alaska native language center. University of Alaska, Fairbanks, 1983.
20. *Bergsland K.* Aleut dialects of Atka and Attu. Philadelphia, 1959.
21. *Bergsland K.* Atkan Aleut-English dictionary. Anchorage, Alaska, 1980.
22. *Bergsland K.* Atcan Aleut school grammar. Anchorage, Alaska, 1981.
23. *Меновщиков Г. А.* Алеутский язык.— В кн.: Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968.
24. *Меновщиков Г. А.* Алеутско-русский словарь.— В кн.: Языки и топонимия. Томск, 1977.
25. *Асиновский А. С., Вахтин Н. Б., Головко Е. В.* Этнолингвистическое описание Командорских островов.— ВЯ, 1983, № 6.
26. *Меновщиков Г. А.* Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языковым семьям.— ВЯ, 1974, № 1.
27. *Вениаминов И. Е.* Опыт грамматики алеутско-лисьевского языка. СПб., 1846.
28. *Вениаминов И. Е.* Замечания о колошенском и кадьякском языках и отчасти о прочих российско-американских. СПб., 1846.
29. *Меновщиков Г. А.* И. Е. Вениаминов как лингвист.— В кн.: Происхождение аборигенов Сибири и их языков. Томск, 1976.
30. *Egede P.* Dctionarium Grönlandica-Danico-Latinum. Hafnia, 1750.
31. *Egede P.* Grammatica Grönlandica-Danico-Latina. Hauniae, 1760.
32. *Fabricius O.* Forsøg til en forbedret grønlanske Ordbog. København, 1804.
33. Эргативная конструкция предложения в языках различного типа. М., 1950.
34. *Мещанинов И. И.* Проблемы развития языка. Л., 1975.
35. *Рубцова Е. С* Эскимосско-русский словарь. М., 1971.
36. *Рубцова Е. С.* Материалы по языку и фольклору эскимосов. М.— Л., 1964.
37. *Емельянова Н. М.* Классы глаголов в эскимосском языке. Л., 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ЖУРАВЛЕВ В. К.

ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ФОНОЛОГИЯ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Динамическая (историческая, диахроническая) фонология зародилась одновременно с фонологией вообще. Основоположник фонологии, Н. С. Трубецкой [1], шел от истории, диахронии, [2], но сосредоточился на синхронии, на фонологии статической. Инициатором фонологического подхода к проблеме звуковых изменений справедливо считается Р. О. Якобсон, друг и соратник Трубецкого, его однокашник по Московскому университету. В 1931 г. были опубликованы «Принципы исторической фонологии» [3] Якобсона. Это и было «годом рождения» новой лингвистической дисциплины, появление которой означало революцию в историческом языкознании. И не только в языкознании. Это — одна из первых частных теорий структурных преобразований, актуальность которых осознается лишь сегодня во многих отраслях современного знания.

Центральная идея нового подхода к истории языка: «Изменяется не отдельный элемент, а целостная система». Во главу угла поставлен принцип системности как проявление принципа всеобщей связи, а тем самым и принципа причинности, принципа развития, историзма. Опираясь на эти принципы, наука осознала возможность и необходимость взять на себя экспланаторные функции. Теперь, как писал Е. Д. Поливанов в рецензии на книгу Якобсона [4], послужившую эмпирическим фундаментом для «Принципов...», недостаточно описать исторические факты, необходимо вскрыть внутреннюю логику всей системы, выявить причины и механизм, движущие стимулы изменения целостной системы и отдельных ее элементов, дать «логически разъясненную картину всей данной эволюции, т. е. всей истории восточнославянской, или русской, фонологической системы от древнейшего из доступных компаративному анализу состояний до современности» [5, с. 135].

Показательно, что новая научная дисциплина зародилась в недрах отечественного языкознания, ее первым пробным камнем, на котором оттачивались и апробировались новые методы историко-лингвистического анализа, был материал истории русского и славянских языков. Это — бесспорное свидетельство зрелости отечественной славистики. Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. И. Соболевский и их ученики так обработали и систематизировали славистический материал, что как бы сами собой напрашивались выводы общелингвистического, общенаучного значения. Любая наука вступает в фазу зрелости с того момента, когда в ней складывается и осознается необходимость дать и действительно дается объяснение явлений, а не только их описание. Представляя к присуждению академической премии труд своего зарубежного коллеги Яна Гебауера по истории чешского языка, А. А. Шахматов впервые четко сформулировал задачу «исторической грамматики»: она должна исследовать не историю отдельных звуковых явлений, а целостные звуковые системы, ибо «история отдельных звуков стоит в тесной, неразрывной связи с историей всего звукового состава» [6, с. 35]. Оставалось вскрыть механизм такой связи.... С этой цитаты и начинается первый в истории мировой лингвистики опыт исторической фонологии. Этот опыт предпринял в 1929 г. Якобсон [4]. Лишь спустя два десятилетия был предпринят второй опыт осмысления и обработки «истории звуков» при помощи методов новой историко-лингвистической дисциплины. В 1949 г. опубликована историческая фонология французского языка [7].

Новая научная дисциплина вышла за пределы своей славистической «прародины». Еще через два десятилетия появилось фундаментальное обобщение ее первых результатов, приемов и принципов. В 1955 г. на французском языке вышел «Трактат диахронической фонологии» А. Мартине [8].

Развитие исторической фонологии и ее превращение в фонологию диахроническую прямо или косвенно, непосредственно или опосредованно связано с осознанием теснейшего родства диахронической фонологии с материалистической диалектикой, наукой о наиболее общих законах развития. Диалектическая логика требует рассматривать предметы и явления реальной действительности, их отражения в сознании и науке в их развитии, изменении, самодвижении. Источник движения — прежде всего внутренние противоречия.

2. Полувековая история нашей молодой науки накопила несколько фундаментальных противоречий, выявление, вскрытие и снятие, разрешение которых и может быть залогом и стимулом ее дальнейшего развития.

Первое противоречие вскрыл М. И. Стеблин-Каменский. Создавая оригинальную диахроническую концепцию, он отмечал, что историческая фонология зародилась как наука экспланаторная, но по мере ее продвижения на Запад и, особенно, в США, усиливался ее описательный, дескриптивный характер с сознательным или бессознательным исключением принципа причинности. Поиски точных методов и приемов «корректного и непротиворечивого описания» как единственно научной задачи становились признаком научной респектабельности не только зарубежных, но и отечественных историков языка. «Никакая наука, изучающая явления, протекающие во времени, не может игнорировать причинно-следственные связи тех явлений, которые она изучает,— писал Стеблин-Каменский,— и, следовательно, их не может игнорировать и диахроническая фонология» [9].

Значит, реабилитировать, развить и усовершенствовать *экспланаторные* функции нашей науки, опираясь на *принцип причинности* как часть принципа всеобщей связи — первостепенная задача диахронической фонологии. Причинно-следственные связи звуковых изменений — это прежде всего их связи между собой, а затем с различными языковыми и, далее,— с неязыковыми явлениями и процессами. Их-то в строго определенной последовательности, отражающей иерархичность связей в реальной действительности, и должна изучать диахроническая фонология. Не следует забывать заветы Ф. Ф. Фортунатова, сформулировавшего более ста лет тому назад задачи исторического языкознания: наука стремится узнать *причины и связи* явлений.

Второе противоречие вскрыл Е. Д. Поливанов. Оно заключается в том, что язык, бесспорно, «есть явление социальное» [5, с. 178], но сам «материал эволюции», язык и «технические законы языкового развития» невыводимы, «исходя исключительно лишь из внеязыковых данных...». Действительно, «совершенно нелепым упрощенством будет попытка объяснить все факты современного, например русского, языка экономическо-политической историей последних ста, трехсот или пятисот, а тем более последних двадцати лет...» [5, с. 181].

В самом деле, историческая фонология нацелила внимание исследователя на поиск внутренней причинности, на идею самодвижения, саморазвития. Трудно найти сколько-нибудь образованного лингвиста, который не понимал бы либо сознательно отрицал или игнорировал связь развития языка с развитием общества. Однако гораздо труднее найти лингвиста, который бы не лишал фонологическую систему атрибута развития. Многие отечественные и зарубежные лингвисты предпочитали видеть стимулы фонологической эволюции где угодно (антропофоника и психология, языковые контакты, субстраты и адстраты, экономика и культура, удовлетворение возрастающей потребности общества и т. п.), но не в самой фонологической системе, не в ее внутренних противоречиях. Все развивается, а фонологическая система лишь пассивно воспринимает внешние толчки,

реагируя на изменения в морфологии, по мнению одних лингвистов, либо время от времени восстанавливая порядок, постоянно разрушаемый стихийными силами фонетики, по мнению других. В свое время Е. Д. Поливанов [5, с. 181] писал, что такой подход к изучаемым явлениям был характерен для научно-философского мировоззрения XVIII в. до появления лингвистической концепции младограмматиков, до диалектики Гегеля.

Реабилитировать атрибут развития фонологической системы с важнейшим источником самодвижения во внутренних противоречиях — актуальнейшая задача нашей науки.

Принцип всеобщей связи и системности требует соблюдения строгой иерархичности связей внутренних и внешних, внутрисистемных и экстрасистемных, лингвистических и экстралингвистических. Внутренние связи и стимулы важнее, сильнее внешних. Любая живая система обладает определенными силами самосохранения, противодействия внешним толчкам. Тенденция сохранения коммуникативной пригодности — важнейшее свойство языка вообще и его фонологической системы в частности.

Диахроническая фонология должна стать не только наукой об изменениях, как это считалось до сих пор, но прежде всего — о самосохранении, точнее — о самосохранении и саморазвитии фонологической системы.

Выяснение механизма самосохранения, устойчивости фонологической системы — важнейшая задача нашей науки.

Диахроническая фонология не может и не должна искать причины исторических изменений непосредственно в социальных факторах и прочих внешних толчках, не исчерпав предварительно всю мощь своих методов и приемов. Наука становится самостоятельной там и тогда, где и когда она захочет и сможет решать свои задачи на собственном материале, своими собственными инструментами, приемами и методами. Лишь полностью исчерпав разрешающую силу фонетики и фонологии, можно передать неразрешенный остаток морфонологии, затем грамматике данного языка и т. д. Лишь проследив внутрисистемные связи, можно передавать неразрешенный остаток в распоряжение теории языковых контактов, а затем и социолингвистики, истории общества и т. д.

Именно такой подход сделал в свое время историческое языкознание наукой точной. Постулат о непреложности, безысключительности фонетических законов был дополнен «процедурой» передачи «неразрешенного остатка» в виде исключений из этих законов в сферу действия аналогии, иноязычных заимствований и т. д.

3. Парадигма диахронической фонологии классических концепций Якобсона — Мартине остается недостроенной. Весьма сочувственно и объективно излагая их, фон Вартбург констатировал: «...diachronic phonology is still in its infancy» [10].

Новая массачусетская фонологическая концепция 1952—1956 гг. [11] в принципе панхронична, статична, она нацелена на совершенствование процедуры описания, на типологию. Первые попытки ее применения в исторической фонологии убедительно показали, что она может быть использована лишь в процедуре описания инвентаря фонем и объема дифференциальных признаков по «синхронным срезам». Сама динамика изменения фонологической системы между произвольно избранными синхронными срезами остается вне пределов разрешающей способности этой концепции. Методика описания по синхронным срезам остается в рамках описательной, дескриптивной, синхронной фонологии.

Опыт генеративистской модификации этой концепции, направленный на историческое языкознание, по справедливой оценке Й. Вахка [12], нацелен лишь на разработку процедуры описания и не ставит своей целью вскрытие причинно-следственных отношений. Любопытно, что наиболее удачные генеративистские опыты хронологической иерархивации «правил» звуковых изменений чем-то напоминают ранние работы по исторической фонетике праславянского языка Н. С. Трубецкого [2] предфонологического этапа его творчества. Да и сами генеративисты подчеркивают, что они работают «на аллофонном» (т. е. собственно звуковом, а не

фонемном) уровне. Их формула звуковых изменений $A \rightarrow B / \frac{x—y}{z}$ (замени А на В в окружении $\frac{x—y}{z}$!) напоминает общую формулу фонетических законов младограмматиков. А тем временем фундаментальные идеи и понятия исторической фонологии постепенно уходили в разряд «устаревших» либо просто забывались, но не всюду и не совсем.

Относительно больший интерес диахроническая фонология вызвала в нашей стране. М. И. Стеблин-Каменский, Э. А. Макаев, А. А. Реформатский и их ученики пропагандировали и совершенствовали нашу науку, апробируя ее методы на материале языков славянских и германских, скандинавских и романских, а также на материале истории русского, английского и других языков.

4. Основоположники исторической фонологии декларировали, что ее героем должна стать целостная фонологическая система. Однако фактически в центре внимания Р. Якобсона оказалась лишь отдельная фонологическая оппозиция. Это она, оппозиция, зарождается либо умирает или трансфонологизируется. Формула мутации фонологической оппозиции

$$(A_1:B_1) \rightarrow (A_2:B_2) \qquad (1)$$

включает в себя фонологизацию ($B_1 = 0$), дефонологизацию ($B_2 = 0$) и трансфонологизацию. Отдельные оппозиции еще не целостная фонологическая система. Каким образом эти оппозиции и мутации связаны между собой? Это осталось за пределами концепции Р. Якобсона [3, 4].

Ответить на этот вопрос попытался А. Мартине, поставив во главу угла своей концепции корреляцию как взаимосвязь рядов и серий, объединенных общностью признака. При этом выпало фундаментальное понятие оппозиции, а вместе с тем и формула мутации.

Каким образом осуществляется связь между корреляциями, а тем более между фонологизациями и дефонологизациями? Появление массачусетской фонологической концепции Р. Якобсона и его сотрудников [11] обусловило надежду, что героем фонологии станет дифференциальный признак. В какой-то мере это позволяло вскрыть механизм фонологических изменений (переразложение дифференциальных признаков на фонемном стыке, их трансфонологизация и т. д.). Однако проблема связи между дифференциальными признаками остается открытой.

Истинный же герой диахронической фонологии, целостная фонологическая система, все еще стоит у порога нашей науки. Только тогда, когда ее предметом станет эволюционирующая система, все явления и процессы звуковой истории данного языка как бы сами собой выстроятся в непрерывную цепь событий, связанных причинно-следственными отношениями. Но что же связывает фонологическую систему именно в целостную систему, каковы ее системообразующие факторы?

В центре внимания Р. Якобсона, как и А. Мартине,— парадигматика, в то же время все заделы дофонологического этапа нашей науки лежат, наоборот, в синтагматике. Что это? Парадокс или непроходимая грань? Может быть, парадигматика и есть фонология, а синтагматика — это фонетика? Или, если и то и другое фонология, не следует ли различать две фонологии: «парадигмофонологию» и «синтагмофонологию»? Оба решения бытуют в нашей науке. Однако если найти связь между парадигматикой и синтагматикой в единой фонологии, то можно было бы синтезировать достижения младограмматиков и фонологии. Путь такого синтеза наметил М. И. Стеблин-Каменский. Он включил в диахроническую фонологию как парадигматические, так и синтагматические «фонемные изменения» [13, с. 15] и предложил фонологическую интерпретацию феномена непреложности звуковых законов младограмматиков [13, с. 11].

Как заметил П. Ивич [14], в концепции Якобсона (1929—1931 гг. и 1952—1956 гг.) нет места фундаментальному понятию позиции. Это-

го нет ни у Мартине, ни у Хёнигсвальда и их последователей. Однако позиция, «фонетическое окружение» — важнейший фактор звуковых изменений в концепции младограмматиков. Бесспорно, что связано с концептуальным отношением к парадигматике и синтагматике. Между прочим, генеративисты реабилитировали понятие позиции, «окружения».

Фонологическая позиция — важнейший системообразующий фактор так называемой московской фонологической концепции как для синхронии, так и для диахронии. Без понятия позиции не может быть и понятия фонемы. А. А. Реформатский сформулировал фундаментальное положение нашей науки: позиции — «важнейшие объекты исторической фонологии, и сама историческая фонология — это прежде всего *история позиций*» [15, с. 119]. Он наметил пути реализации этого положения в историко-фонологических исследованиях.

«Краеугольных камнем» классической общей фонологии является *нейтрализация*, позиционное снятие противопоставления [1, с. 87]. Однако в исторической фонологии Р. Якобсона [3, 4] ее нет, как нет и фундаментального понятия позиции. А. Мартине, много уделивший внимания явлению нейтрализации (и не только фонологической) в синхронии, не нашел ей места в своей диахронической фонологии. На важность нейтрализации в исторических изменениях указывал Э. А. Макаев [16]. Задача состоит в том, чтобы включить фундаментальное понятие *нейтрализации* в понятийный аппарат диахронической фонологии.

5. В науке, как и в искусстве, новое не отвергает красоту старого, а включает ее в свой золотой фонд. Известная книга Мартине [8] — изящная мозаика из драгоценных камней традиционной исторической фонетики, скрепленных своеобразно понятым «принципом экономии». В этом причина ее успеха. Здесь решалась задача установления связи новой научной дисциплины с традиционной исторической фонетикой, авторитетнейшим разделом мирового языкознания. Читая название книги «Économie des changements phonétiques», можно подумать, что в ней идет речь о звуковых изменениях в традиционном понимании и об одном из традиционных способов их объяснений с помощью «принципа экономии произносительных усилий», сформулированного еще в конце XIX в. (Г. Суит, П. Пасси и др.). И лишь в подзаголовке более мелким шрифтом дано название, отражающее истинное ее содержание «Traité de phonologie diachronique». Внутренняя логика развития исторической фонологии требовала синтеза с достижениями младограмматиков. Она могла появиться на свет, лишь резко порвав с классической исторической фонетикой, в недрах которой зародилась. Р. О. Якобсон противопоставил «изоляционизму» младограмматиков «интегральный» метод новой науки [3]. Ее дальнейшее существование и успешное развитие стало возможным лишь при условии освоения богатейшего наследия, накопленного предшествующими поколениями лингвистов. Это и пытался сделать А. Мартине, но вопрос заключается в том, не остались ли некоторые существенные достижения предфонологического этапа за пределами его замечательной книги и вне сферы его внимания?

Анализ эволюции идей показал, что за пределами концепции А. Мартине остались наиболее фундаментальные ее достижения предшествующего этапа. Это, во-первых, младограмматическая концепция непреложности фонетических законов и основанная на ней процедура установления относительной хронологии звуковых изменений. Это, во-вторых, конвергентно-дивергентная теория Е. Д. Поливанова [5, с. 57 и сл.], ядром которой является тесная взаимосвязь и взаимообусловленность процессов расщепления и слияния фонем. Впрочем, это в какой-то мере объяснимо. Именно в романистике [17] раньше и сильнее проявился скепсис к постулату непреложности фонетических законов, выдвинутому германистами и славистами. Эмпирический материал, которым традиционно располагала романистика, зачастую вступал в противоречие с этим постулатом.

А между тем на базе выявленных фонетических законов и относительной хронологии вполне надежно установлены последовательные цепи от-

дельных звуковых изменений на основе их внутренней взаимосвязи и зависимости от мены позиций. Опираясь на поливановское положение о взаимосвязи конвергенций и дивергенций, идя от реконструируемой дивергенции к конвергенции, от нее — к последующей дивергенции, можно реконструировать весьма значительные фрагменты фонологической системы в ее динамике. Необходимо лишь решить парадокс фонетических законов, выяснить, почему принципиально безысключительные законы обязательно должны иметь исключения в истории языка. Решение этого парадокса намечено М. И. Стеблиным-Каменским. Необходимо выявить причины и механизм появления, функционирования и отмены фонетических законов. Прежние достижения науки должны включаться в новейшие научные концепции как частый и предельный случай. Это — общенаучный «принцип дополнительности» Нильса Бора. Постулат непреложности фонетических законов — фундаментальное положение исторического языкознания — вместе с огромным эмпирическим материалом, собранным усилиями многих поколений отечественных и зарубежных ученых, необходимо включить в целостную современную концепцию звуковых изменений как вполне достоверные «предельные случаи», строго определив сферу их достоверности. Вместе с этим будет включена и концепция Е. Д. Поливанова, базирующаяся в конечном счете на постулате непреложности фонетических законов.

6. В целостной концепции должна быть прежде всего установлена строгая иерархия звуковых изменений, их основные типы: 1) фонетический, 2) фонологический, 3) морфонологический, 4) социолингвистический.

Первый, ф о н е т и ч е с к и й тип — это аллофонное варьирование фонем в определенных фонетических (позиционных) условиях. Фонетические законы — это законы аллофонного функционирования фонем в данном синхронном состоянии данного языка. Они действительно непреложны, действуют автоматически и, как правило, не замечаются носителями данного языка и не отражаются на письме.

Сущность фонетического закона можно схематически выразить формулой:

$$L\left\{\frac{a>b}{P}\right\}T \qquad (2)$$

Звук (a) регулярно переходит в звук (b) в строго определенных позициях (P) в данном языке (L) на данном этапе его развития (T).

Для того, чтобы такое аллофонное варьирование стало замеченным и осознанным, должны быть нарушены параметры P, T, L, т. е. должны появиться исключения, в позиции P должно встречаться не только (b), но и (a). Вот почему фонетические законы, будучи безысключительными в эпоху своего функционирования, не могут оставаться без исключений в истории языка. Накапливание такого рода исключений и есть процесс фонологизации прежних аллофонов.

Сущность второго, ф о н о л о г и ч е с к о г о типа и заключается в процессе фонологизации аллофонов, в превращении прежних позиционных вариаций в самостоятельные фонемы путем выхода из состояния дополнительного распределения, продиктованного прежним фонетическим законом функционирования. Фонетический закон отменяется новым законом и дальнейшим конвергентно-дивергентным процессом. Следует вспомнить соответствующие формулы Поливанова:

$$a \rightarrow b \text{ -:- } c \qquad (3)$$

$$a \times b \rightarrow c \qquad (4)$$

Так, праславянская дивергенция $k \rightarrow k$-:-$\check{c}$, начатая как фонетический процесс $\frac{k>\check{c}}{i,e}$, породивший позиционные аллофоны $k//\check{c}$, становится фонологической в результате действия нового фонетического закона $\frac{\bar{e}>\bar{a}}{\check{c}}$,

отменившего старший закон. Появилась позиция различения прежних аллофонов $\frac{k:č}{a}$, они стали самостоятельными фонемами.

Дивергенция $k \rightarrow k$-:-$č$ оказалась тесно связанной с конвергенцией $\bar{a} \times \bar{e} \rightarrow \bar{a}$, ср. русск. *крика — кричать* (*kričati* < *krīkēti*). В истории восточнославянских языков дальнейший процесс фонологизации новой оппозиции ($k : č$) связан с конвергенцией $č_1 \times tj \rightarrow č$, ср. русск. *свет — свеча*.

Третий тип звуковых изменений — м о р ф о н о л о г и з а ц и я. Если первый тип изменений не зависит от слов и форм, а лишь от фонетических позиций, а второй освобождает прежние аллофоны от позиционной зависимости, то третий усиливает влияние слов и форм на функционирование фонемы, что и подводилось младограмматиками под действие аналогии. Аналогии могут подвергаться лишь самостоятельные фонемы, а не аллофоны, не позиционные вариации. Это — продолжение процесса фонологизации, а потому и необходимого увеличения числа исключений из прежнего фонетического закона. Морфонологизация *х* как форманта местн. мн. (*женахъ*, *селахъ*) стала возможна лишь после появления фонетическим путем таких форм, как *костѣхъ*, *рабѣхъ*, *сынъхъ*, как продолжение фонологизации новой оппозиции ($s : x$), ср. русск. *о нас*, *о селах* и т. п.

Однако «проблема исторических изменений состоит не только в выяснении того, как появился тот или иной элемент фонетической системы, но и в том, каким образом он становится фактом языковой традиции, в каких функциональных, культурных условиях происходит этот процесс» [18]. Это и есть четвертый тип звуковых изменений, их социализация. В самом деле, языковые инновации могут быть приняты либо отвергнуты языковым коллективом. Это он отбирает из нескольких вариантов возможного произношения того или иного слова наиболее подходящий, наиболее престижный. Атлас Жильерона показал, что каждое слово имеет свою географию и историю [17]. У. Лабов [19] убедительно доказал, что звуковые изменения идут из более престижной языковой группы в менее престижную от слова к слову... Это — социализация, здесь действуют законы социолингвистики. Для каждого типа звуковых изменений должен быть свой ключ. Ключ фонетических законов существует для первого типа звуковых изменений и не может открывать все двери. Фактический материал лингвистической географии и социолингвистики не может опровергать постулат непреложности фонетических законов. Процесс отвердения прежнего мягкого /r'/ в позиции перед задненебным в современном русском языке не является фонетическим законом, он идет от слова к слову, от одной социальной группы к другой, ср. *церьковь*, но *церковник*, *зеркало*, но реже, устар. *зерькало*. Выбор мягкого или твердого варианта отдельного слова стал возможным благодаря принципиальной допустимости сочетаний /r'k/ ~ /rk/, ср. *горка — горько*. Это — сильная позиция для фонологической оппозиции ($r' : r$).

7. Что касается целостной научной концепции, поставившей своей целью з а в е р ш е н и е п а р а д и г м ы Я к о б с о н а — М а р т и н е, то ее главным героем становится не фонема или не дифференциальный признак, не оппозиция или корреляция, а наконец-то вся ф о н о л о г и ч е с к а я с и с т е м а в целом.

Синтез классической пражской концепции с ее вниманием к оппозициям и корреляциям и московской с ее ведущим понятием позиции как основным системообразующим фактором выдвигает во главу угла интегрирующие факторы, и н т е г р и р у ю щ и е свойства системы. Это она, интеграция, создает, формирует и движет фонологическую систему. Только теперь становится понятным положение Яковлева и Реформатского [15, с. 245] о важности «и н т е г р а л о в» в фонологической системе. Для системы и ее элементов важна не только дифференцирующая функция («различительная способность»), но и интегрирующая, обусловливающая ее внутреннюю целостность и взаимосвязь элементов, ее составляющих. Выявляя системообразующие факторы, можно заметить, что сами фонемы

выступают не только в роли пассивных элементов, лишь поджидающих, чтобы нечто их дифференцировало и связывало, но и сами они, фонемы, имеют интегрирующую функцию, «сшивая» отдельные оппозиции и корреляции в целостные пучки и блоки.

Мощным системообразующим фактором оказалась нейтрализация [20] фонологических оппозиций. Это она интегрирует, связывает фонемы и оппозиции, позиции и корреляции в нечто целое. Аккомодации и коартикуляции, да и сами нейтрализации, из деструктивного фактора, как это считалось раньше, из фактора, нарушающего и ослабляющего смыслоразличительную (дифференциальную) силу, превращаются в фактор интеграции, связи фонологической системы в единое целое. Проигрыш в дифференциации (смыслоразличительной силе) компенсируется выигрышем интеграции, связанности, целостности системы.

До сих пор лингвисты занимались звуковыми, фонетическими, фонологическими и з м е н е н и я м и, в центре внимания была проблема и з м е н ч и в о с т и. Теперь, в связи с выдвижением во главу угла интеграции и системообразующих факторов, внимание исследователя как бы само собой переносится с изменчивости на у с т о й ч и в о с т ь, на диалектику самосохранения и самодвижения. Да и сами движущие стимулы такого самодвижения становятся самоочевидными, вполне ощутимыми.

Естественно, наиболее устойчива та фонологическая система, тот ее отдельный блок, которые лучше, сильнее интегрированы всей мощью системообразующих факторов. Наиболее вероятно изменение там, где интегрирующие связи слабее. Наиболее вероятно такое изменение, которое будет способствовать усилению интеграции системы. Прослеживая последовательную цепь системообразующих связей и выявляя ее внутренние противоречия, можно определять наиболее слабое звено, предсказывать наиболее вероятные пути разрешения внутренних противоречий, заключенных в системе.

До сих пор в обобщающих работах по диахронической фонологии давалась типология корреляций, обсуждался инвентарь универсальных дифференциальных признаков. Теперь на передний план выдвигается т и п о л о г и я н е й т р а л и з а ц и й. Сущность нейтрализации фонологической оппозиции выражается формулой:

$$\frac{a:b}{P_r} \leftrightarrow \frac{c}{P_n} \qquad (5)$$

Оппозиция двух фонем (a : b), различающихся в позиции релевантности (P_r), снимается в позиции нейтрализации (P_n), где на месте обоих членов выступает нечто третье (c). В наиболее общем виде правила нейтрализации предельно просты: фонологическая оппозиция может нейтрализоваться рядом с членом (в первую очередь маркированным) той же или родственной оппозиции, либо корреляции ассимилятивно или диссимилятивно, регрессивно либо прогрессивно.

На месте непредсказуемых ассимиляций и диссимиляций, аккомодаций и коартикуляций встают строго определенные нейтрализации, детерминируемые д а н н о й фонологической системой д а н н о г о языка в его настоящем, будущем и прошлом состоянии.

Нейтрализация наиболее характерна для центра фонологической системы. Так, фонемы /t/, /d/, /t'/, /d'/ и т. д., безусловно, являются центральными в русской системе консонантизма. Оппозиции ($t : t'$), ($t : d$) и др. нейтрализуются, нейтрализуются и корреляции (мягкости и звонкости), в которые входят эти оппозиции. Через механизм нейтрализации центр управляет периферией системы, усиливает интеграционные связи периферийных фонем, диктуя порождение аллофонов, способных создать потенциальные оппозиции, заполнить «пустую клетку».

Механизм нейтрализации преодолевает непроходимую грань между автономными княжествами «vocalismus» и «consonantismus», вскрывая родство между вокалическими и консонантными оппозициями. Нередко вокалическая оппозиция (передний — задний ряд, лабиализация) ней-

трализуется рядом с членом родственной консонантной корреляции (мягкость, лабиальность, лабиовелярность) и наоборот.

Нейтрализация связывает парадигматику и синтагматику через позиционное (синтагматическое) снятие парадигматического противопоставления и определяет характер позиций варьирования аллофонов, вызывая к жизни тот или иной фонетический закон как способ создания потенциальных фонологических оппозиций.

Именно через механизм нейтрализации осуществляется качественная и количественная мена фонологических позиций, изменяется сила фонологических оппозиций (F_o) и нейтрализаций (F_n). Через изменение соотношений числа позиций релевантности (дифференциации, d) и нейтрализации (n) осуществляется переход количественных отношений в качественные, формально:

$$E_o = k\frac{d}{n}\ (6); \quad F_n = q\frac{n}{d} \qquad (7)$$

Сила фонологической оппозиции прямо пропорциональна числу позиций дифференциации и обратно пропорциональна числу позиций нейтрализации. Сила нейтрализации — наоборот. Чем больше коррелятивных пар (k), тем сильнее оппозиция, чем больше нейтрализующихся пар (q), тем сильнее нейтрализация. Изменение соотношений ($d \sim n$) усиливает либо ослабляет данную фонологическую оппозицию. Исчезновение последней позиции дифференциации ($d = 0$) означает исчезновение фонологической оппозиции, ее дефонологизацию, т. е. конвергенцию фонем. Появление хотя бы одной позиции дифференциации ($d = 1$) означает превращение потенциальной оппозиции в реальную, ее фонологизацию, превращение прежних аллофонов одной фонемы в фонемы самостоятельные, т. е. дивергенцию, расщепление фонем. История фонологических позиций становится историей фонологической системы.

Так, через механизм нейтрализации осуществляется конвергентно-дивергентный процесс, фонологизация и дефонологизация фонологических оппозиций как способ отмены фонологических законов. Нейтрализация связывает синхронию и диахронию, снимая известную антиномию Соссюра. Фонологическая нейтрализация выступает в качестве своеобразного ядра противоречий фонологической системы: 1) оппозиция есть (в позиции дифференциации) и ее нет (в позиции нейтрализации); 2) синхронная нейтрализация, оставаясь в синхронии, повернута на диахронию, на конвергенцию либо дивергенцию в прошлом или будущем.

Нейтрализация, став «краеугольным камнем» не только фонологии синхронической, но и диахронической, способствует синтезу пражской общей (Трубецкой) и исторической (Якобсон) фонологии, классической пражской и московской фонологической концепции, традиционной исторической фонетики и фонологии. Это и позволяет включить в целостную концепцию диахронической фонологии постулат непреложности фонетических законов и основанные на нем относительную хронологию, а также конвергентно-дивергентную теорию Е. Д. Поливанова.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии (1939). М., 1960.
2. *Troubetzkoy N. S.* Essai sur la chronologie de certains faits phonétiques du slave commun.— RÉS, 1922, 2.
3. *Jakobson R.* Prinzipien der historischen Phonologie.— TCLP, 1931, IV.
4. *Jakobson R.* Remarques zur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves.— TCLP, 1929, II.
5. *Поливанов Е. Д.* Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
6. [*Шахматов А. А.* Критический отзыв]: *Jan Gebauer.* Historická mluvnice jazyka ceského. Praha — Viden, 1894.— В сб. ОРЯз, т. LXVI. СПб., 1900.
7. *Haudricourt A., Juilland A.*— Essai pour une histoire structurale du phonétisme français. Paris, 1949.
8. *Martinet A.* Économie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Berne, 1955.= (*Мартине А.* Принцип экономии в фонетических изменениях М., 1960).

9. *Стеблин-Каменский М. И.* К теории звуковых изменений.— ВЯ, 2, 1966, с. 74.
10. *Wartburg W. von.* Problems and methods in linguistics. Oxford, 1969, p. 49.
11. *Jakobson R., Fant G., Halle M.* Preliminaries to speech analysis.— Technical report of the Acoustics laboratory, 13. Massachusetts, 1952.
12. *Vachek J.* Dynamika fonologického systemu současné spisovné češtiny. Praha, 1968.
13. *Стеблин-Каменский М. И.* Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков. Л., 1966.
14. *Ivić P.* Roman Jakobson and the growth of phonology.— Linguistics, 1965, 18.
15. *Реформатский А. А.* Из истории отечественной фонологии. М., 1970, с. 119.
16. *Makaev E. A.* De la neutralisation des oppositions...— In: La notion de neutralisation dans la morphologie et la lexique.— TIL, v. 2. Paris, 1958.
17. *Gilliéron J., Roques M. Mirages phonétiques.*— Étude de geographie linguistique. Paris, 1912.
18. *Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования. М., 1979, с. 162.
19. *Лабов У.* О механизме языковых изменений.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. VII. М., 1975.
20. Теория нейтрализации. Отв. ред. Руделев В. Г. Тамбов, 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ШАБЕС В. Я.

О ПРОЕКЦИИ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ НА ПЛАН ВЫРАЖЕНИЯ

1. Цельнооформленность означающего лингвистического знака до недавнего времени служила основным критерием при определении его синтагматических границ. Однако зависимость границ знака от сравнительно произвольных правил правописания, определение предложения как речевого знака, означаемым которого служит единичное событие [1, с. 308], или как «надзнака» [2, с. 35] ставит задачу поиска некоторых общих содержательных критериев для установления синтагматических границ единичных знаков разного уровня.

Преодоление «магии» формы выражения, выработка способов проекции содержательных единиц на план выражения [3, с. 13] наталкиваются на следующие трудности: 1) отсутствуют критерии автономного (не через форму выражения) выделения хотя бы основных содержательных единиц; 2) принципиально невозможно уйти от их фиксации в некоторой естественной или искусственной знаковой системе при лингвистическом описании.

Поиск лингвистических семантических определений основных содержательных единиц не дает положительных результатов: как правило, ведущим является формальный критерий (значение морфологическое, лексическое, синтаксическое, фразеологическое; значение словосочетания, предложения, высказывания и др.)[1].

Отдельные области гуманитарной науки (лингвистика, логика, психология и др.) имеют собственный уровень исследования объекта и исследовательский аппарат. В то же время единый, общий объект исследования предполагает нечеткость границ между данными областями, их «взаимоналожение».

С развитием семасиологии, психолингвистики, кибернетической лингвистики выход за традиционные рамки собственно лингвистики перестает быть чем-то экстраординарным. Представляется, что корректное использование обобщенных данных смежных с лингвистикой областей является продуктивным и оправданным.

2. В теоретических и экспериментальных работах по психологии отмечается тот факт, что в онтогенезе речи у ребенка исходной семантической (и семиотической) единицей является не значение слова или морфемы, а предложение и отражаемая референтная ситуация [5, с. 14]. Л. С. Выготский писал: «В развитии семантической стороны речи ребенок начинает с предложения и только позже переходит к овладению частными смысловыми единицами, значениями отдельных слов, расчленяя свою слитную, выраженную в однословном предложении мысль на ряд отдельных, связанных между собой словесных значений... Смысловая сторона речи идет в своем развитии от целого к части...» [6, с. 270].

В последнее время стремление опереться на некоторый более универсальный фундамент, лежащий за пределами лингвистики, приобрело ярко выраженный характер, особенно в области семантического синтаксиса, семиотики и теории текста. В. Г. Гак подчеркивает: «Полный знак: за-

[1] В. Г. Гак определил высказывание как «функциональную единицу, равновеликую предложению, но отличающуюся от последнего тем, что анализ этой единицы преследует цель не вскрыть ее общую абстрактную схему синтаксической организации, но показать, как она связана с ситуацией, какими средствами и как эта последняя описывается» [4, с. 352]. Другими словами, В. Г. Гак устанавливает здесь соответствие между ситуацией и означаемым предложения.

конченный продукт семиозиса, непосредственно соотносится с ситуацией (то есть обладает предикативностью), однозначен, референт полного знака объективен по отношению к данной знаковой системе» [7, с. 15]. Ч. Филлмор в одной из своих работ, посвященной проблеме глубинных падежей, провозглашает лозунг: «Значения обусловливаются ситуациями» [8, с. 497].

Что же такое ситуация? В. Г. Гак определяет ее как «отрезок, часть отражаемой в языке действительности, т. е. движущейся материи. В объективной реальности человеческое сознание выделяет прежде всего устойчивые элементы — материальные объекты-субстанции... Ситуация образуется в результате координации материальных объектов и их состояний. Существуют две общих формы такой координации: пространство и время» [4, с. 359].

Ч. Филлмор не дает определения ситуации и, оставаясь в рамках предложения, ограничивается анализом события, в котором фигурирует покупатель, продавец, деньги и товары, причем «... событие-прототип включает все эти элементы, но любое отдельное предложение, которое мы строим, когда описываем подобное событие, заставляет нас выбрать одну конкретную точку зрения на это событие (конкретную перспективу)... Например, если я хочу остановиться на перспективе продавца и товаров, я употребляю глагол *sell* „продавать“» [8, с. 518—519].

Можно ли считать, что означаемое предложения и событие (ситуация) находятся в одно-однозначном соответствии? Или событие содержательно всегда богаче означаемого предложения, о чем, по-видимому, должен свидетельствовать пример Ч. Филлмора?

Анализ публикаций зарубежных авторов (см. обзор в [9]) показывает, что событие, как правило, определяют формально-логически, через понятие изменения, которое, в свою очередь, включает понятие отрицания [9, с. 324]. Что касается исследований в области когнитивной психологии (см. обзор в [10]), то, по мнению Б. М. Величковского, «хотя различные события могут быть классифицированы, ... это практически белое пятно в исследованиях когнитивной психологии, посвященных преимущественно запоминанию списков слов и категориальной организации памяти» [10, с. 199].

3. При определении события представляется продуктивным обращение к категориальному аппарату диалектического материализма (см. определение ситуации у В. Г. Гака). Поскольку речь здесь должна идти об о т р а ж е н и и явления реального мира в нашем сознании (и языке) в виде некоторых содержательных единиц, а философские категории, по Марксу, «это — существенное, типическое во всем многообразии содержания» [12], с о б ы т и е на абстрактном уровне может рассматриваться как единство категориальных содержательных признаков. Как известно, к числу основных категорий диалектического материализма относятся материя, движение, время, пространство, качество и количество, причинность, необходимость и случайность и др. При этом между указанными категориями существуют сложные связи. Представляется правомерным рассматривать событие (в рамках системы отражения) как частный случай отражения в сознании одной из форм движения материи [ср. 13].

Под «деятелем» будем понимать отражение в сознании некоторого дискретного единичного или множественного объекта материального мира, изменяющегося в пространстве и/или времени [2].

Под «действием» понимается определенное изменение «деятеля» в пространстве и/или времени в зависимости от формы движения материи. Отсюда: под событием понимается отображенное в сознании единичное конкретное или обобщенное явление объективного мира, основными содержательными признаками которого являются «деятель» и «действие», рассматриваемые как двуединство.

Неразрывная диалектическая связь материи и движения с пространством и временем, качеством и количеством и другими категориями позво-

[2] На абстрактном уровне в понятие «деятель» включаются «агенс», «пациенс», «инструмент» и др.

ляет рассматривать событие как отдельную синтетическую единицу отражения со сложной многомерной структурой, ядром которой является двуединство признаков «деятель — действие» [ср. 6, с. 313].

Как известно, устойчивость (статика) по отношению к движению рассматривается в философии как категория, имеющая подчиненное, производное значение [13, с. 281], и может считаться одним из проявлений категории движения. Поэтому отражение в сознании статического состояния (положения) материального объекта (объектов) в пространстве в течение определенного интервала времени можно рассматривать как частный случай события. К числу статических событий можно отнести, например, отражение в сознании фиксированного положения в трехмерном пространстве одного или более материальных объектов, ориентированных относительно позиции наблюдателя или друг друга. С т а т и ч е с к о е событие связано причинно-следственными связями с ближайшими д и н а м и ч е с к и м и событиями в диахронной последовательности. Следует специально отметить то особое место, которое занимают в структуре события категориальные признаки «причина», «цель», «результат», «следствие», «условие», устанавливающие логическую взаимосвязь между двумя и более простыми событиями, упорядоченными во времени, и формирующие сложное событие нового уровня, которое мы будем именовать «ситуацией».

4. В отличие от события, под ситуацией понимается некоторое множество дискретных событий одного м а с ш т а б а, упорядоченных во времени и соотнесенных причинно-следственными связями. Как событие, так и ситуация имеют многомерную структуру. Одним из измерений (координат) события и ситуации является категория времени, что позволяет рассматривать эти единицы и как многомерные (деятель, действие, место, качество, количество, направление и т. д.), и как линейные (время, причина, следствие). В зависимости от степени дискретизации нашим сознанием одного и того же явления объективной действительности во временном континууме оно может рассматриваться и как событие, и как ситуация. В единичном событии данного масштаба (во времени), рассматриваемом как двуединство признаков «деятель — действие», может обобщаться некоторая последовательность более частных событий, причем каждое из них имеет собственный интервал времени в рамках данного общего интервала и, в свою очередь, может быть представлено в виде серии еще более дискретных событий. Приведем пример, показывающий иерархическое отношение «событие» — «ситуация». Событие *Он участвовал в Великой Отечественной войне* может быть представлено в виде упорядоченной во времени последовательности более дискретных событий, связанных причинно-следственными зависимостями. Такую последовательность в данном временном масштабе следует уже рассматривать как ситуацию (ср.: *Воевал под Москвой, участвовал в освобождении Харькова и Варшавы*). Каждое из отдельных событий данного уровня может быть представлено в виде более дискретной ситуации (вплоть до *он задержал дыхание и нажал на спусковой крючок*). Следует предположить, что при последовательном переходе от событий к ситуациям существует некоторый предельный масштаб. События этого уровня могут рассматриваться как элементарные; они не могут быть далее развернуты в ситуацию (ср.: *Она повернула голову, Дом стоит*) [11, 168—169].

5. Для конкретного лингвистического исследования соотношения события и формы его выражения в речи необходимо попытаться отыскать такой объективный прием, который позволил бы перейти от максимально обобщенной категориальной модели события к более частным и конкретным моделям с определением их содержательных границ. Путь от текста к смыслу приводит к расчленению цельных содержательных единиц типа событий; при таком пути в полной мере реализуется «магия» формы выражения, задающая языковую, идиоэтническую дискретизацию формы содержания.

Интерес к обратному пути исследования проявил уже Гумбольдт: «Так как назначение языка — служить выражением идей, то сравнение его с

идеальной областью, по-видимому, надобно бы начинать с понятий и от них переходить к словам..., выставив чисто-умственные категории, при первом покушении идти далее, замечаешь, что между самою ограниченною категорией и между понятием, как оно выражено формою слова, лежит непроходимая бездна» [14, с. 104].

6. Поиски экспериментального приема, позволяющего описать компонентный состав конкретного события и, тем самым, очертить его содержательные границы вне и до детерминирующих рамок связного текста, приводят нас к психолингвистическому эксперименту, представляющему уникальную возможность двигаться от содержания к форме, с последующим семасиологическим анализом его результатов.

В качестве примера приведем эксперимент с «торговым событием». Было интересно экспериментально определить, действительно ли такое событие содержит четыре компонента, выделяемые Ч. Филлмором, только ли эти компоненты, и какова вероятностная характеристика каждого компонента. Помимо этого, ставилась задача апробировать возможности экспериментальной методики для определения компонентного состава и содержательных границ события.

Эксперимент заключается в том, что испытуемым (52 студентам-филологам) предлагается записать предложение *Он купил это*, после чего дается следующая инструкция: «Вам необходимо детально выяснить, что произошло у предполагаемого собеседника. Поставьте письменно любое количество таких точных вопросов, ответы на которые давали бы вам полную картину происшедшего. Учтите, что вопросительные слова многозначны, особенно „как", поэтому вопросы должны быть развернутыми». Время эксперимента не ограничивалось.

В результате эксперимента мы получили 781 вопрос. Все вопросы были вынесены на картотеку; вопросы, совпадающие на уровне плана выражения, сразу суммировались на одной карточке с указанием частоты встреч.

Далее картотека была подвергнута содержательному анализу с целью компрессии очевидно синонимичных текстов-вопросов. Такие вопросы, как «сколько он заплатил?», «почем он это купил?», «за сколько рублей он это купил?», «во сколько это ему обошлось?», «сколько он на это потратил?» и др., получили общую частотную характеристику.

Данная компрессированная картотека послужила исходным материалом для семасиологического анализа. Целью анализа было выявление возможных содержательных классов вопросов, а, значит, и классификационных семантических признаков, с учетом вероятностных характеристик (частот) признаков для каждого из выделяемых классов. С целью объективизации семантической схемы задание на классификационную обработку картотеки получили также восемь информантов. Сопоставление результатов классификаций показало, что событие имеет многомерную семантическую структуру. Приведем некоторые данные. Цифра в скобках указывает вероятность данного признака (отношение числа вопросов, объединяемых данным признаком, к общему числу вопросов, которое принимается за сумму всех событий, т. е. 1). Четыре компонента, выделяемые Ч. Филлмором, были выявлены и в результате эксперимента. Их общая вероятностная характеристика составляет всего (0,39), в том числе: «покупатель» (0,08), «продавец» (0,03), «деньги» (0,07), «товар» (0,20). Кроме этих признаков, эксперимент показывает высокие вероятностные характеристики для «места» события (0,10), «времени» события (0,12), «причинности» (0,13), «технологии» (способ, этапы и предметные условия реализации события) (0,16), эмотивно-оценочного компонента (0,04) и др. (0,01). Данная «грубая» многомерная структура не является единственной. То же множество вопросов отображает и динамику событий во времени. Оказалось, что имеется определенное количество вопросов, соотносимых с предшествующими либо последующими событиями, непосредственно связанными с данным. Другими словами, анализ вопросов показал набор признаков, отражающий как внутреннюю структуру события, так и его внешние ассоциативные связи, или эндо- и экзоструктуру события.

7. Однако одновременно возникла и новая проблема: каков же реальный содержательный объем события во времени? Можно ли с уверенностью ограничить начало события, например, моментом появления покупателя в магазине (на рынке) или моментом передачи денег продавцу (кассиру)?

Суть проведенного нами дополнительного психолингвистического эксперимента состоит в том, что испытуемым предлагается «хроника торгового события», выраженная упорядоченной последовательностью предложений, обозначающих ситуацию «торгового события», т. е. последовательность событий меньшей размерности во времени, входящих в объем «торгового события». (Например: *Покупатель просит показать ему шапку. Продавец берет шапку. Продавец протягивает шапку покупателю. Покупатель берет шапку...* и т. д. Такая «хроника» была построена для «торгового события» «Приобретение шапки в универмаге»). Главной особенностью «хроники» является то, что изложение начинается с момента, явно и значительно предшествующего собственно «торговому событию», и завершается моментом использования покупки по назначению. «Хроника» содержит 30 предложений. Все предложения пронумерованы.

В задачу испытуемых (98 чел.) входило: а) прослушать описание «торгового события»; б) письменно указать при повторном чтении описания (с указанием номеров предложений) те номера, которые обозначают, по их мнению, начало и завершение торгового события. Обработка данных состояла в определении количества встреч того или иного номера предложения «хроники» в качестве «начала» либо «конца» события. Простейшим показателем нечеткости границ события является количество р а з н ы х номеров предложений, отмеченных информантами в качестве «начала» либо «конца» события (для более точных вычислений необходимо, по-видимому, учитывать степень равномерности распределения частот).

Результаты эксперимента кратко можно сформулировать следующим образом:

1) поскольку границы «торгового события» оказались дисперсными (нечеткими множествами), то и само событие выступает в качестве нечеткого множества; данный результат позволяет усомниться в правомерности одностороннего увлечения некоторых исследователей формально-логическим анализом;

2) «степень нечеткости», грубо определяемая количеством разных номеров, отмеченных информантами в качестве «начала» либо «конца» события, показывает примерно вдвое большую степень «размытости» «начала» данного события по сравнению с «концом» [3];

3) операции по «сгущению» нечетких множеств позволяют схематически определить логико-семантические рамки анализируемого события моментами объединения и разъединения в «пространстве» и «времени» «покупателя», «продавца», «денег» и «товара» [15].

8. Полученные данные позволили вернуться к дальнейшей обработке результатов основного эксперимента. Оказалось, что вопросы, вписывающиеся в рамки эндоструктуры данного события, имеют вероятность (0,69), экзоструктуры — соответственно — (0,31), причем вопросы по предшествующим событиям — (0,11), а по последующим — (0,20) [4].

Полученные частные значения для признаков «время», «причинность» и «эмотивность» таковы:

1) время (0,12); в том числе момент покупки (точка) — (0,07), продолжительность торгового события — (0,03), продолжительность предшествующих событий (с момента возникновения желания приобрести, с начала поисков нужной вещи, с начала продажи этого товара и др.) — (0,015), продолжительность последующих событий — (0,005);

[3] Сознавая, что в исходной «хронике» невозможно было добиться совершенно равномерного «шага» дискретизации события, мы сочли возможным при анализе вероятностных характеристик исключить из рассмотрения «шаги» с нулевой вероятностью и немногочисленные «шаги» с вероятностью ниже 0,03.

[4] Отметим, что результаты трех экспериментов с другими подобными событиями, описание которых не входит в задачи данной статьи, показывают примерно такое же соотношение ретро- и проспективных экзоструктурных связей — 1 : 2.

2) причинность — (0,18), в том числе причина события (связь с предшествующими событиями) — (0,06), цель события (связь с последующими событиями) — (0,12);

3) эмотивно-оценочный компонент — (0,04), в том числе эмоций до начала события (0,005), эмоций в процессе покупки — (0,005), оценка эмоционального состояния покупателя после покупки — (0,03).

Аналогичные эксперименты, в которых принимало участие до 92 испытуемых, были проведены с использованием других стимулов, в частности, «это произошло», «он ее обидел», «он засмеялся», «дом стоит», «они уснули», «ветрено», «он купил новую кроличью зимнюю шапку коричневого цвета, пушистую и красивую, 57 размера» [5] и др.

Полученные данные свидетельствуют о принципиальной возможности построения вероятностно-семантической модели некоторого частного события на базе психолингвистического эксперимента с использованием вопросов (содержащих, наряду с категориальными, и более конкретные семантические признаки) вне и до развернутого высказывания. Вероятностные характеристики позволяют оценить степень обязательности вхождения того или иного признака в состав модели конкретного типа события; многие неядерные признаки разных событий имеют либо достаточно высокую, либо нулевую вероятность.

Анализ данных показывает также, что структурированный набор содержательных признаков вместе с их вероятностными характеристиками, по-видимому, представляет собой экстралингвистическую семантическую модель, соотносимую с областью так называемой «семантики отражения». Об этом свидетельствует и нулевая вероятность вопросов типа *искал ли он магазин*, *где товары продаются по низким* (*высоким*) *ценам*?, *ждал ли он распродажи*?, *торговался ли он в магазине*? (эксперимент «торговое событие»), вполне допустимых и вероятных в иной социальной среде.

9. Обозначение единичного события предложением на ранних стадиях семиотического онтогенеза позволяет ребенку вычленить событие из нерелевантного информационного «фона». Членимость (членораздельность) предложения (и речи в целом) создает предпосылки к первичной дискретизации отражаемой ребенком синкретичной ситуации и перехода к классам и категориям. Понятно, что этот процесс предполагает обозначение различных, но сходных отображаемых событий различными, но сходными означающими — предложениями. «Овладение языком ускоряет процесс образования классов и рано или поздно способствует передаче коллективно выработанных классификаций» [16, с. 13].

Второй основной содержательной единицей (по времени формирования в семиотическом онтогенезе) является концепт. Под концептом понимается дискретный элемент отображаемого события (предмет, действие, качество, количество — интенсивность, время, пространство и др.), как десигнативного, так и денотативного уровня. Поскольку формирование концепта предполагает отвлечение некоторого набора признаков из события (ряда сходных событий), теоретически даже максимально конкретный концепт находится уже на более высоком уровне обобщения, чем отражаемое референтное событие. Следует отметить, что концепт сохраняет связи с исходными событиями, о чем свидетельствуют, в частности, функциональные признаки предметного концепта и предметные признаки концепта-действия (ср. *птица* и *летать*).

В психологии терминами «ощущение», «восприятие», «представление» и «понятие» обычно обозначаются как единицы, так и уровни отражения. При этом на разных уровнях анализируются, как правило, концептуальные, а не событийные единицы. Можно ли говорить о том, что событие, как и концепт, может рассматриваться на различных уровнях обобщения в системе отражения? На данный вопрос, по нашему мнению, следует дать утвердительный ответ. Другими словами, мы полагаем, что отражаемые

[5] С введением в стимул развернутой номинации «товара» его вероятностная характеристика в эндоструктуре падает в три раза. В то же время происходит увеличение вероятностей компонентов экзоструктуры. Однако данная тема нуждается в специальном обсуждении.

референтные события не только служат «исходным материалом» для формирования системы концептов, но и сами обобщаются, типизируются на базе последних до уровня логико-семантических структур, позволяющих различать, в частности, реальные/нереальные (ложные, фантастические и т. п.) события и ситуации, например, в высказываниях, мультипликационных фильмах и т. п. При таком подходе появляется возможность рассматривать не только концепт, но и событие на различных уровнях системы отражения, от конкретного, чувственно воспринимаемого события до абстрактного (понятийного) «нечто происходит».

10. Кратко изложив возможную семантическую интерпретацию основных единиц отражения, рассмотрим теперь возможные способы проекции концепта и события (с учетом уровня обобщения) на план выражения, обращая внимание на зависимость между типом содержательной единицы и лингвистическими характеристиками ее означающего. Для решения данной задачи следовало отыскать корректный исследовательский прием, обеспечивающий объективность и надежность получаемых данных при реализации стратегии «от содержания к форме». Поиски такого приема вновь привели нас к психолингвистическому эксперименту, основанному на вербализации некоторого, единого для всех участников эксперимента, содержательного объекта (концепта, события). Испытуемым, взрослым носителям русского языка, студентам-филологам в количестве 73 человек было предложено дать (письменно) максимально точное и полное фактографическое описание: а) одного и того же чувственно воспринимаемого статичного референта (словесный портрет женского лица); б) стандартного общеизвестного процесса (приготовление простейшего блюда). Лимит времени не вводился. Эксперимент проводился в несколько этапов. В конце каждого этапа мы просили испытуемых указать трудности, с которыми они столкнулись, выполняя то или иное задание, а также озаглавить, если это возможно, отдельные части (абзацы, фрагменты) созданных ими описаний. Кроме того, для предварительного анализа возможности сопоставления вероятностно-семантической модели события с письменным высказыванием был проведен дополнительный эксперимент, в котором приняли участие 36 информантов, ранее к экспериментам не привлекавшихся. Им было дано следующее простое задание, допускающее большую вариативность результатов: «Опишите любое торговое событие, в котором вы выступили бы в качестве покупателя».

11. При планировании эксперимента со знаком-концептом мы исходили из следующих предпосылок: 1) единый материальный объект (референт) внешнего мира, данный в ощущениях, обеспечивает максимальное сходство концептов-денотатов в системах отражения испытуемых; предварительное определение концепта-десигната «лицо» показало, что на обобщенном уровне все испытуемые дают весьма сходные дефиниции; 2) сходство (эквивалентность) концептов-денотатов позволяет считать все получаемые описания синонимичными фракционными знаками, выделенными по общему отраженному референту, т. е. содержательному критерию, вне зависимости от синтагматической длины их означающего; 3) полученные описания возможно подвергнуть лингвистическому анализу с целью поиска инвариантных и варьирующих структур и элементов.

При обработке материалов эксперимента оказалось, что средняя длина означающего (в словоформах) — 63,3. 82% описаний содержат от 30 до 60 словоформ. Для установления закономерностей логико-семантической структуры данного текста [17, с. 32—42] мы обозначили существительные-означающие частей целого (лица) номерами и закодировали тексты таким образом, чтобы оценить синтагматический п о р я д о к перечисления качественных характеристик. Оказалось, что 85% анкет содержит в начале описания общую характеристику формы всего описываемого объекта. Существует также слабая тенденция к описанию «сверху вниз» (лоб — брови — глаза — нос и т. п.) — 17%, которой при общем анализе можно пренебречь.

В связи с тем, что среди полученных цепочек кодов мы не нашли ни одной сходной пары с точки зрения порядка перечисления признаков,

можно утверждать, что общим свойством подобных означающих является произвольный (нестрогий) порядок. Это и понятно: как правило, признаки здесь не требуют упорядочения во времени и пространстве.

Анализ синтаксической структуры фракционных означающих показал, что количество предложений, судя по формальным сигналам (точка, точка с запятой) в двух приблизительно равных по количеству словоупотреблений текстах, может варьировать в очень значительных пределах: от текста, содержащего формально одно сложносочиненное предложение, до текста из 30—40 предложений. Ср.: *Лицо круглое, глаза серые, ресницы не очень длинные, но довольно густые и темные, рот маленький, верхняя губа тоньше нижней, нижняя как бы слегка припухла, губы неяркие* и т. п. и *Лицо круглое. Лоб большой, в форме трапеции. Нос курносый. Глаза голубые. Брови густые* и т. п.

Однако в большинстве случаев (72%) описания содержат серии «существительное + прилагательное» с опущенным глаголом-связкой, сгруппированные по принципу связанности «по смежности» (например, описание в рамках предложения области «глаза — веки — ресницы — брови»). Тот же принцип, судя по «заглавиям» частей текста, данным испытуемыми, лежит и в основе выделения абзацев.

Общая структура описания данного концепта денотативного уровня несколько напоминает структуру дефиниции концепта-десигната. Сходство заключается в том, что в обоих случаях перечисляются признаки differentia specifica. Различие же состоит в том, что в дефиниции, как правило, указывается genus proximum, а в описании концепта-денотата сохраняется имя вида. При переходе от десигнативного к денотативному уровню при описании концепта «лицо» единичное имя вида разворачивается в означающее — текст, который может состоять из нескольких предложений.

Анализ описаний показывает, что все полученные тексты — означающие денотата — являются отображением на план выражения категории качества (вопрос: какой?) и переходящих в нее категорий количества (вопросы: какой величины?, какого размера?) и пространства (вопросы: где?, в каком месте?, на каком расстоянии?). В общем виде целый текст такого типа, как и единичное прилагательное, отвечает на вопрос «какой»?».

Полученные фракционные означающие обладают разной длиной, различаются и на семантическом уровне по количеству-качеству вербализуемых семантических признаков или, обобщенно говоря, глубиной описания. Тем не менее все фракционные знаки, по-видимому, могут рассматриваться как семантические эквиваленты разной степени денотативности. Чрезвычайно различающиеся характеристики количества предложений и, соответственно, длины отдельных предложений в описаниях разных авторов позволяют предположить, что для подобных текстов, в которых связь элементов в единое целое осуществляется по общему концепту-денотату и в которых отсутствуют формальные средства когезии, само понятие «предложение» становится не абсолютным, а относительным, при абсолютном характере целого описания.

Отметим, что рассматриваемые сложные означающие концептов-денотатов, даже «рассыпанные» по частям в синтагматической перспективе «большого» текста (например, литературного произведения), легко интегрируются приемником информации в «текстовый» знак со сравнительно четкими границами (с точки зрения отнесенности к данному концепту-денотату).

Если рассматривать данные «текстовые» знаки в процессе их порождения, оказывается, что речевая деятельность на семантическом уровне предполагает здесь не столько процесс синтеза некоторой пропозиции, сколько процесс анализа нелинейного содержательного объекта средствами языка, своеобразное «сканирование» объекта. Понятно, что обратный процесс (слушание, чтение) предполагает синтез многомерного содержательного объекта-денотата из линейной последовательности-текста с использованием лингвистического и экстралингвистического опыта получа-

етля информации. По сути дела слушатель должен осуществить путь «от суммы концептов-десигнатов к единичному концепту-денотату», обратный пути онтогенеза десигнатов.

12. Эксперимент по описанию стандартного общеизвестного процесса (событие *я жарю яичницу*) дал следующие результаты: описания содержат от 84 до 206 словоформ в зависимости от степени дискретизации события в ситуации, т. е. длина текста варьирует в пределах 2,5. Средняя длина предложения — 8,8 словоформ. Наибольшая средняя длина предложения — 15,3, наименьшая — 3,3 словоформ. Таким образом , средняя длина предложения у разных авторов варьирует в пределах 4,5. 50% текстов насчитывают от 130 до 150 словоформ. Средняя длина текста — 136,2 словоформ.

Анализ описаний показал, что простые события имеют сравнительно строгий временной порядок следования в ситуации и, соответственно, в тексте: этот факт был предсказуем теоретически. Наибольший интерес представляет факт использования испытуемыми различных масштабов дискретизации ситуации (ср. [11, с. 109]). Покажем это, сопоставив два примера. В одном описании говорится: *Зажигаю газ.* В другом: *Достаю коробок спичек из ящика кухонного стола. Перекладываю его из правой руки в левую. Большим пальцем левой руки выдвигаю внутреннюю часть коробка, а указательным и большим пальцами правой руки достаю одну спичку и перекладываю, если это необходимо, ее таким образом, чтобы головка спички не была зажата пальцами. Чиркаю спичкой о боковую поверхность коробки. Если спичка не зажглась или сломалась, выбрасываю ее в спичечницу, беру новую и повторяю предыдущие действия. Спичка зажглась...* и т. д.

По сути дела, предложение *Зажигаю газ* является означающим события, содержательно эквивалентного ситуации, означающим которой является целый текст. Признание за предложением статуса знаковой единицы необходимо ведет к признанию аналогичного статуса и за содержательно эквивалентным этому предложению текстом. Можно предположить, что знаковые границы текста-ситуации задаются содержательным объемом соответствующего обобщающего события. Материал показывает также, что количество предложений в двух равных (по степени дискретизации события) текстах варьирует в значительных пределах, что вновь убеждает нас в том, что предложение является не абсолютной, а относительной знаковой единицей. Абсолютные же границы знака-высказывания задаются соответствующей содержательной единицей (событие, концепт) и могут иметь формально различную длину.

13. Перейдем теперь к обобщенному анализу результатов сопоставления вероятностно-семантической модели «торгового события» с текстами описаний такого события (путь от события к форме выражения). Каждому содержательному компоненту события был приписан номер, после чего мы провели кодировку текстов, т. е. последовательный поиск реализации каждого данного компонента по всей длине отдельного текста. В рамках 35 исследованных текстов (один текст описывает несостоявшееся событие) мы не отметили случаев отсутствия кода для какого-либо фрагмента текста, что свидетельствует в пользу принятого подхода. Результатом кодировки явились упорядоченные цепочки символов, отражающие синтагматическую последовательность реализации в речи семантических компонентов многомерной модели события.

Анализ семантических кодов и обратное сопоставление их с моделью события показывают: а) тексты отображают событие на обобщенном уровне, причем от текста к тексту меняется как общее соотношение вербализуемых и имплицируемых семантических компонентов события (степень детальности описания, коррелирующая со степенью «денотативности»), так и качественный набор вербализуемых компонентов; например, компонент «продавец» эксплицируется только в 45% текстов; б) все тексты в разном соотношении вербализуют как компоненты эндоструктуры события, так и его экзоструктурные связи; не отмечено ни одного текста, где эксплицировалась бы только эндоструктура; принимая во внимание

результаты экспериментов по моделированию события, можно полагать, что «контекст» эндоструктуры события, состоящий из предшествующего и последующего событий, является некоторой обязательной константой подобного высказывания; в) прослеживается общая тенденция разворачивать событие в синтагматической перспективе текста по схеме «предшествующее событие» + «торговое событие» + «последующее событие»; в то же время такую последовательность реализуют в «чистом виде» менее половины текстов. Отмечены тексты, построенные по схеме «торговое событие» + «предшествующее событие» + «последующее событие», а также тексты, содержащие непоследовательное изложение: «торговое событие» + + «последующее событие» + «предшествующее событие» + «торговое событие» (продолжение) + «последующее событие» (продолжение) и др.

14. При таком подходе, как и в случае с описанием концепта, синтез высказывания предполагает расчленение многомерного содержательного объекта-события, его «сканирование» языковыми средствами. Синтагматический порядок такого «сканирования» сравнительно произволен.

Что касается соотношения события и предложения, то оказывается, что элементарное событие, как правило, выражается простым предложением (*Он повернул голову*), однако простое предложение может вербализовать и более одного события. Так, предложение *Он опоздал по болезни* может на событийном уровне интерпретироваться как *Он болел* (причина) — (следствие) *Он опоздал*.

15. Поскольку единичное событие может проецироваться на план выражения с разной степенью детализации в пределах от простого нераспространенного предложения до текста, следует предположить, что уровень детальности отображения события в речи определяется предполагаемой степенью информированности данного собеседника. «Семантическая деятельность» слушателя или читателя всегда заключается, в частности, в том, чтобы исходя из собственной системы обобщенных (потенциальных) и реальных событий, дополнять то, чего формально не сказано отправителем информации, но что он имел в виду, оценивая информированность слушателя. Отсюда следует, что массовая коммуникация (радио, пресса, художественная литература) ориентируется на некоторый усредненный уровень, исключающий как семантическую избыточность, так и семантическую недостаточность.

Кроме того, следует предположить, что именно наличие в памяти человека готовых событийных структур позволяет объяснить факт моносемантизации новой синтагматической цепи асимметричных лингвистических знаков приемником сообщения, упорядочивания непоследовательных высказываний на содержательном уровне, использования «догадки» о значении неизвестного слова при изучении иностранного языка, функционирования семантических механизмов метафоры, окказионального значения и др. Действительно, валентностная модель не обладает достаточной объяснительной силой при анализе перечисленных феноменов.

16. Сделаем некоторые выводы. Проекция содержательных единиц на план выражения с использованием психолингвистического эксперимента позволяет выделять знаки по означаемому. К числу означающих таких знаков, в зависимости от степени денотативности означаемого, могут относиться разноразмерные по синтагматической длине единицы. Концепт выражается в речи единицами, варьирующими от слова к тексту, событие — от предложения к тексту, причем глубина описания находится в зависимости от длины такого текста. В естественном языке подобные соотношения существуют между текстом и рефератом, аннотацией и заглавием.

Знаки, получаемые в результате проекции содержательных единиц на план выражения, не всегда совпадают с формальными рамками предложения или абзаца. Тем не менее их границы могут быть достаточно точно определены по содержательному критерию и объективизированы психолингвистическим экспериментом.

Исследования в области соотношения семантики отражения и семантики высказывания дадут, очевидно, возможность ответить на вопрос

о степени зависимости структуры высказывания от реализации как лингвистических, так и экстралингвистических закономерностей. При таком подходе становится возможным изучение трансформационных возможностей языка в границах иерархии разноразмерных единиц, в том числе и за формальными рамками предложения, анализ вопросов глубинного (семантического) синтаксиса на основе такой иерархии, экспериментальная оценка степени адекватности описания денотата в зависимости от длины означающего и его лексико-синтаксических характеристик, а также обсуждение некоторых теоретических проблем на стыке гуманитарных областей знания.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Арутюнова Н. Д.* Синтаксис.— В кн.: Общее языкознание. М., 1972.
2. *Ибраев Л. И.* Надзнаковость языка (к проблеме соотношения семиотики и лингвистики).— ВЯ, 1982, № 1.
3. *Никитин М. В.* Лексическое значение в слове и словосочетании. Владимир, 1974.
4. *Гак В. Г.* Высказывание и ситуация.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.
5. *Шахнарович А. М.* К проблеме психолингвистического анализа детской речи: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1974.
6. *Выготский Л. С.* Мышление и речь. Психологические исследования. М.— Л., 1934.
7. *Гак В. Г.* О двух типах знаков в языке (высказывание и слово).— В кн.: Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1967.
8. *Филлмор Ч.* Дело о падеже открывается вновь.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
9. *Демьянков В. З.* «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста.— ИАН СЛЯ, 1983, № 4.
10. *Величковский Б. М.* Современная когнитивная психология. М., 1982.
11. *Dijk T. A., van.* Text and context. Explorations in the semantics and pragmatics of discourse. London and New York, 1980.
12. *Маркс К.* Дебаты шестого Рейнского ландтага.— *Маркс К.* и *Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 1, с. 55.
13. *Свечников Г. А.* Движение — способ существования материи.— В кн.: Пространство, время, движение. М., 1971.
14. *Гумбольдт В. фон.* О различии организмов человеческого языка и влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859.
15. *Заде Л. А.* Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений.— Математика сегодня, 1974, № 7.
16. *Пиаже Ж., Инельдер Б.* Генезис элементарных логических структур. М., 1963.
17. *Москальская О. И.* Семантика текста.— ВЯ, 1980, № 6.
18. *Леонтьев А. Л.* Психолингвистический аспект языкового значения.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ВАСЧЕНКО В.

ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ОБЩЕГО РОДА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В восточнославянских языках выделяют своеобразный грамматический класс слов, родовая характеристика которых выражается исключительно синтаксически, т. е. путем согласования, и целиком зависит от пола называемого лица, точнее — существа (человека или животного). В качестве примеров приводят, как правило, разговорные и просторечные слова на *-а* и *-я* с яркой экспрессивной окраской типа русск. *калека*, *пьяница*, *разиня* и т. п., отличительной чертой которых является, по нашей терминологии, двустороннее родовое согласование, т. е. согласование как с определением, так и со сказуемым, например, *Пришел* [Ø] *наш* [Ø] *разиня* при обозначении лица мужского пола // *Пришла наша разиня* при обозначении лица женского пола (отдельные исключения, наблюдаемые в ненормированной речи, лишь подтверждают указанное правило). Таким образом, род подобных образований выражается «вне» данных слов, т. е. аналитически: флексией местоимения (прилагательного), выступающего в роли определения, и одновременно флексией глагола, выступающего в роли сказуемого. Как известно, такие слова традиционно называются существительными общего рода.

Хотя о рассматриваемых существительных упоминается чуть ли не во всех грамматиках (как теоретических, так и практических), не говоря уже о специальных исследованиях, грамматический статус слов, относящихся к категории общего рода (в дальнейшем — КОР), еще неясен. Речь идет прежде всего о необходимости определения р е а л ь н о г о с о с т а в а КОР. В этом отношении в специальной литературе наблюдаются то односторонние, то неполные высказывания, вызванные, как правило, отсутствием достаточных языковых фактов. Так, например, при описании КОР нередко ригористически рассматриваются лишь апеллятивы [1, с. 109; 2, с 318; 3, с. 466] или только существительные с флексиями *-а* и *-я* [1, с. 109; 2, с. 318; 3, с. 466], причем во всех случаях привлекаются исключительно слова со значением лица, т. е. наиболее характерный, но не единственный, разряд КОР.

Между тем к интересующей нас категории относятся, как это подсказывается реальной языковой действительностью, не только нарицательные, но и собственные имена существительные, причем последние являются доминирующими (отдельные разряды антропонимов упомянуты уже В. В. Виноградовым [4, с. 80—81], Т. В. Шанской [5, с. 13—14] и др.).

Учитывая синтаксическую двустороннюю родовую связь подобных слов, можно выделить на статистических основах ч е т ы р е р а з р я д а КОР. Начнем, естественно, с собственных имен существительных, т. к. их по крайней мере в 10 раз больше нарицательных [1]. К тому же в силу их общеупотребительности (вызванной, в частности, отсутствием пренебрежительного оттенка) и повышенной встречаемости в повседневной речи собственные имена оказываются наиболее типичным компонентом КОР. Иными словами, фактический материал (статья основана на материале русского языка) будет изложен согласно принципу ч а с т о т н о с т и

[1] В результате эксцерпции имеющихся словарей русского языка (толковых, ономастических) получено статистически следующее количество слов КОР: 3378 уменьшительно-ласкательных форм типа *Саша*, 385 апеллятивов типа *зевака* и т. д., которые были расположены нами в четырех таблицах по принципу убывающей частоты структурных моделей (в обратном алфавитном порядке).

и п р о д у к т и в н о с т и изучаемых единиц. Как известно, в последнее время указанный принцип — основополагающий, с нашей точки зрения,— принимается во внимание при таксономическом исследовании как апеллятивной, так и ономастической лексики (ср., например, классификацию типов именного склонения в последних двух академических грамматиках русского языка [1, с. 132; 3, с. 475] или классификацию исконно русских фамилий с точки зрения их морфемной структуры [6]).

1. Уменьшительно-ласкательные формы общего рода, образованные от личных имен. Субъективно-оценочные формы личных имен могут соотноситься: с мужскими полными именами, например, *Дима* (*Дмитрий*), *Дёма* (*Дементий*) и пр.; с женскими полными именами, например, *Зема* (*Земфира*), *Манёк* (*Мария*) и пр.; с мужскими и п а р а л л е л ь н о с женскими полными именами, например, *Валя* (*Валентин*, *Валентина*; *Валерий*, *Валерия* и т. д.), *Панечка* (*Павел*, *Павла*; *Степан*, *Степанида* и т. д.) и др. Само собой разумеется, что нас интересует в данном случае лишь третий разряд форм, ибо только омонимичные по роду слова типа *Валя* (м. р.) // *Валя* (ж. р.) имеют отношение к КОР. Ср.: *Курносый Женя улыбнулся // Курносая Женя улыбнулась.*

За исключением отдельных форм на *-а* и *-я*, образованных путем сокращения (гипокористики типа *Шура* < *Александр* через ступень *Сашура*), все остальные оценочные формы являются деминутивами, т. е. удлиненными формами, образованными при помощи суффиксов субъективной оценки. Среди наиболее продуктивных суффиксов следует упомянуть в порядке убывающей частоты морфемы: *-к-* (*Светка*), *-очк-* (*Ларочка*), *-ушк-* (*Никушка*), *-ечк-* (*Панечка*), *-еньк-* (*Витенька*) и др., причем *-к-* является, несомненно, самым продуктивным суффиксом, т. к. он, помимо своей непосредственной воспроизводимости в качестве самостоятельной морфемы, встречается в составе многих других сложных морфем, способных порождать новообразования по традиционным моделям: ср., например, инновации 20-х гг. вроде *Владленка*, *Владленочка*, *Владленушка* и т. п., соотносимые с полными именами *Владлен — Владлена*.

Укажем, наконец, что небольшое количество оценочных форм общего рода оканчивается на согласные: *-к*, *-н*, *-ц*, которым соответствуют суффиксы *-очек* (*Милочек*), *-ёк* (*Валёк*), *-ик* (*Алик*), *-усик* (*Петусик*) и т. д., а также непродуктивные *-юн* (*Валюн*) и *-ец* (*Варец*).

2. Нестандартные исконно русские фамилии. Речь идет о немаркированных фамилиях (в основном прозвищного характера), лишенных специальных женских форм. Иными словами, это такие фамилии, которые не оформлены специфически русскими фамильными морфемами максимальной частотности типа *-ов* (*-ев*, *-ёв*), *-ин* (*-ын*), *-ской* (*-ский*), *-цкой* (*-цкий*), *-ой* (*-ый*, *-ий*) и которые тем самым остаются за пределами собственно русской стандартной антропонимической системы [6, с. 137—160; 7, с. 554—559]. Они носят в основном региональный характер и, за исключением фамилий на *-их*, *-ых*, характерных для севернорусской языковой территории, встречаются, как правило, в южновеликорусском ареале, очевидно, под влиянием соседних близкородственных антропонимических систем. Такие фамилии оканчиваются как на гласные (*-а*, *-я*, *-о*), так и на согласные (твердые и мягкие), причем наряду с суффиксальными образованиями типа *Верёвка* встречаются безаффиксальные слова типа *Горб*. В именительном падеже флексия бывает чаще всего нулевой (*Пирог*), реже — материально выраженной (*Головня*). С точки зрения состава встречаются образования простые, т. е. непроизводные (*Мороз*), производные (*Рыбак*) и сложные (*Скороход*), что очень сближает такие фамилии с именами нарицательными, обладающими подобными же фоно-словообразовательными особенностями. При отсутствии специальных антропонимообразующих суффиксов типа *-ов* статус таких фамилий как собственных имен слабо выражен: он поддерживается только ситуативным контекстом (в разговорном варианте языка) и написанием с прописной буквы (в письменном варианте).

Межстилевой и эмоционально нейтральный характер фамилий такого типа отличает их от первого разряда КОР и сближает их с третьим разря-

дом — с нерусскими фамилиями, между тем как склоняемость антропонимов на *-а* и *-я* (не только у лиц мужского, но и женского пола) сближает такие словоформы с четвертым разрядом КОР.

3. Иноязычные фамилии. Сюда относятся самые разнообразные в этимологическом отношении собственные имена, начиная с генетически нерусских, но исторически прижившихся на русской почве фамилий на *-ко*, *-енко* и т. п., и кончая русской записью собственно иностранных фамилий типа *Гейне* (нем. *Heine*), *Гюго* (франц. *Hugo*), *Шекспир* (англ. *Shakespeare*) и т. д. [8, с. 3—53].

Иноязычные фамилии могут иметь любую графемную финаль. Они оканчиваются на все ударные гласные графемы: *-а* (*Петипа*), *-е* (*Бизе*), *-ё* (*Монтескьё*), *-и* (*Кюри*), *-о* (*Дидро*), *-у* (*Анжу*), *-ы* (*Джабарлы*), *-э* (*Боссюэ*), *-ю* (*Камю*), *-я* (*Золя*) и на следующие безударные: *-а* (*Чикобава*), *-е* (*Думбадзе*), *-и* (*Вивальди*), *-о* (*Бруно*), *-у* (*Энеску*), *-э* (*Влахуцэ*), *-ю* (*Мэпью*), *-я* (*Цибуля*), на любой твердый согласный: *-б* (*Гольдфарб*), *-в* (*Ельмслев*), *-г* (*Эренбург*) и т. п., реже — на мягкие согласные типа *-ль* (фонетически [л'] *Гегель*) и на непарные мягкие *-й* (*Бородай*) и *-ч* (*Лукашевич*). Учет указанных финалей важен особенно в парадигматическом отношении, т. к. все иноязычные фамилии лиц женского пола, а также иноязычные фамилии лиц мужского пола, если последние оканчиваются на гласные (кроме безударных *-а*, *-я*), не склоняются.

Подобно нестандартным исконно русским фамилиям, иноязычные фамилии имеют немаркированный характер, т. е. они лишены специальных женских форм вроде *Иванова*, *Погодина*. Поэтому и у них понятие пола выражается аналитически, двусторонним родовым согласованием, например: *Пришел наш Тевосян // Пришла наша Тевосян*; *Разъяренный* (*Павел*) *Якубович наконец успокоился // Разъяренная* (*Вера*) *Якубович наконец успокоилась*.

4. Нарицательные имена существительные общего рода. Это единственный разряд КОР, состоящий из апеллятивов, причем, несмотря на относительную малочисленность таких слов, образования на *-а* (*-я*) в им. падеже ед. числа прежде всего стали привлекать внимание ученых своим грамматическим своеобразием. Они неразрывно связаны синтаксически с перечисленными выше, т. е. антропонимическими разрядами КОР. Не обладая коррелятивными формами суффиксального или супплетивного характера (вроде *повар // повариха* или *петух // курица*, ср. также *Иванов // Иванова*), такие слова, как и антропонимы типа *Шура*, *Сокол* и *Якубович*, выражают бинарную оппозицию пола аналитическим путем, т. е. двусторонним согласованием то в мужском, то в женском роде, например: *Нам нужен хороший староста // Нам нужна хорошая староста*; *Этот противный зубрила нам надоел // Эта противная зубрила нам надоела*; *Наш сивка выбежал на улицу // Наша сивка выбежала на улицу*.

Симптоматично, что нарицательные имена существительные общего рода оканчиваются исключительно на гласные, причем господствующими являются образования на *-а* (*-я*): *зёва*, *транжира*, *пискля*, *мямля* и т. п. Другие финали оформляют в основном заимствования: *-е* (*протеже*); *-и* (*визави*), *-о* (*гуанако*).

Слова данного разряда КОР допускают широкую таксономическую интерпретацию, в связи с чем можно предложить несколько классификаций.

Семантический срез. Поскольку слова общего рода являются элементами категории одушевленности, они подразделяются прежде всего на слова, обозначающие людей (личные существительные в строгом смысле слова), и на слова, обозначающие животных («неличные» существительные). Слова первого подразряда, т. е. имена существительные со значением лица, количественно доминирующие, обозначают в большинстве своем — как это подчеркивали еще А. Х. Востоков, А. М. Пешковский, В. В. Виноградов и другие лингвисты — качества людей. Это своего рода «признаковые» слова, представляющие собой качественное определение лиц. В этой связи они допускают, как нам кажется, бинарную трактовку — в плане денотативном и в плане коннотативном.

В денотативном плане, т. е. с точки зрения выражения собственного содержания, основного значения, апеллятивы подразделяются семантически на слова со значением отрицательных свойств и на слова со значением положительных свойств, причем преобладающими являются первые из них.

Слова КОР со значением отрицательных свойств: убийство (*убийца*, *матереубийца*, *отцеубийца*, *чадоубийца* и т. п.), пьянство (*пьяница*, *пропойца*, *запивоха*, *выпивоха*), ничтожество (*шушера*), лживость (*лгунишка*, *вруша*, *врунишка*), расточительство (*транжира*), скупость (*жила*, *скряга*), лицемерие (*ханжа*, *притвора*, *святоша*), угодничество (*подпевала*, *прихлебала*), трусость (*трусишка*), плутовство (*пройдоха*, *шельма*, *шишимора*), неряшливость (*мазила* и *мазилка*, *неряха*, *растрёпа* и *растрёпка*), бродяжничество (*бродяга* и *бродяжка*), обжорство (*обжора*, *прожора*), глупость (*балда*), самоуверенность (*всезнайка*, *многознайка*), придирчивость (*заноза*), навязчивость (*прилипала*), болтливость (*балаболка* и *балабошка*, *болтушка* и *болтунишка*, *таратора* и *тараторка*, *щелкшка*), хвастовство (*хвастунишка*), пронырливость (*ловчила*), баловство (*шкода*), рассеянность (*разиня*), замысловатость (*мудрила*) и т. п.

Слов КОР со значением положительных свойств значительно меньше: *заводила* «живой, энергичный человек», *провора* «проворный человек», *скромница* «скромный человек», *умница* «умный человек» и др.

В коннотативном плане, т. е. с точки зрения выражения разного рода экспрессивно-оценочных оттенков, апеллятивы со значением лица подразделяются на эмоционально окрашенные и эмоционально нейтральные слова, причем в пределах первых можно выделить две группы: с одной стороны, слова со значением ласкового или фамильярного обращения и, с другой — уменьшительно-ласкательные формы (о формах с другим эмоционально окрашенным значением — уничижительным, увеличительным и т. п.— см. [4, с. 74—75]).

Слова со значением ласкового или фамильярного обращения: *душка* (*душечка*, *душенька*), *лапушка* (*лапочка*, *лапонька*), *милаша* (*милашка*), *милочка* (*милушка*), *цыпочка*. В качестве ласкового обращения выступает и *соседушка*. Уменьшительно-ласкательные формы со значением «маленький (неразумный, послушный и т. п.) ребенок»: *кроха* (*крохотка*), *крошка* (*крошечка*), *малютка* (*малюточка*), *малышка*, *малявка*, *глупышка*, *пашнька* и др. К коннотативной лексике КОР можно отнести и народно-поэтические слова типа *лада* (*ладушка*) «возлюбленный, возлюбленная», *поленица* «богатырь — мужчина или женщина», *сиротинушка*, *сивка-бурка* и др., причем нарицательное *лада* (*ладушка*), которое сосуществует с собственным *Лада* (*Ладушка*), послужило своего рода катализатором для образования омонимичного антропонима.

Эмоционально окрашенным словам противопоставляются эмоционально нейтральные, т. е. лишенные экспрессии слова типа *визави* «тот, кто находится напротив», *двойняшка* (*двояшка*) «близнец (каждый из двойни)» и *тройняшка* (*трояшка*) «близнец (каждый из тройни)», *запевала* «солист, начинающий пение; инициатор», *книгоноша* «продавец книг вразнос», *коллега*, *предтеча*, *приготовишка*, *протеже*, *ровня*, *самоучка*, *сирота*, *сомнамбула*, *староста* и др. Лишены экспрессии также слова, обозначающие некоторые национальности, а также отдельные названия животных.

В пределах имен существительных со значением лица выделяются, наконец, слова, которым чужда собственно качественная характеристика. Это подкласс КОР со значением национальности или народности: *мари* «мариец, марийка», *саами* «саам, саамка (лапландец, лапландка), *удэ* «удэгеец, удэгейка», *чукча* «житель Чукотского национального округа», *чухна* «чухонец, чухонка», *эрзя* «мордовец, мордовка».

В систематике одушевленных апеллятивов КОР словам, обозначающим людей, противопоставляются слова, обозначающие животных. Речь идет, прежде всего, о названиях некоторых домашних животных,

отличающихся по масти или породе: *буланка*, *бурка*, *серка*, *сивка* (в сказках: *сивка-бурка*), *полукровка*, *рамбулье*. Сюда же относятся названия экзотических млекопитающих и птиц: *альпака* и *гуанако* «млекопитающие рода лам семейства верблюдовых», *окапи* «млекопитающее семейства жираф», *динго* «дикая австралийская собака», *жако* «серый африканский попугай», *колибри* «птичка отряда длиннокрылых, живущая в Америке».

Поскольку большинство нарицательных существительных КОР — это, как отмечено выше, слова со значением качественной характеристики (в пределах слов со значением лица), им свойственны, как и остальным признаковым словам, полисемия и омонимия, синонимия и антонимия. Интересно, что некоторые слова, первоначально однозначные, стали элементами КОР в результате развития своего значения путем метафоризации, например: *заноза* 1) ж. р. «вонзившаяся щепочка», 2) м. р. и ж. р. «придирчивый человек»; *дубина* 1) ж. р. «палка», 2) м. р. и ж. р. «дурак»; *лапочка* 1) ж. р. «маленькая лапа», 2) м. р. и ж. р. «ласковое обращение»; *балаболка* 1) ж. р. «подвеска, висюлька», 2) м. р. и ж. р. «болтун»; *балда* 1) ж. р. «большой тяжелый молот», 2) м. р. и ж. р. «бестолковый человек»; *дохлятина* 1) ж. р. «труп животного», 2) м. р. и ж. р. «хилый человек»; *кислятина* 1) ж. р. «нечто кислое», 2) м. р. и ж. р. «вялый человек»; *мерзлятина* 1) ж. р. «мерзлые продукты», 2) м. р. и ж. р. «зябкий человек»; *руина* 1) ж. р. «разрушенное здание», 2) м. р. и ж. р. «одряхлевший человек»; *шушера* 1) ж. р. «хлам, сброд», 2) м. р. и ж. р. «ничтожный человек» и т. п. Такие многозначные слова являются существительными женского рода в первом, прямом, смысле, и существительными общего рода во втором, переносном, смысле. Таким образом, они относятся к КОР лишь наполовину, т. е. своим фигуральным значением, в силу чего их можно назвать «фигуральными» словами КОР. Впрочем, бывают и многозначные слова, все значения которых относятся к КОР, например, *мазила* м. р. и ж. р. 1) «неряха, грязнуля», 2) «тот, кто плохо, неумело рисует, пишет», 3) «тот, кто часто делает промахи (в игре, стрельбе и т. п.)».

В ряде случаев наблюдаются омонимические отношения [2] между словами женского рода и словами общего рода, например: *болтушка* «яичница; орудие для взбалтывания» (ж. р.) и *болтушка* «болтливый человек» (м. р. и ж. р.); *бурка* «род накидки на Кавказе» (ж. р.) и *бурка* «бурая лошадь» (м. р. и ж. р.); *серка* «топленая смола» (ж. р.) и *серка* «серая лошадь» (м. р. и ж. р.); *ханжа* «хлебная водка» (ж. р.) и *ханжа* «лицемер» (м. р. и ж. р.) и др.

Широко развиты синонимические отношения, наблюдаемые в пределах слов самой КОР: *запивоха* = *выпивоха* = *пропойца* (просторечные и грубые слова), *ханжа* = *притвора* (разговорные слова), *лгунишка* = *врунишка* (разговорные слова), *мазила* = *растрепа* (просторечные слова), *обжора* = *прожора* (разговорные слова), *балаболка* (*балабошка*) = *болтушка* (*болтунишка*) = *таратора* (*тараторка*) = *щелкушка* (разговорно-просторечные слова), *пройдоха* = *шельма* = *шишимора* (разговорно-просторечные слова) и др. Нельзя, однако, считать полными синонимами такие слова КОР, которые, хотя и совпадают понятийно, но отличаются в коннотативно-стилистическом плане, например, пары слов, состоящие из лексемы литературной (здесь, условно, на первом месте) и лексемы разговорной или просторечной (на втором месте): *пьяница* ≠ ≠ *запивоха* и др.; *святоша* ≠ *притвора*; *неряха* ≠ *мазила*; *рамоли* (литер. и устар.) ≠ *руина* (разг.); *скряга* ≠ *жила* и т. п. Антонимические отношения наблюдаются значительно реже, например: *грязнуля* — *чистюля*; *жила* — *транжира*; *ровня* — *неровня*; *тонкошея* — *толстошея* и др.

Этимологический срез. Установление происхождения апеллятивов КОР требует специального исследования. Однако уже сейчас, т. е. на базе

---

[2] В качестве омонимов такие слова рассматриваются в словаре А. А. Зализняка [9], а иногда и в [10]. Другие лексикографы, например, С. И. Ожегов [11], определяют подобные случаи как полисемию (при такой интерпретации будем иметь дело с описанными выше «фигуральными» словами КОР).

имеющихся этимологических данных, можно отметить явное преобладание исконно русских слов, будь то общеславянские лексемы (*заноза*, *сирота*, *староста* и др.), общевосточнославянские (*балда*, *заика*, *зевака*, *калека*, *подлиза*, *пьяница*, *ханжа*, *ябеда* и др.) или собственно русские (*дубина*, *зубрила*, *неряха*, *разиня*, *растяпа*, *скряга* и др.). Но не надо упускать из виду, что отдельные слова, например, *заноза*, *балда*, *дубина* и т. п., стали элементами КОР лишь в более поздний период развития языка в результате метафоризации.

Исконно русским словам понятийно противопоставляются заимствованные слова, проникшие в русскую лексику (а некоторые из них — в восточнославянскую вообще) из славянского же источника или из западноевропейских языков, например: *невежда*, *предтеча*, *сатана* и др.— из церковнославянского, *забияка*, *каналья*, *коллега*, *шельма*, *шкода* и др.— из польского, *визави*, *жако*, *протеже*, *рамбулье*, *рамоли*, *руина* [3] и др.— из французского, *альпака*, *гуанако*, *колибри* — из испанского, *динго* — из английского и т. п.

Словообразовательный срез. Подавляющее большинство исконно русских слов — это производные образования [4], причем наиболее продуктивными в диахроническом плане оказываются следующие конечные словообразовательные морфемы, перечисленные в порядке убывающей частоты: *-ка* (*зевака*), *-а* (*зёва*), *-ла* (*прихлебала*), *-яга* (*трудяга*), *-я* (*зюзя*), *-ина* (*жадина*), *-ца* (*пропойца*), *-шка* (*дурашка*). Сложных слов типа *сорвиголова* значительно меньше. Лучшая известная нам суффиксально-семантическая классификация нарицательных слов общего рода с указанием уменьшительных, уничижительных и пр. суффиксов предложена В. В. Виноградовым [4, с. 74—78], поэтому вряд ли следует повторять ее здесь. Укажем лишь тот факт, что эту классификацию можно было бы дополнить рядом непродуктивных словообразовательных финалей: *-ага* (*молодчага*), *-яшка* (*двоякшка*), *-ыка* (*горемыка*), *-енька* (*гуленька*), *-юка* (*злюка*), *-ёха* (*распустёха*), *-уха* (*побируха*), *-ля* (*пискля*), *-уля* (*капризуля*), а также заимствованиями на *-е* (*протеже*), *-и* (*визави*), *-о* (*жако*), которые «оформлены» нулевой словоизменительно-словообразовательной морфемой, т. е. *-Ø*.

От качественных слов КОР легко образуются оценочные формы, в основном уменьшительно-ласкательные, например: *бедняга* > *бедняжка* > > *бедняжечка*; *бродяга* > *бродяжка*; *мазила* > *мазилка*. Разветвленным словообразовательным гнездом, состоящим из форм со значением ласки и сострадания, обладает слово *сирота*, от которого образованы *сиротка*, *сироточка* и устаревшее *сиротина*, породившее в свою очередь ряд вторичных образований: *сиротинка*, *сиротиночка* и *сиротинушка* (последнее — народно-поэтическое).

Нормативно-стилистический срез. Поскольку нарицательные имена существительные КОР — это часть апеллятивов общенародного языка, они подчиняются общим правилам употребления имен нарицательных, принятым в общественно-речевой практике. Так, например, в стилистическом плане можно выделить общелитературные речевые факты (нейтральная лексика и в противоположность ей, с одной стороны, книжная лексика, а с другой — разговорная лексика) и внелитературные речевые факты (просторечная и областная лексика), т. е. лексические пласты, подчиняющиеся литературной норме, и лексические пласты, выходящие за ее пределы.

Нейтральная (межстилевая, общеупотребительная) лексика КОР представлена такими словами, как: *бродяга*, *запевала*, *книгоноша*, *лапушка*, *малютка*, *неряха*, *пьяница*, *самоучка*, *святоша*, *сирота*, *скряга*,

---

[3] Русск. *руина* имеет двойное происхождение: лат. *ruina* в прямом смысле, т. е. «развалина», и франц. *ruine* в переносном, т. е. «немощный от старости человек». Элементом КОР является, естественно, лишь второе значение.

[4] В том числе слова, образованные при помощи морфемы *-а* (*-я*), которая имеет не только словоизменительный, но и словообразовательный характер (это, по выражению В. В. Виноградова, «суффикс-окончание» [4, с. 78]). Поэтому вряд ли можно согласиться с Т. В. Шанской, которая считает [5, с. 15], что *надсада*, *притвора*, *придира* и т. п.— это «безаффиксные» образования.

староста, *убийца* [5] и др., которые перекрещиваются с эмоционально нейтральной лексикой, но полностью не совпадают с ней. Стилистически нейтральными являются также слова со значением национальности типа *мари* и названия экзотических животных типа *альпака*.

К так называемым книжным словам относятся весьма немногочисленные лексемы вроде *визави*, *коллега*, *предтеча*, *протеже* и т. п. Количественно незначительными являются и сугубо областные слова типа *шишимора* «плут».

Особенно высок процент нарицательных слов КОР в двух смежных пластах: в разговорной и просторечной лексике. Как разговорные, так и просторечные слова являются широко распространенными и стилистически окрашенными элементами, употребляемыми преимущественно в устной речи. Однако в отличие от разговорных слов, которые представляют собой литературные (нормированные) элементы словаря, просторечные слова являются главным образом внелитературными (ненормированными) элементами, имеющими сниженную, грубую окраску [12, с. 239, 248]. Разговорная лексика КОР представлена такими словами, как: *бедняга*, *болтушка*, *врунишка*, *всезнайка*, *глупышка*, *двойняшка*, *душка* (*душенька*, *душечка*), *заводила*, *зубрила*, *кроха*, (*крохотка*, *крошка*), *малолетка*, *малышка*, *малявка*, *милаша* (*милашка*), *милочка* (*милушка*), *обжора*, *паинька*, *подпевала*, *приготовишка*, *прилипала*, *притвора*, *провора*, *разиня*, *скромница*, *таратора*, *транжира*, *тройняшка*, *умница*, *ханжа*, *хвастунишка*, *чертяка*, *щелкушка* и др.; сюда же следует отнести названия домашних животных с суффиксом *-к(а)* типа *сивка*. Просторечными элементами являются: *балаболка* (*балабошка*), *балда*, *врушa*, *жила*, *заноза*, *ловчила*, *мазила*, *мудрила*, *прожора*, *пропойца*, *растрёпа*, *шельма*, *шкода*, *шушера* и др.

Нужно признать, что четкой грани между разговорной и просторечной лексикой нет, в связи с чем, как это подчеркивает Ф. П. Филин, «... в словарях имеются случаи разнобоя в постановке помет „простореч." и „разг." (одно и то же слово в разных словарях получает неодинаковую оценку)» [12, с. 239]. Это касается и ряда слов КОР. Приведем только один пример: слово *таратора* оценивается то как просторечное (например, в [10]), то как разговорное (в [11]).

Поскольку некоторые многозначные слова в одних значениях выступают как нейтральные (межстилевые), а в других — как экспрессивно окрашенные, вопрос о «фигуральных» словах КОР актуален и в стилистическом отношении. Так, например, *сатана* является нейтральным только в первом значении («дьявол»), между тем как во втором (бранное слово) оно стилистически окрашено и выступает в качестве просторечного слова. То же самое можно сказать о «фигуральных» словах КОР типа *балда*, *дубина*, *заноза* и т. п.

Подавляющее большинство приведенных выше общелитературных и внелитературных элементов — это слова современного русского языка, находящиеся в активном употреблении. Имеются, однако, и некоторые слова, смысл которых не понятен носителям современного языка в результате их полной архаизации (как в плане содержания, так в плане выражения). Устаревшие лексемы, как правило, не фиксируются в толковых словарях современного языка, их можно встретить сегодня только в специальных исследованиях (например, в [5, с. 15]): *валанда* «тот, кто мешкает», *варакса* «болтун, болтунья», *елоза* «тот, кто волочит ноги», *звяга* «безотвязный проситель», *мотора* «расточитель, расточительница», *провора* «ловкач, ловкачка» и др. Впрочем, как известно, степень архаизации устаревших слов различна: немногие из них удерживаются в пассивном употреблении (такие слова фиксируются в толковых словарях), например, *предтеча* «предвестник чего-л.», *рамоли* «впавший в слабоумие человек», *сиротина* «сирота» и др.

Наконец, в плане склоняемости следует отметить, что слова

---

[5] В толковых словарях при таких словах нет помет типа *разг.*, *прост.* (*простореч.*)

КОР на *-а* (*-я*) склоняются [6], в то время как слова на остальные гласные, т. е. на *-е*, *-и*, *-о* и *-э* (в основном заимствования), неизменяемы.

Из сказанного выше вытекает, во-первых, то, что слова КОР являются разновидностью имен существительных одушевленных: к ним относятся как существительные, обозначающие лиц, так и существительные, обозначающие животных. Стало быть, их следовало бы изучать не столько в рамках категории личных имен, хотя наиболее многочисленными являются именно слова КОР со значением лица, сколько в пределах более емкой лексико-грамматической категории одушевленности—неодушевленности. Во-вторых, несклоняемость существительных, на что ссылаются, когда относят к КОР и собственные имена, в том числе фамилии [5, 13 и др.], является несущественным признаком. Ведь дело не в склоняемости/несклоняемости существительных (и склоняемое *Веревка*, и несклоняемое *Дурново* — это слова общего рода), а в возможности/невозможности синтагматического образования коррелятивных родовых форм типа *Иванов — Иванова*, *Саввин — Саввина* и т. п. Ясно, что к КОР относятся лишь слова, не обладающие такой суффиксальной возможностью, будь это оценочные формы личных имен (*Валя*), нестандартные русские фамилии (*Пирог*), иноязычные фамилии (*Дидро*) или нарицательные имена (*запевала*). Таким образом, решающим при определении принадлежности тех или иных слов к КОР является не парадигматический, а синтагматический план, в том числе имманентная способность синтаксического обозначения одной и той же формой то мужского, то женского рода. В-третьих, следует отметить, что в пределах КОР сосуществуют многоплановые разряды слов: нарицательные и собственные, причем последние занимают количественно господствующее положение; исконно русские и заимствованные (соответственно — иноязычные); эмоционально окрашенные (уменьшительно-ласкательные формы личных имен типа *Панечка* и нарицательных имен типа *крошечка*, слова со значением ласкательного или фамильярного обращения типа *душка*) и эмоционально нейтральные (нестандартные и иноязычные фамилии, а также нарицательные типа *двойняшка*); стилистически окрашенные, в основном разговорные и просторечные слова, и стилистически нейтральные слова типа *сирота* (к стилистически нейтральным относятся также слова со значением национальности типа *мари* и названия экзотических животных типа *альпака*); однозначные слова типа *бродяга*, которые искони относятся к КОР, и многозначные слова типа *запоза*, которые стали элементами КОР в результате метафоризации («фигуральные» слова КОР); слова, находящиеся в современном употреблении, и архаизмы разной степени устарелости.

Таким образом, как по объему, так и по содержанию КОР оказывается значительно шире и разнообразнее того представления об именах существительных общего рода, которое сложилось в предшествующий период изучения данной категории, когда ее ядром считались разговорно-просторечные апеллятивы с яркой экспрессивной окраской.

ЛИТЕРАТУРА

1. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1960.
2. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970.
3. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
4. *Виноградов В. В.* Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.— Л., 1947.
5. *Шанская Т. В.* Слова общего рода в русском языке.— РЯШ, 1959, № 5.
6. *Васченко В.* О морфемной структуре русских фамилий.— Romano-slavica, 1968, XVI.

[6] Впрочем, бывают и исключения: *ультра*, употребляющееся как самостоятельное слово (в результате усечения композитов типа *ультраконсерватор*), не склоняется [9, с. 208). Однако родственное ему по образованию *контра* склоняется. Конфликтные ситуации возникают также в случае нестандартных фамилий прозвищного происхождения типа *Скрипка*, *Шуба* и. т. п., которые наперекор норме [7, с. 554—555] иногда не склоняются [14, с. 124]. Нередко остаются неизменяемыми и такого же типа мужские фамилии на согласный звук, например, *Корж*, *Жук*.

7. *Суперанская А. В.* Склонение личных имен в русском языке.— В кн.: Справочник личных имен народов РСФСР. М., 1979.
8. *Трубачев О. Н.* Из материалов для этимологического словаря фамилий России (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России).— В кн.: Этимология. 1966. М., 1968.
9. *Зализняк А. А.* Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М., 1977.
10. Словарь русского языка в четырех томах. М., 1957—1961.
11. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1977.
12. Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
13. Современный русский язык. Ч. I. М., 1979.
14. *Калакуцкая Л. П.* Склонение собственных имен (фамилий) в отношении к норме.— В кн.: Ономастика и норма. М., 1976.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ПОПОВА З. Д.

МОЖЕТ ЛИ ОБОЙТИСЬ СИНТАКСИС БЕЗ УЧЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Традиционное учение о членах предложения содержало в себе такие противоречия, которые постоянно побуждали синтаксистов к его пересмотру. Важнейшие два противоречия заключались в двойственности толкования природы подлежащего и в двойственной возможности квалификации некоторых второстепенных членов то как дополнения или обстоятельства, то как определения или приименного дополнения и т. д.

Понимание подлежащего как формы именительного падежа имени, обозначающего предмет (или субъект), о котором говорится в предложении, вело к вопросу: как быть, если предмет (или субъект), о котором говорится в предложении, выражен не именительным падежом, а, например, дательным или творительным (*Мне радостно*, *Ветром сорвало косынку*). Длительная полемика по этому вопросу и разные пути преодоления заложенного в нем противоречия подробно и обстоятельно рассмотрены А. С. Поповым, что позволяет нам ограничиться ссылкой на его работу [1].

Многократно обсуждалось и второе противоречие. Слишком разные функции выполняют, например, падежные и предложно-падежные формы имен, которые по своей формальной связи должны квалифицироваться как дополнения. Это и субъектные, и объектные, и инструментальные, и обстоятельственные, и атрибутивные функции. Весьма неоднородны также функции членов, выражающих обстоятельственные характеристики действия, которые могут различаться, например, степенью предикативности, и т. д.

Поиски способов преодолеть двойственность в квалификации второстепенных членов, найти какие-то точные критерии для их разграничения, хотя бы в учебных целях, занимают многие и многие страницы синтаксических исследований. Формулировки указанного противоречия и обзоры существующих работ можно найти в [2, с. 3—27; 3, с. 65; 4, с. 19—22].

В ходе обсуждения этих противоречий и споров по поводу природы подлежащего и критериев разграничения второстепенных членов предложения сложились новые подходы к рассмотрению структуры простого предложения. Г. А. Золотова, последовательно разобрав все структурные схемы русских предложений, пришла к убедительному выводу, что все они двусоставны, что в любой структурной схеме есть указание на субъект мысли и обозначение предиката мысли. Среди форм, выражающих субъект мысли, оказываются многие синтаксемы, традиционно относимые к косвенным дополнениям и обстоятельствам места или времени: субъектный датив (*Ему за сорок*; *Душе не до сна*), субъектный генитив (*Звезд без счета*; *Забот выше головы*; *Воды — по щиколотку*), субъектный генитив с предлогом *у* (*У каждой по ребенку*, *а у кого и по два*), субъектный инструментатив с предлогом *с* (*С бумагой туго*), субъектный локатив (*На улицах ни души*) и ряд других [4, с. 23].

В свете современных синтаксических учений становится совершенно очевидным, что подлежащее и сказуемое — лишь частный случай, хотя и самый важный, лишь одно из средств выражения субъекта и предиката мысли, выраженной в высказывании (см. об этом подробнее в [5, с. 13]).

Языковые средства, несущие субъект и предикат мысли, весьма разнообразны, что наиболее ясно прослеживается в устной разговорной речи. Здесь представлено много построений с некоординированными грамма-

тическими членами высказывания: *Толстой/я прочла*; *Сын у них/ капризы жуткие*; *Ночь в поезде/это утомительно*; *Вот соседи наши/у них уже огурцы цветут* [6, с. 243, 246, 249, 250, 258, 278 и др.]. В подобных высказываниях говорящие называют субъект мысли и предикат мысли, но не приводят их словесные обозначения в грамматически координированную связь. Такой способ построения высказывания в большей мере, видимо, присущ языкам аналитического строя, не случайно понятия топика и комментария сложились на базе английского языка [7]. Широко используются в устной разговорной речи и разнообразные структурные схемы простого предложения с косвенными субъектными падежами.

Письменная литературная речь из всего многообразия этих возможностей отобрала самую четкую подлежащно-сказуемостную схему и предпочитает ее, резко ограничивая употребление других структурных схем. Сохраняя термины подлежащее и сказуемое за привычными формами именительного падежа и личными формами глагола или его глагольно-именного эквивалента, согласуемого с подлежащим, видим, однако, необходимость как-то назвать и другие формы, служащие для обозначения субъекта и предиката мысли, выраженной в высказывании. В рамках данной статьи назовем их субъективами и предикативами, объединяя этими названиями все формы, которые выражают субъект и предикат мысли в структурных схемах, не содержащих именительного падежа существительного в роли подлежащего.

Г. А. Золотова подробно описала все имеющиеся в русском языке субъективы и предикативы, участвующие в построении структурных схем простого предложения, сделав большой шаг в преодолении слабых мест традиционного учения о главных членах предложения [4]. Однако в ее книге остался вне рассмотрения круг словоформ, распространяющих структурную схему предложения и образующих вместе с ней позиционную схему конкретного высказывания. Ведь в предложении *Белая сильная бабочка с глухим шорохом билась о стекла* (П. Проскурин, Полуденные сны), кроме подлежащего и сказуемого (*бабочка билась*), нуждаются в какой-то квалификации словоформы *о стекла*, *белая*, *сильная*, *с глухим шорохом*. В предложении *Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой* (Н. Носов, Карасик) надо как-то назвать компоненты *недавно*, *Виталику*, *аквариум*, *с рыбкой* и т. п. Учение о членах предложения, по мысли Г. А. Золотовой, должно претвориться в представление о системе структурно-семантических компонентов предложения [4, с. 27]. О компонентах, распространяющих и конкретизирующих глагольные предикаты, автор лишь упоминает, называя наименования объекта и орудия действия, ориентиров движения, делиберата и адресата мысли-речи [4, с. 180]. Сами же эти компоненты никак не именуются и в данной книге не рассматриваются.

Грамматика-80 заменяет учение о второстепенных членах предложения учением о распространении структурных схем по правилам сильных присловных связей, которые описываются в разделе о словосочетании, по правилам неприсловного распространения и по правилам детерминации [8, с. 136, 249—250; см. также 9].

В конкретном исследовании двусоставных предложений Т. С. Кириллова, пытаясь избежать традиционных терминов «дополнение» и «обстоятельство», пользуется термином «семантические распространители». Семантические распространители делятся на семантический объект, семантический атрибут, семантический адресат, обстоятельственные, детерминирующие распространители — пространственный, временной, условный, причины, цели, обстановки (ситуации) [5, с. 17—19].

Чем отличается, например, пространственный распространитель в предложении *Урожай должен быть убран и отправлен на склады* от обстоятельства места? Чем отличается временной распространитель в предложении *Ты должна быть сегодня веселой* от обстоятельства времени? Чем отличается семантический объект в предложении *На основе методических указаний могут быть разработаны нормативные документы* от прямого дополнения? Эти вопросы в названной работе не ставятся.

Каждый семантический распространитель всегда выражен какой-либо словоформой, эти словоформы составляют позиционную схему высказывания, и они должны быть как-то названы, чтобы о них можно было говорить. Не видим никаких причин отказываться от широко распространенных и всем известных терминов «дополнение», «обстоятельство» и «определение». Нам представляется более конструктивной позиция тех синтаксистов, которые видят важную роль и определенное место в позиционной схеме высказывания традиционно выделяемых второстепенных членов предложения. Д. Н. Шмелев пишет: «Не представляется оправданным отрицание конструктивной роли в предложении так называемых второстепенных членов» [3, с. 148]. И. П. Распопов, исходя из практических нужд преподавания грамматики в школе и в вузе, замечает, что отказ от второстепенных членов не может быть положен в основу полноценного грамматического разбора. И. П. Распопов признает строевыми элементами предложения и его полноправными членами наряду с подлежащим и сказуемым также дополнения и обстоятельства [10, с. 47].

Глубокое понимание ценности учения о членах предложения и его, на наш взгляд, реалистичную оценку дает В. А. Белошапкова. Она подчеркивает, что традиционное учение о членах предложения при всех своих несовершенствах несет такой аспект информации о компонентах предложения, который в современных синтаксических описаниях предложения отсутствует [11, с. 132—133]. В. А. Белошапкова исходит из убеждения, что новые понятия структурной схемы и семантической структуры предложения не отменяют учения о членах предложения, а дают для его построения новые основания [12]. Задачу сегодняшнего синтаксиса В. А. Белошапкова видит в том, чтобы на основе традиционной идеи создать учение о членах предложения, отражающее современный уровень знаний об устройстве предложения.

В предложенном В. А. Белошапковой варианте такого учения [11, с. 133, 144] разграничены члены, входящие в предикативную основу предложения (главные) и не входящие в нее (неглавные). Неглавные члены в свою очередь делятся на две группы в зависимости от их вхождения/невхождения в номинативный минимум предложения. Нам представляется, что в свете новых данных эта схема может быть несколько видоизменена и детализирована. В дальнейшем, надо думать, появятся более конструктивные и стабильные решения, чем наше, но и промежуточные рабочие схемы, помогающие продвигаться по пути их усовершенствования, могут оказаться небесполезными. В этом ракурсе мы и рассматриваем предлагаемую ниже классификацию членов предложения.

Первым делением членов предложения является обоснованное В. А. Белошапковой деление на члены, входящие в структурную схему предложения (обозначим это множество цифрой I), и члены, не входящие в структурную схему предложения (множество II).

Структурная схема, понимаемая в свете исследований Г. А. Золотовой как непременно двусоставная, базирующаяся на двух главных членах, соответственно предполагает деление входящих в нее членов на выражающие субъектное значение, субъективы (подмножество I 1) и выражающие предикатное значение, предикативы (подмножество I 2).

Предикативное отношение — это всегда отношение между двумя членами независимо от того, имеет ли субъектный член словесное выражение. Предикат всегда приписывается субъекту мысли, хотя бы этот субъект представлял собой восприятие окружающей среды (*Темно или Душно*), и для конкретного предикативного отношения не все равно, каким будет этот субъект (см. об этом подробнее [13]).

В состав субъективов входят подлежащее, субъектный генитив, субъектный датив, субъектный инструментатив и другие возможные в этой позиции словоформы. Среди предикативов главное место занимает глагольное сказуемое (всегда соотносимое с подлежащим). Сюда же относятся другие предикативы: предикативные наречия, инфинитивы и другие.

Члены, не входящие в структурную схему (II), различаются в зависимости от того, входят ли они в позиционную схему предложения, которая

является распространением структурной схемы (подмножество II 1), или не входят в нее, занимая место внутри члена предложения (подмножество II 2).

В позиционную схему входят позиции семантических актантов действия — дополнения (II 1 1) и позиции семантических ситуантов действия — обстоятельства (II 1 2). В позиционную схему не входят приименные определители — определения (II 2 1) и некоторые определители глаголов и других предикативов, обычно выраженные наречиями на *-о*, *-е* (II 2 2). Определения и глагольные определители входят в состав тех членов предложения, которые выражаются определяемыми именами и глаголами.

Дополнения допускают дальнейшее деление на прямое дополнение, выраженное винительным падежом существительного, и косвенные дополнения, которые обозначают лиц и предметы, участвующие в действии чаще всего в ролях адресата, соучастника действия, орудия или средства действия. Косвенные дополнения выражаются косвенными падежами имен. Деление обстоятельств общеизвестно: обстоятельства места, времени, цели, причины и др.

Таким образом, получается следующая схема классификации членов предложения:

I. Члены предложения, входящие в структурную схему предложения.
- I 1. Субъективы
  - I 1 1. Подлежащее
  - I 1 2. Субъектный датив
  - I 1 3. Субъектный генитив
  - I 1 4. Субъектный инструментатив и т. д.
- I 2. Предикативы
  - I 2 1. Сказуемое.
  - I 2 2. Предикативное наречие
  - I 2 3. Инфинитив и т. д.

II. Члены предложения, не входящие в структурную схему предложения.
- II 1. Второстепенные члены, входящие в позиционную схему предложения.
  - II 1 1. Дополнения
    - II 1 1 1. Прямое дополнение
    - II 1 1 2. Косвенные дополнения
  - II 1 2. Обстоятельства
    - II 1 2 1. Обстоятельство места
    - II 1 2 2. Обстоятельство времени
    - II 1 2 3. Обстоятельство причины и другие
- II 2. Второстепенные члены, не входящие в позиционную схему предложения
  - II 2 1. Определения
  - II 2 2. Глагольные определители и др.

Полученная схема полнее традиционной, имеющей пять разрядов. Подлежащее и сказуемое являются частным случаем выражения главных членов предложения, несколько изменился состав обстоятельств в пользу категории глагольных определителей. Вместе с тем все краеугольные камни традиционного учения о членах предложения остаются на своих местах.

В предложенной схеме не выделены детерминирующие члены предложения, разработка которых в последние десятилетия дала много стимулов и материалов для углубления синтаксического учения.

Категория детерминантов, введенная в русистику Н. Ю. Шведовой, развивалась во многих работах последних лет. В ходе изучения детерминантов были выявлены различные субъективы. Много нового было обнаружено при наблюдениях за второстепенными членами, вводимыми в позиционную схему высказывания не на основе распространения одного из членов этой схемы, а на основе осложнения схемы в целом. В работах В. П. Малащенко обосновано разграничение детерминирующих членов на две группы: на конструктивно обязательные и факультативные [14, 15]. В Грамматике-80 раздел детерминирующих членов содержит три группы:

1) субъектные детерминанты, 2) объектные и объектно-обстоятельственные, 3) обстоятельственные детерминанты [8, с. 150—163].

Субъектные детерминанты в основном совмещаются с группой субъективов, выраженных косвенными падежными и предложно-падежными формами. Обстоятельственные детерминанты были подробно интерпретированы Т. П. Ломтевым как члены предложения, находящиеся во вторичных отношениях с основной частью предложения, образующихся через некоторое скрытое отношение, репрезентируемое глаголом. Т. П. Ломтев различал синтаксические отношения между словами первичные, непосредственные, если они выражают одно отношение между предметами (*Студент читает газеты*; *Студент сидит в парке*), и отношения вторичные, опосредованные, если они выражают одно отношение на основе другого, скрытого отношения между некоторыми предметами. Так, в предложении *Студент читает газету в парке* компонент *в парке* связан вторичным отношением с «предметом» *студент* благодаря скрытому, не вербализованному компоненту *сидит* или *находится* [16]. Такая обстоятельственная детерминация является способом введения члена предложения в позиционную схему, однако особого класса членов предложения она не образует. Введенный с помощью вторичного отношения член остается обстоятельством места, нового позиционного смысла он не несет.

Таким образом, детерминирующие обстоятельства имеют особенности в способе синтаксической связи с позиционной схемой предложения, в которое они входят не через распространение структурной схемы данного предложения, а через контаминацию данной структурной схемы с другой структурной схемой, главные члены которой остаются не выраженными ввиду их полной ясности. Не случайно значения детерминирующих обстоятельств полностью совпадают со значениями придаточных обстоятельственных частей сложного предложения (времени, места, причины, цели, условия, уступки, сопутствующего состояния и некот. др.; см. об этом также [17, 18]). Отличаясь от членов предложения первичной связи, детерминирующие обстоятельства, введенные с помощью вторичной связи, расширяют возможности обстоятельственной характеристики действия, но не меняют природы обстоятельства как второстепенного члена предложения.

Среди объектных обстоятельств, выделенных в Грамматике-80, находим разные случаи выражения субъекта мысли, некоординированные с обозначениями предиката мысли, т. е. такие случаи, которые освещаются в литературе как соотношение топика и комментария. Ср., например: *Обо мне — наплевать*, *О себе — мне все равно*. Здесь же есть примеры с субъективами: *С детьми много забот*, *С огородом масса возни*; с обстоятельственными детерминантами, имеющими особенности лексического выражения, свойственные разговорной речи: *Для театров не остается времени* (т. е. для посещения театров — обстоятельство цели); *На его смерти я понял, что он затеял глупое дело* (т. е. на обстоятельствах его смерти или исходя из обстоятельств его смерти — обстоятельство условия действия).

В некоторых примерах Грамматики-80 мы видим обычные дополнения, но выдвинутые на первое место в предложении в силу особенностей актуального членения высказывания: *О деньгах нет ни слова*; *О письме/насчет письма/относительно письма мне ничего не известно*; *Сыну/для сына он хочет только добра*. При изменении порядка слов хорошо видно, что здесь обычные, зависимые от предиката дополнения: *Нет ни слова о деньгах*; *Мне ничего не известно о письме*; *Он хочет только добра для сына*. Без выдвинутого вперед объекта, несущего тему высказывания, оставшаяся часть не представляет конструктивно завершенного целого. Ср.: *нет ни слова* (о чем, от кого?); *мне совестно* (перед кем, от чего?); *мне ничего не известно* (о чем?); *он хочет только добра* (кому?). Выдвинутый вперед объект связан первичной синтаксической связью с предикатом структурной схемы данного предложения и является членом его позиционной схемы. Но он несет тему высказывания и потому поставлен на первое место. Впрочем, среди примеров есть и такие, в которых объект стоит не на первом

месте: *Мне совестно перед соседями*; *Стыдно перед товарищами/товарищей*; *Стыдно было ребят*; *Уже сейчас страшно стало своего скорого одиночества.*

Какого-либо единства по своим семантическим и формальным признакам эта группа детерминирующих членов, на наш взгляд, не составляет. В ней, однако, богато представлены нестандартные синтаксические построения, требующие дальнейшего изучения.

Таким образом, детерминанты не занимают в схеме членов предложения особого места. Они распределяются между субъективами и обстоятельствами. В части примеров можно видеть топики, рассмотрение которых выходит за рамки учения о членах предложения и относится к общей теории построения высказывания.

Детализированная схема членов предложения позволяет выполнять грамматический анализ предложений неклассической схемы, в которой отсутствуют подлежащее и сказуемое, более уверенно.

Так, в предложении *В комнате не было ни души* (А. П. Чехов, Каштанка) находим обстоятельство места (*в комнате*), предикатив (*не было*), субъектив (*ни души*). В предложении *А Никите и в самом деле спать пора* (Е. Чарушин, Перепелка) видим субъектив (*Никите*), модальный определитель предикатива (*в самом деле*) и предикатив (*спать пора*). В предложении *В комнате было тихо, темно и очень душно* (А. П. Чехов, Каштанка) — субъектив (*в комнате*) и три предикатива (*тихо, темно, душно*), один определитель (*очень*).

Требуют внимания предложения с некоординированными главными членами, относительно которых следует продумать категории топика и комментария. Например, предложение *Но только уложить его трудно* (Е. Чарушин, Перепелка) может быть осмыслено как состоящее из топика (*уложить его*) и комментария (*трудно*). Вообще в изучении неклассических предложений предстоит еще преодолеть немало трудностей.

Что же касается предложений, отвечающих классической подлежащно-сказуемостной структуре, то квалификация их членов остается практически стабильной. Предложение *Летом мы переехали жить на дачу* (Е. Чарушин, Перепелка) состоит из обстоятельства времени (*летом*), подлежащего (*мы*), сказуемого (*переехали*), обстоятельства цели (*жить*) и обстоятельства места (*на дачу*). Обстоятельство времени в этом предложении является детерминирующим.

Позиционная схема предложения *Несколько раз над балконом бесшумно проносилась тень маленькой ночной хищницы — птицы неясыти...* (П. Проскурин, Полуденные сны) такая: обстоятельство меры, обстоятельство места, сказуемое с глагольным определителем, подлежащее с определениями и приложением.

Так, казалось бы, можно на нынешнем этапе развития синтаксической теории соотнести ее новые достижения с ее классическими основаниями.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Попов А. С.* Подлежащее и сказуемое в структуре простого предложения современного русского литературного языка. Пермь, 1974.
2. *Акулова К. П.* Разграничение членов предложения в современном немецком языке. Л., 1971.
3. *Шмелев Д. Н.* Синтаксическое членение высказывания в современном русском языке. М., 1976.
4. *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.
5. *Кириллова Т. С.* Грамматическая и семантическая структура двусоставных предложений с осложненным именным сказуемым: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1983.
6. Русская разговорная речь. М., 1973.
7. *Ли Ч. Н., Томпсон С. А.* Подлежащее и топик: новая типология языков.— В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М., 1982.
8. Русская грамматика. Т. II. М., 1980.
9. *Егорова Е. Б.* О принципах разграничения приименного дополнения и несогласованного определения.— РЯШ, 1982, № 5.
10. *Распопов И. П.* К методике грамматического разбора по членам предложения.— В кн.: Школьная и научная грамматика. Воронеж, 1979.
11. *Белошапкова В. А.* Современный русский язык. Синтаксис. М., 1977.

12. *Белошапкова В. А.* К вопросу о членах предложения. В кн.: Материалы семинара по теоретическим проблемам синтаксиса. I. Пермь, 1975.
13. *Попова З. Д.* Опыт компонентного анализа категории предикативности.— В кн.: Исследования по исторической семантике. Калининград, 1980.
14. *Малащенко В. П.* Свободное присоединение предложно-падежных форм в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1972.
15. *Малащенко В. П.* О конструктивной обязательности и факультативности детерминантов.— В кн.: Вопросы синтаксиса русского языка. Ростов-на-Дону, 1978.
16. *Ломтев Т. П.* Структура предложения в современном русском языке. М., 1979, с. 103.
17. *Тон Тхат Хап.* Разнородные детерминантные группы с обстоятельственным значением в двусоставных предложениях.— РЯШ, 1976, № 2, с. 86.
18. *Шуляк Л. И.* Детерминирующие обстоятельства, выраженные наречиями, в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ШЕЛОВ С. Д.

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ

(К проблеме классификации специальной лексики)

Проблема классификации лексического состава языка всегда занимала видное место в лингвистических исследованиях. Это объясняется и ролью слова в системе языка в целом, многообразием и сложностью связей слова с другими языковыми единицами и разнообразием внутри- и внеязыковых характеристик самого слова как такового. Полифункциональность лексических единиц, неуловимость переходов от одного лексического класса к другому, с одной стороны, и глубокая связь классификации слова с важнейшими задачами теории языка, с другой,— вызывают существование «вечных вопросов» классификации словарного состава языка: таковы проблемы частей речи, стилистической дифференциации слов и т. п.

Значительный интерес вызывает и описание структуры и основных классов специальной лексики и, в частности, терминологии.

На первый взгляд, провести классификационные границы в области общеязыковой лексики, используемой в самых различных видах общения, объективно труднее, чем установить важнейшие классы лексических единиц, явно ориентированных на один вид коммуникации. С этой точки зрения членение лексики, обслуживающей преимущественно профессиональные сферы общения (т. е. лексики семантически и коммуникативно, безусловно, более однородной, чем общая, неспециальная лексика), казалось бы, не должно вызывать больших разногласий. Между тем выясняется, что выделение основных классов специальной лексики сопряжено со значительными трудностями и, как следствие этого, с большим разнообразием точек зрения на этот вопрос.

В настоящей статье рассматривается только один аспект членения лексики, употребляемой преимущественно в науке, технике, ремеслах, других сферах общения. Языковедческие исследования обычно квалифицируют ее как специальную; в общих толковых словарях она снабжается либо пометой, непосредственно называющей соответствующую тематическую сферу (ср., «юрид.», «биол.», «хим.», «полигр.», «спорт.» и т. п.), либо более общей пометой «спец.». Следуя этой традиции, мы также будем называть ее специальной, а основное внимание уделим соотношению «профессиональная лексика — терминология», существующему в рамках этого многочисленного класса языковых единиц. Принципиальными в принятом изложении являются вопросы о совпадении или несовпадении класса профессиональной лексики с классом терминов. Если это один и тот же языковой материал, то как объяснить устойчивую традицию различения профессиональной лексики, с одной стороны, и терминологии, с другой? Если классы соответствующих слов и словосочетаний не совпадают, то имеется ли у них общая часть и каковы ее границы? В случае несовпадения этих классов возникает также вопрос о том, какие единицы могут быть отнесены только к терминологии, а какие — исключительно к профессиональной лексике [1].

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы будем привлекать к изучению два вида материалов. Во-первых, это прямые высказывания исследовате-

[1] Придерживаясь этой проблематики, в данной работе мы стремимся не затрагивать другие, более общие и спорные вопросы о языковой природе термина.

лей о соотношении между профессиональной лексикой и терминологией. Во-вторых, это работы, которые, не ставя своей прямой целью описать отношения между анализируемыми классами слов, так или иначе, иллюстрируют понятия «профессиональная лексика» и «терминология». Историографическая часть статьи ни в коей мере не претендует на полноту, а лишь пытается наметить основные, наиболее принятые точки зрения.

Одно из распространенных мнений состоит в том, что профессиональная лексика и терминология — это совпадающие классы слов и словосочетаний. В пособии по лексикологии Н. М. Шанский, например, отмечает: «Профессионализмы обозначают специальные понятия, орудия или продукты труда, производственные процессы. Поэтому их называют иногда специальными словами или специальными т е р м и н а м и» [1] [2]. Далее автор в качестве примеров профессионализмов приводит несколько слов, которые с полным правом могут иллюстрировать и соответствующую терминологию, ср.: *скальпель* (из медицины), *шпон* (тонкая металлическая пластинка, не достигающая высоты шрифта, вставляемая между строками набора для увеличения расстояния между ними — из полиграфии), *шканцы* (часть верхней палубы военного корабля — из морского дела), *алиби* (из юриспруденции), *мездра* (из кожевенного производства) и т. п. Нерасчлененно, как однородный лексический пласт, рассматривается профессиональная лексика и терминология в ряде других работ [2—4]. О. С. Ахманова пишет: «...словарь отдельных социальных групп людей обычно включает... определенное количество специальной лексики, обусловленной специфическими п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и и другими интересами данной социальной группы. Так, например, языковед... непременно использует такие специальные слова, как *парадигма*, *фонема*, *словосочетание* и т. п.; математик — такие слова, как *сектор*, *дифференциал*, *уравнение*, *тяготение* и др.; астроном — такие, как *перигелий*, *протуберанцы*, *солнцестояние*.... При конкретном различии, обусловленном принадлежностью к разным областям знания, т е р м и н ы разных специальностей имеют общую стилистическую характеристику...» [4, с. 275—276].

Традиция объединения терминологической и профессиональной лексики в один разряд специальной лексики имеет серьезные основания. Специализация значения и образование на этой основе особых, отличных от общеязыковых лексико-семантических систем, ограничение и количества употребляющих данные языковые единицы в данном значении, и сферы их употребления — безусловно, общие черты профессиональной и терминологической лексики (при любом естественном их понимании). С этих позиций противопоставление «профессиональная лексика — терминология» выглядит как будто не всегда понятным. Интересно, что в обширной терминоведческой литературе вопрос о разграничении этих двух понятий, как правило, не возникает, напротив, в лингвистической литературе, отстаивающей термин «профессиональная лексика», авторы всегда считают необходимым указать дифференциальные признаки этого понятия, в первую очередь специально оговаривая его несовпадение с понятием терминологии. Во всяком случае, приведенные примеры, которые легко можно было бы умножить, свидетельствуют о том, что терминология и профессиональная лексика имеют значительную часть общих единиц — слов и словосочетаний. Используя понятия теории множеств, можно было бы сказать, что эти два множества пересекаются и это пересечение может насчитывать сотни тысяч элементов. Однако примеры, хотя бы даже очень многочисленные, оставляют открытым вопрос о том, имеются ли единицы, специфические только для терминологии, с одной стороны, и только для профессиональной лексики, с другой. Для его решения обратимся к тем исследованиям, в которых эти понятия трактуются по-разному.

Такой подход представлен, например, в работе М. Д. Степановой и И. И. Чернышевой, по мнению которых «профессиональный словарь по своему составу связан, в основном, с архаической лексикой старых

---

[2] Здесь и далее все выделения в цитатах сделаны нами.— *Ш. С.*

ремесел и специальных занятий, возникших в различные периоды позднего средневековья» [5, с. 216]. Еще более определенно высказывается В. Н. Портянникова: «Терминология — это специальная лексика современной науки и техники. Профессиональная лексика — это лексика, развившаяся и достигшая расцвета в период ремесленного производства...» [6]. В числе занятий, вызывающих к жизни профессиональную лексику (в этом ее понимании) называют плотницкое дело, морское дело, горнорудный промысел; часто сюда добавляется охота, рыболовство. Полный перечень областей трудовой деятельности, имеющих развитую профессиональную лексику (но не терминологию!), установить не удается, но общим моментом в работах этого направления является признание древности соответствующих занятий. Большую роль в формировании взгляда на профессиональную лексику как на архаическую лексику старых ремесел и специальных занятий сыграл Ф. Клуге (1856—1926), изучавший специальную лексику немецкого языка периода феодальной раздробленности Германии. В этой связи и термин «профессиональная лексика» приобретает целый ряд социально-исторических ассоциаций, вызванных цеховой замкнутостью и ограниченностью производства при феодализме. В частности, отмечается, что «развитие крупного машинного производства, новой техники, естественно, должно было сузить сферу профессиональных говоров» [5, с. 216], привести к вытеснению профессиональной лексики терминологией. В области судоходства и морского дела этот процесс весьма образно описывал Ф. Клуге [7].

Связь профессиональной специализации лексики с закономерностями социально-исторического развития общества широко обсуждалась в отечественной литературе. Социальные характеристики слов, обозначающие профессиональные понятия, в период, предшествующий образованию национальных государств и формированию национальных языков, и слов той же группы в период развитых национальных языков не могут не быть глубоко различны. Изучение истории профессиональной и терминологической лексики, степени ее распространенности, фиксации в письменных источниках, литературной обработанности на фоне истории и трудовой жизни народа имеет богатые традиции. С этой точки зрения сложившаяся оппозиция «профессиональная лексика — терминология» безусловно заслуживает рассмотрения.

Попытаемся оценить введенное разграничение сначала с точки зрения языковой синхронии. В самом деле, имеются ли внутриязыковые характеристики, отличающие при таком подходе профессиональную лексику от терминологии? В качестве такой характеристики иногда называют бóльшую образность профессиональной лексики (обусловленную метафоричностью принятых в ней обозначений), бóльшую ее «фольклорность». Как примеры приводят названия частей тела животных в охотничьем лексиконе типа нем. *die Blume* («цветок» —> «хвост зайца»), *die Fahne* («флаг» —> «хвост белки»), *die Rute* («прут» —> «хвост собаки», «хвост волка»)[3]; названия различных частей корабля типа нем. *der Bauch*, *die Nase* и т. п. [5, с. 216]. Однако исследования показывают, что процесс метафорического (как и метонимического) переноса охватывает различные разряды слов и словосочетаний профессиональной сферы употребления. К ним относятся и распространенные в технике термины типа *колено*, *лапа*, *шейка*, *хомут*, *клык*[4], процесс этот охватывает и названия вполне современных и новейших областей знаний, и вряд ли имеются основания не считать лексику этих дисциплин терминами: ср., например, *петля*, *ребро*, *колесо* (в теории графов) или *вилка репликации*, *нить веретена*, *отшнуровывание* (в генетике).

---

[3] Ср. аналогичные явления в русском охотничьем лексиконе: *цветок*, *труба* и т.п. [8, с. 114]. Разнообразные сведения об охотничьей лексике собраны в работе И. Лоренца с характерным названием «Русская охотничья терминология» [9].

[4] Можно спорить о наличии или отсутствии эмоционально-экспрессивных элементов в значении этих единиц, их образности, но их принадлежность к терминологии как будто не вызывает сомнений (см., например, работу А. А. Реформатского [8, с. 111]).

Столь же сомнительным оказывается и следующий критерий разграничения, который предположительно выдвигают некоторые исследователи: бóльшая точность терминологической лексики — меньшая точность профессиональной лексики [10, с. 130; 11, с. 140]. Нетрудно привести случаи, когда дело обстоит скорее наоборот: весьма точные обозначения, возникшие в сфере традиционных трудовых занятий человечества, и очень неточные, расплывчатые, требующие развернутых пояснений номинации в современной науке. Так, названия разновидностей рубанка в плотницком деле, которые часто приводят в качестве профессиональной, но не терминологической лексики (*наструг*, *горбач*, *дорожник*, *зензубель* и т. п.) гораздо определеннее и точнее в своей конкретности, чем общенаучные термины типа *модель*, *система*, *структура* или *научная парадигма*, *теоретический термин*, *эмпирический термин* в исследованиях по методологии науки или *глубинная синтаксическая структура*, *поверхностная синтаксическая структура* в языкознании. Такие факты, разумеется, не следует ставить в упрек соответствующим областям знаний: различная лексика может отражать совершенно различный уровень обобщения в процессе познания. Но они делают весьма проблематичным выделение с указанных позиций тех сфер производственной и научной деятельности, которые ориентируются только или преимущественно на профессиональную лексику, и тех сфер, которые используют терминологию.

Много неясных моментов оставляет обсуждаемое противопоставление и с точки зрения языковой диахронии.

Квалификация специальной лексики как «профессиональной», но не «терминологической», на наш взгляд, разделяет исторически преемственный и развивающийся пласт специальной лексики на два хронологически несопоставимых класса наименований — профессионализмов, с одной стороны, и терминов, с другой. Бесспорно, что «территориальная раздробленность мелкого товарного производства,— как отмечает В. М. Жирмунский,— придает профессиональной терминологии ярко выраженный местный, региональный характер» [12, с. 107]. Бесспорно также значение этого факта для сравнения специальной лексики в историческом прошлом и в наши дни. Однако является ли это обстоятельство достаточным основанием для проведения демаркационной линии между профессиональной лексикой и терминологией? Ведь назначение и той, и другой остается общим — обозначение специальных предметов и понятий, связанных с производственной деятельностью. В связи с этим не является ли предпринятое разграничение лишь переформулировкой вопроса о древности того или иного профессионального (а вместе с тем и терминологического!) пласта лексики? Но тогда именно признание языковой общности обозначения и в глубокой древности, и в наши дни специальных понятий ремесел и производств, общественных занятий и областей знания (а также закрепление этого признания соответствующей номинацией) позволяет естественно, без терминологических недоразумений говорить об историческом развитии специальной лексики. В этом случае отпадает и «неразрешимый» вопрос о том, какие именно ремесла и занятия исторического прошлого обслуживались профессиональной лексикой, а какие — терминологией: он трансформируется в сложный, но разрешимый с помощью исторических и языковых данных вопрос об истории формирования терминологической (а вместе с тем и профессиональной) лексики и определении на основании этих данных древнейших терминологических единиц и терминологий.

Более правомерной поэтому представляется нам другая устойчивая традиция — традиция называть древнейшие специальные наименования, касающиеся трудовой и производственной деятельности, терминами и говорить о соответствующей терминологии. В русле такого словоупотребления лежат, в частности, многочисленные исследования лексики ремесел, которая вполне привычно называется «профессиональная лексика», «профессиональная терминология» и просто «терминология». Монография О. Н. Трубачева «Ремесленная терминология в славянских языках»

содержит, например, исследование более тысячи терминов, связанных с древнейшими производственными процессами у славян [13]. Вот лишь немногие термины русского языка из области традиционного прядения и ткачества: *мяло*, *кострика*, *треста*, *трепало*, *мыкать*, *куделя*, *чесать*, *бёрдо*, *веретено*, *сучить*, *мотовило*, *клубок*. Реконструкция многих из этих терминов относит их к глубокой, праславянской древности [13, с. 46—142]. Для настоящей статьи особенно актуальны исторические данные, которые ставят под сомнение положение о том, что профессиональная лексика более архаична, чем терминологическая (как это может показаться, если принять обсуждаемую оппозицию «профессиональная лексика — терминология»).

Этапу ремесленного труда, связанному с производством на заказ, как известно, предшествует длительный период натурального хозяйства и материального обслуживания нужд отдельной семьи. Б. А. Рыбаков, изучая производственные процессы в русской деревне, пишет в этой связи: «Вплоть до XIX в. почти каждая крестьянская семья своими силами рубила избу, ладила соху, борону, ставила ткацкий стан, дубила овчины, пряла и ткала лен, изготавливала деревянную мебель и утварь» [14, с. 182]. Говоря о ткачестве в русской деревне X—XIII вв., Б. А. Рыбаков подчеркивает: «Несмотря на сравнительно высокий уровень развития ткацкого дела в деревне (цветные узорные ткани, вышивка), у нас нет данных предполагать превращение его в ремесло» [14, с. 188]. Важность доремесленного этапа производства акцентирует в упомянутой работе и О. Н. Трубачев: «Так вырисовывается еще одна важная особенность древнего, а также вообще традиционного текстильного народного производства — его стойкий, домашний характер, содействовавший тому, что, например, ткачество стало поздно ремеслом в подлинном смысле» [13, с. 7]. В то же время бесспорно, что существование соответствующих внеязыковых реалий — орудий труда, производственных процессов и т. п.— вызывало к жизни и соответствующие специальные обозначения. Этот факт подтверждается и историческими источниками, и методами сравнительно-исторического языкознания. Отсюда в свою очередь следует, что специальная лексика трудовой деятельности часто предшествует специализации и профессионализации труда, во всяком случае, необходимых для приобретения этой трудовой деятельностью ремесленного характера. В этом смысле термины как специальные, тематически ограниченные обозначения оказываются не новее, а, напротив, древнее профессиональной лексики, если иметь в виду прямое значение этих слов: лексика (той или иной) профессии. Таким образом, представление о более архаическом характере профессиональной лексики по сравнению с терминологической оказывается весьма уязвимым.

Впрочем, этот краткий экскурс мы предприняли только для того, чтобы выяснить возможные историко-лингвистические последствия оппозиции «профессиональная лексика — терминология», если настаивать на ее значимости. Реальное же употребление терминов «профессиональная лексика» и «термин, терминология» свидетельствует, что эта оппозиция не принята в сочинениях исторической и этнографической тематики.

Показательно в этой связи словоупотребление этих терминов и в лингвистической литературе, при котором они легко и часто синонимизируются. Часто цитируется, например, толкование профессиональной лексики В. М. Жирмунским, приведенное в работе «Национальный язык и социальные диалекты»: «С этим (с профессиональной специализацией.— *Ш. С.*) связано развитие дифференцированной профессиональной лексики, языков „ремесел и промыслов", которыми пользуются только представители данной профессии. Сюда относятся названия для орудий производства... названия трудовых процессов... технические термины, относящиеся к различным сортам сырья... профессиональные выражения, характеризующие общественную организацию данной отрасли производства: одним словом — вся техническая и профессионально-общественная терминология, спе-

цифическая для определенной сферы трудовой деятельности человека» [12, с. 107]. Характеризуя профессиональную лексику, Жирмунский отмечает: «...обращает на себя внимание крайняя дифференцированность специальной терминологии» [12, с. 110]. В цитируемой работе, насколько нам удалось установить, вообще нет разграничения профессиональной лексики и терминов. Термин «профессиональная лексика» используется В. М. Жирмунским либо как термин более широкий, чем термин «терминология» (ср. приведенную цитату), либо как синонимичный ему [5].

В известном учебнике по языковедению для вузов А. А. Реформатского, много занимавшегося проблемами терминологии, одни и те же примеры специальной лексики могут трактоваться и как термины, и как профессионализмы, причем эти примеры взяты из области столярного дела (*разделать под орех*, *ни сучка*, *ни задоринки*), охоты (*цветок* — «хвост зайца»), собаководства (*скамья* — «спина борзой») [8, с. 110—128].

В целом анализ употребления терминов «профессиональная лексика» и «терминология» в советской лингвистической литературе свидетельствует о том, что их различение с тех позиций, которые обсуждались выше, по-видимому, не получило широкого распространения. Кроме уже сказанного, приведем в доказательство этого положения, например, заглавия нескольких диссертационных работ: «Древнеанглийская ремесленная терминология», «Способ номинации в сельскохозяйственной терминологии», «Семантика термина как члена общелитературной лексики (на материале английской морской терминологии)», «Русская судоходная терминология в историческом аспекте» [6]. Трудности разграничения профессиональной и терминологической лексики с указанных позиций подтверждает и использование в некоторых работах сочетания «профессионально-терминологическая лексика» [16].

Таким образом, обсуждаемое противопоставление, с нашей точки зрения, не выделяет внутриязыковых различий между этими классами слов и словосочетаний. Оно имеет смысл только для социолингвистической характеристики лексики определенной исторической эпохи — характеристики, не всегда отражающей преемственность исторического развития этого типа наименований, в связи с чем и сфера применения этого противопоставления остается весьма ограниченной.

Другая линия размежевания терминологии и профессиональной лексики намечена в работах А. В. Калинина [11], В. Н. Прохоровой [17], Н. И. Фоминой [18], В. Н. Сергеева [19], Н. Н. Медведевой [20], и проявляется она как противопоставление терминов профессионализмам. При этом, правда, обнаруживается, что профессионализмы составляют лишь часть профессиональной лексики; и все же, принимая это противопоставление, мы могли бы констатировать, что некоторая часть профессиональной лексики — например, профессионализмы [7] — никогда не совпадает с терминологией. Это само по себе служит достаточным основанием для различения профессиональной лексики и терминологии и заставляет нас обратиться к соответствующей оппозиции.

---

[5] В пособии по лексикологии [10] отдельные высказывания В. М. Жирмунского в общем контексте изложения вопроса о профессиональной лексике и о терминах предстают как принятие им соответствующей дихотомии (введенной, возможно, Ф. Клуге). В свете сказанного мы не можем согласиться с такой интерпретацией взглядов В.М.Жирмунского. По поводу этого противопоставления он пишет только следующее: «Об этом (о потеснении профессиональной лексики терминологией.— *Ш. С.*) свидетельствует, например, проф. Ф. Клуге, известный исследователь немецких профессиональных „языков", с характерной для романтического народничества оценкой совершающегося в языке переворота...» (и далее цитата из Ф. Клуге) [12, с. 109].

[6] Последнее является заглавием докторской диссертации Б. Л. Богородского; интересно сравнить его с первой фразой автореферата этой же работы: «Изучать профессиональную лексику (sic! — *Ш. С.*) важно и с практической и с теоретической точек зрения» [15, с. 3].

[7] Таким образом, термин «профессионализм» оказывается многозначным. Его первое, более широкое значение определяется О. С. Ахмановой как «слово или выражение, свойственное речи данной профессиональной группы» [21]. Второе, более узкое значение рассматривается далее.

Решающим в соотношении «термины — профессионализмы» предстает фактор «официальности», «узаконенности» первых и «неофициальности» («полуофициальности»), «неузаконенности» вторых. Вполне определенно эта мысль проводится А. В. Калининым: «Разница между термином и профессионализмом заключается в том, что термин — это совершенно официальное, принятое и узаконенное в данной науке, отрасли промышленности, в сельском хозяйстве, технике обозначение, название какого-то понятия, а профессионализм — полуофициальное слово, распространенное (чаще в разговорной речи) среди людей какой-то профессии, специальности, но не являющееся, в сущности говоря, строгим, научным обозначением понятия» [11, с. 140]. Говоря о профессионализмах, тот же автор обращается к специальной лексике полиграфии и корректорского дела и приводит в качестве примеров *висячая строка*, *вожжи*, *коридор*, *осадить марашку*, *форточка* и т. п. При этом подчеркивается, что в одном из справочных изданий, куда включены эти единицы, они лексикографически оформлены кавычками, что является подтверждением их квалификации как профессионализмов, но не терминов: «Кавычки как раз и подчеркивают, что слово еще „не дотянулось“ до термина» [11, с. 141]. Интересно отметить, что также отмечаются кавычками специальные лексические единицы, которые не воспринимаются как полноценные термины, и в ряде других справочно-энциклопедических изданий. Так, в многоязычном словаре терминов по физической географии в кавычках приведены сочетания *кроткая вода* («период смены приливных течений на отливные»), *алмазная пыль* («мельчайшие кристаллы льда,... осажденные из чистого воздуха при очень низкой температуре»), *бараньи лбы* («округлые выступы склонов или невысокие холмы овальных очертаний») [см. 22].

В целом аналогичная трактовка этих явлений предложена В. Н. Прохоровой в словарной статье «Профессионализм» энциклопедии «Русский язык», где в качестве примеров приведены *ляп* («опечатка» в речи газетчиков), *баранка* («руль; рулевое колесо» в речи шоферов), *кастрюля* («синхрофазотрон» у физиков) [8]. При таком подходе термины и профессионализмы, получая тождественную или близкую семантическую характеристику, могут резко различаться узусом, ориентацией на сферу употребления. Наиболее ярко эта картина наблюдается при существовании коррелятивной пары, один член которой идентифицируется как термин, а другой — как профессионализм: ср. *опечатка — ляп*, *рулевое колесо — баранка*, *синхрофазотрон — кастрюля*.

Здесь рельефно выступают все особенности этой части профессиональной лексики: 1) большая или меньшая ненормированность употребления слова или словосочетания в данном его значении, 2) функционально-стилевая ограниченность употребления и 3) наличие эмоционально-экспрессивных коннотаций.

Все три характеристики профессионализмов тесно связаны, но, пожалуй, наиболее важными являются первые две (ибо существуют примеры, когда третья действует в очень ослабленном виде). Чрезвычайно важно, что речь идет о норме употребления социально значимых единиц, т. е. в какой-то мере уже принятых, установившихся, а не окказиональных. Объектом нормативного подхода оказывается, таким образом, не факт номинации (правильно или неправильно образован, построен данный знак), но факт употребления данного знака в данном значении и в данной ситуации общения[9]. Отсюда следует тесное взаимодействие нормативно-стилистических и собственно семантических аспектов функционирования подобных единиц. Это обусловливает и нежелательность употребления профессионализмов в стиле официальных документов и письменной научной прозы. Языковеды, изучающие специальную лексику этого типа, обычно едины в признании

[8] В статье отмечается и существование других точек зрения [17].

[9] Следует также иметь в виду, что профессиональная норма — явление чрезвычайно сложное и может не во всем повторять литературную норму (см. об этом работу В. П. Даниленко и Л. И. Скворцова [23]).

ее ориентации на устное общение и относят ее к элементам «разговорной речи», «устного варианта языка» и т. п. [18, 20]. Разговорный характер профессионализмов, подтверждая тезис об их функционально-стилевой ограниченности, в то же время противопоставляет их терминам, которые обычно относятся к лексике книжной.

Ограничение употребления профессионализмов разговорным стилем общения тесно связано с другой их характеристикой (возможно также, что оно есть прямое следствие этой характеристики). Речь идет об эмоциональности, экспрессивности этого типа специальной лексики, в связи с чем отмечают еще и его особую образность.

Понятия «эмоциональности», «экспрессивности», «образности» вряд ли устоялись в лингвистике настолько твердо, чтобы говорить об их общепринятости. Однако для целей настоящей работы этого и не требуется. Важно другое: в различном сочетании или в своей совокупности соответствующие свойства характеризуют профессиональную лексику как особый тип специальной лексики, отличной от терминологии. Отличие здесь заключается в существовании особого аспекта смыслового восприятия, который можно было бы назвать «динамическим» и который отсутствует у терминов. Этот аспект обращен к внутренней форме слова (или словосочетания), к выбранному способу номинации. Он неизменно влечет осознание не только того, что обозначается, но и осознание того, как обозначается, что в свою очередь вызывает и соответствующие ассоциации. Так, англ. *coventrate* [«подвергать разрушительной бомбардировке с воздуха» (воен.)] вызывает образ Ковентри — английского города, подвергшегося варварской бомбардировке во Вторую мировую войну; англ. *bruiser* [«боксер-профессионал» (спорт.)] оценивается как яркая характеристика спортсмена-боксера: «тот, кто ставит синяки» — от англ. *bruise* («синяк, ставить синяки») [10].

Эмоционально-экспрессивная окрашенность подобных единиц часто определяется внеязыковыми факторами: отношением к соответствующим явлениям, денотатам, которые стоят за семантически производным и семантически производящим словом. Нередко внеязыковые и собственно языковые факторы переплетаются: говорящий оценивает не только денотаты, но и сам переход одного и того же имени на другой объект. Не всегда эта оценка той же степени интенсивности, что в приведенных выше примерах, не всегда смысловая аналогия столь прозрачна, но важно, что этот динамический аспект слова сохраняет свою силу. Для профессионализмов этот аспект их восприятия существует и действует в синхронии, для терминов он актуален только в диахронии: ср. термины *лопатка*, *коленная чашечка* (медицина), или *сошка*, *хомут*, *вилка*, *сухарь* как обозначения различных деталей и узлов в технике (например, *сошка рулевого управления*, *шток вилки выключения*, *блокировочный сухарь штока* в автоделе).

В то же время исчезновение «динамизма» у этой части профессиональных наименований и полная замена его семантической «статикой» терминов не есть одномоментный акт. Это может быть длительный, социально обусловленный процесс профессионального употребления и терминологического становления данного слова или словосочетания. Только когда употребление слова или словосочетания в специальном значении достигает известного автоматизма, который исключает ассоциации, выданные внутренней формой, только когда этот процесс достаточно широко охватил специалистов соответствующей области и получил отражение в социально-языковой практике устного и письменного общения,— только тогда, по-видимому, можно говорить в полной мере о термине с присущей ему стилистической нейтральностью, отсутствием экспрессивности и эмоциональности. Отсюда неизбежно следует известная относительность противопоставления «эмоциональность — неэмоциональность», продиктованная степенью терминологического, внеассоциативного освое-

[10] Эта лексика, получающая пометы «проф.» в Большом англо-русском словаре под ред. И. Р. Гальперина (М., 1977), послужила материалом изучения для Н. Н. Медведевой [20].

ния языковых единиц. Можно согласиться с В. Н. Прохоровой, когда она настаивает на том, что раз есть внутренняя форма слова (реализуемая посредством метафоры, метонимии, образа), то есть и эмоциональность [24]. Но не следует забывать, что сама внутренняя форма небезразлична к языковому узусу, к степени освоения слова или словосочетания в данном его новом значении. Именно с этих позиций следует, на наш взгляд, подходить к таким использованным ею примерам, как *старение* (*динамита*), *жандарм* («крутой скальный выступ»), *собачка* (*спускового механизма*), *лопатка*, *коленная чашечка*. Последние два примера, на наш взгляд, иллюстрируют случаи терминологически устоявшегося словоупотребления в медицине, когда степень эмоциональности, вопреки мнению автора, равна или близка к нулю. В других примерах это, возможно, и не так, но в той мере, в какой внутренняя мотивация значения (а с нею и образность, и эмоциональность) сохраняется, в той же мере соответствующие единицы дальше от терминологии (ср. в особенности *жандарм*). Близкая точка зрения по этому вопросу высказывалась В. П. Петушковым [25]. Именно постепенностью процесса терминологизации, исчезновения всех эмоциональных коннотаций и существованием промежуточных случаев во многом объясняется, по-видимому, длительная научная полемика по вопросу о существовании / несуществовании эмоционально окрашенных терминов [26—28].

Итак, имея в виду известную градуальность всех выделенных критериев, можно наметить следующую оппозицию между профессионализмами и терминами: а) большее или меньшее отклонение от нормы профессионального употребления — соответствие норме профессионального употребления, б) ограниченность разговорным стилем — неограниченность разговорным стилем, в) присутствие эмоционально-экспрессивных коннотаций и образности — отсутствие эмоционально-экспрессивных коннотаций и образности.

Такая характеристика этого слоя профессиональной лексики делает весьма правдоподобной гипотезу о том, что она является частью п р о ф е с с и о н а л ь н о г о п р о с т о р е ч и я или промежуточного между профессиональным просторечием и собственно терминологией лексического класса [11]. Отчасти эта мысль выражена в уже упомянутой словарной статье В. Н. Прохоровой: «П[рофессионализмы] выступают обычно как просторечные эквиваленты соответствующих по значению терминов»,— пишет автор [17, с. 240]. Профессионализмы как часть профессионального просторечия выражают специальные понятия и семантически близки к терминам, но не могут считаться полноправными терминами по причине нестандартного, отличного от нормы способа выражения этих понятий. Характерно, что в работах Д. С. Лихачева и Л. В. Успенского тридцатых годов аналогичный лексический материал квалифицируется как профессиональное арго [30 [12], 31]; бóльшее отклонение от нормы и бóльшая стилистическая сниженность характеризуют лексику, стоящую еще дальше от терминов — лексику профессионального жаргона (см. об этом [11, 20]). Наиболее отчетливо взаимоотношения между термином и профессионализмом выступают в синонимической паре, один член которой бесспорно является термином, а другой, не удовлетворяя требованиям нормы, принадлежит профессиональному просторечию. Когда терминологический эквивалент профессионализма отсутствует, сам профессионализм претендует на то, чтобы занять «смысловую нишу» и стать термином. Произойдет это на самом деле или нет, зависит от огромного разнообразия факторов профессионального словоупотребления, от устной и письменной практики профессионального общения. Таким образом, границы между терминологией и профессиональной лексикой очень подвижны и неопределенны не в силу «плохих» критериев их разграничения, но в силу подвижности и гибкости самого языкового узуса, в силу постоянного и сложного взаимодействия профессионального просторечия и профессиональной нормы.

[11] О профессиональном просторечии см., например, [28].

[12] Эта статья Д. С. Лихачева впервые была опубликована в 1964 г.

По-видимому, существует немало сфер профессиональной деятельности, лексика которых наряду с устоявшейся и соответствующей норме профессионального употребления терминологией содержит слова и словосочетания, занимающие промежуточное положение между собственно терминологией и профессиональным просторечием (ср. с понятием «полутерминов» («Halbtermini») в работе [32]).

Так, при описании русской культовой архитектуры, и в частности ее декора, могут использоваться лексемы типа *бусина*, *городки*, *дынька*, *бегунец* и т. п. Имея весьма специальное значение, единицы эти не вошли пока в архитектурный лексикон терминологически столь же твердо, как, скажем, названия других, конструктивно более важных частей церкви — *глава*, *барабан*, *закомара*, *кокошники*. (Характерно, что *бусина*, *городки* и т. п., оказываясь в тексте, часто берутся в кавычки, чего не бывает с терминами типа *глава*.) И здесь классификационные рамки профессионального просторечия, профессионализмов, по-видимому, уместны. Возвращаясь к приведенным примерам, мы можем заметить, что в подъязыке физической географии терминологизация единиц *ледниковый язык*, *ледяная крупа*, *крыло сброса*, по-видимому, уже совершилась: в упомянутом словаре терминов по физической географии они поданы без кавычек, как полноправные термины; в то же время сочетания *алмазная пыль*, *кроткая вода*, *бараньи лбы* оформлены здесь кавычками и их терминологизация, вероятнее всего, еще не закончена.

В этих примерах обычно прослеживается хотя бы частичная экспрессивность, образность профессионализмов. Существуют, по-видимому, и случаи, когда этот фактор не имеет самодовлеющего значения. Так, в среде археологов как своеобразные сокращения терминов *каменный век*, *бронзовый век*, *железный век* используются *камень*, *бронза*, *железо* (в выражениях типа *он специалист по бронзе*). Подобные слова, безусловно, следует отнести к профессиональному просторечию: корреляции вида *каменный век — камень* при устоявшейся терминологичности выражения *каменный век* вполне позволяют дать им такую квалификацию. Также в археологии встречаются как будто лишенные особой эмоциональности и экспрессивности слова и словосочетания *запáдина* («углубление в почве на месте древней землянки или полуземлянки»), *дневная поверхность* («поверхность почвы на данный период времени»), *погребённая почва* («почва, лежащая под искусственной насыпью кургана»). Для этих единиц отсутствуют корреляции с полноценными терминами типа *камень — каменный век*, что приближает их к терминологии и не позволяет числить целиком в лексике профессионального просторечия. В то же время пока их нельзя отнести и к полноправным терминам типа *археологическая культура*, *грунтовой могильник* и т. п. Наиболее правильной будет, на наш взгляд, их оценка как промежуточного явления, полутерминов, и только использование подобных единиц в языковой практике может решить их судьбу: останутся ли они в рамках профессионального употребления, не вполне узаконенного с точки зрения профессиональной нормы письменного общения, перейдут ли они со временем в разряд полноценных терминов или, наконец, будут длительное время сохранять свое промежуточное положение.

Таковы, по нашему мнению, три основные точки зрения на соотношение «профессиональная лексика — терминология». При этом мы стремились очертить лишь основные контуры проблемы, наметить лишь в какой-то мере устоявшиеся взгляды [13], намеренно отказываясь от рассмотрения многочисленных деталей. По этой же причине мы сознательно не останавливались на тех работах, в которых второй и третий подходы к разграничению профессиональной лексики и терминов, с нашей точки зрения, несколько эклектично смешиваются. Наконец, необходимо сделать еще два замечания.

---

[13] Так, мы не затронули, например, тезиса, согласно которому «важнейшее различие здесь заключается в том, что научная терминология создается искусственно, тогда как профессиональная лексика возникает стихийно» [10, с. 130].

1. При всем разнообразии возможных подходов вряд ли целесообразно исключать из профессионального словаря специальную терминологическую лексику, которая вполне подчиняется устоявшейся норме и является самым обычным способом обозначения соответствующих реалий в профессиональном общении. Странным и неестественным представляется положение, при котором термины *фонема*, *морфема*, *согласование*, *синтаксическая структура* оказываются вне рамок лексики соответствующей профессии,— в данном случае профессии лингвиста. Термины таких сфер профессиональной деятельности, как наука, техника, искусство, ныне живущие ремесла — если только это действительно термины, согласованные с нормой устоявшегося здесь словоупотребления,— по-видимому, являются и частью лексики соответствующей профессии.

2. Существуют также области человеческой деятельности, которые не могут расцениваться как профессиональные. В то же время они могут обладать более или менее развитой, семантически весьма специализированной лексикой. Достаточно упомянуть, например, такие массовые явления современной общественной жизни, как туризм или непрофессиональный спорт с их обширнейшей специальной лексикой [33—35]. Вполне правомерна поэтому традиция говорить о терминологии различных видов спорта, как игровых (*пенальти*, *офсайт*, *угловой* — футбол, *рокировка*, *цугцванг* — шахматы), так и неигровых (*переворот вперед прогнувшись*, *отмах переворотом*, *полушпагат прогнувшись* — гимнастика). К непрофессиональной терминологии, по всей вероятности, следует отнести и лексику некоторых игр, имеющих свои твердые правила, но не являющихся спортивными (типа *мизер*, *марьяж*, *бланковый король* и т. п. в преферансе) [14]. Весьма своеобразна пестрая терминология любительского коллекционирования, в котором ведущие места занимают филателия, фалеристика и нумизматика. Немногочисленна, но в сфере своего употребления весьма значима лексика, обслуживающая тематическую область «Безопасность движения». К управлению автомобилем в наши дни привлечены миллионы людей, значительная часть которых отнюдь не является шоферами-профессионалами. Заслуживает в этой связи внимания тот факт, что «Правила дорожного движения» в специальном разделе разъясняют значение некоторых терминов этой сферы знания: ср. *стоянка*, *остановка*, *обгон* и т. п.

Подобные факты убедительно свидетельствуют о наличии больших пластов терминологии, которую невозможно подвести под разряд профессиональной лексики, что позволяет говорить лишь о частичном совпадении профессиональной и терминологической лексики. В самом деле, существуют термины (в том числе вполне нейтральные с точки зрения стилистической и нормативной характеристики), которые невозможно отнести к профессиональной лексике, так как они обслуживают непрофессиональные сферы общения. Аналогично и профессиональная лексика не может быть полностью сведена к терминологии, ибо известная ее часть не соответствует установленной норме профессионального словоупотребления. В то же время бесспорны и подвижность границ между этими классами языковых единиц, и существование значительной общей части. Эту общую часть составляет терминология всех занятий, которые могут быть отнесены к профессиональной деятельности.

Итак, три основные точки зрения на соотношение «профессиональная лексика — терминология» кратко могут быть охарактеризованы следующим образом.

Первая из них отождествляет эти два понятия. Вторая — разделяет профессиональную лексику и терминологию некоторой историко-тематической чертой. Третья точка зрения, констатируя наличие значительной общей части этих лексических пластов, может объяснить и существование несовпадающих частей. С учетом сделанных замечаний мы хотели бы присоединиться к последней из них.

[14] Не случайно в Библиографию терминологических словарей И. М. Кауфмана включены словари лексики различных видов спорта и неспортивных игр (бильярда, карточных игр) [36].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шанский Н. М.* Лексикология современного русского языка: Пособие для студентов пед. ин-тов. 2-е изд. М., 1972, с. 124.
2. *Кузнец М. Д., Скребнев Ю. Н.* Стилистика английского языка. Л., 1960.
3. *Розенталь Д. Э.* Практическая стилистика русского языка: Учебник для вузов по специальности «Журналистика». 4-е изд. М., 1977.
4. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
5. *Степанова М. Д., Чернышева И. И.* Лексикология современного немецкого языка. М., 1962.
6. *Портянникова В. Н.* Некоторые проблемы лексической характеристики жаргонизмов (на материале «молодежного жаргона» современного немецкого языка в ФРГ): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1971, с. 3.
7. *Kluge F.* Unser Deutsch. Einführung in die Muttersprache. 6. Aufl. Heidelberg, 1958, S. 117.
8. *Реформатский А. А.* Введение в языковедение. М., 1967.
9. *Lorenz I.* Russische Jagdterminologie: Analyse des Sprachgebrauchs der Jäger. München, 1978.
10. *Косовский Б. И.* Общее языкознание. Учение о слове и словарном составе языка. Минск, 1974.
11. *Калинин А. В.* Лексика русского языка. М., 1978.
12. *Жирмунский В. М.* Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
13. *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
14. *Рыбаков Б. А.* Ремесло древней Руси. М., 1948.
15. *Богородский Б. Л.* Русская судоходная терминология в историческом аспекте: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Л., 1964.
16. *Шовкопляс А. Г.* Семантическая и словообразовательная характеристика профессионально-терминологической лексики плотничества: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1975.
17. *Прохорова В. Н.* Профессионализм.— В кн.: Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
18. *Фомина М. И.* Современный русский язык. Лексикология. М., 1978.
19. *Сергеев В. Н.* Профессионализмы как объект лексикографии.— В кн.: Современная русская лексикография. 1980. Л., 1981.
20. *Медведева Н. Н.* Характерные особенности профессионализмов английского языка.— В кн.: Структура словаря и вопросы словообразования германских языков: Межвуз. сб. научных трудов. Пятигорск, 1981.
21. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 371.
22. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. Сост. Щукин И. С., М., 1980.
23. *Даниленко В. П., Скворцов Л. И.* Нормативные основы унификации терминологии.— В кн.: Культура речи в технической документации (на материале ГОСТов и специальной литературы). М., 1982.
24. *Прохорова В. Н.* Семантика термина.— Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1981, № 3, с. 24.
25. *Петушков В. П.* Лингвистика и терминоведение.— В кн.: Терминология и норма. М., 1972, с. 107.
26. *Реформатский А. А.* Что такое термин и терминология. М., 1959.
27. *Реформатский А. А.* Термин как член лексической системы языка.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1967. М., 1968.
28. *Прохорова В. Н.* Об эмоциональности термина.— В кн.: Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970.
29. *Салимова Р. Х.* Современное профессиональное просторечие. (На материале военной русской лексики советской эпохи): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1974.
30. *Лихачев Д. С.* Арготические слова профессиональной речи.— В кн.: Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.
31. *Успенский Л. В.* Материалы по языку русских летчиков.— В кн.: Язык и мышление. Т. 6—7. Л., 1936.
32. *Schmidt W.* Character und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprachen.— Sprachpflege, 1969, № 1.
33. *Шипулина Г. И.* Формирование туристской лексики в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1981.
34. *Кондрашкина С. И.* Составные спортивные термины в современном русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1975.
35. *Otasevici S.* Terminologie sportiva ruse (TSR) studiul lexico-semantic. Bucureşti, 1977.
36. *Кауфман И. М.* Терминологические словари. М., 1961.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

АЛЕКСЕЕВ М. Е.

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКОВ

Классификация лезгинских языков, как и дагестанских языков в целом, имеет уже достаточно длительную традицию: взгляды ученых своего времени на взаимоотношения отдельных групп и языков дагестанской семьи между собой тем или иным образом отражают классификационные схемы Р. Эркерта, А. М. Дирра, Н. Я. Марра и др. Наиболее распространенным к настоящему времени (отвлекаясь от внутренних отношений лезгинских языков) можно считать вариант классификации, включающий в лезгинскую группу десять языков: лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский, арчинский, крызский, будухский, удинский и хиналугский (см., например, [1, 2] и др.). В то же время существуют серьезные основания для пересмотра данной группировки. В этом легко убедиться, затронув лишь один из наиболее дискутировавшихся моментов в классификации лезгинских языков — принадлежность к лезгинской группе хиналугского языка.

Если не считать ранних классификаций [см. 3], основывавшихся в силу отсутствия сколько-нибудь исчерпывающего материала на сугубо географических принципах, первое аргументированное суждение по данному вопросу было высказано Р. М. Шаумяном, исследовавшим грамматический строй «шахдагских языков» — хиналугского, крызского и будухского. В результате своего исследования Р. М. Шаумян пришел к выводу, что «будухский и крызский языки настолько близки к лезгинскому, что их можно считать равноправными языками лезгинской группы наравне с рутульским, цахурским, агульским и др., что же касается хиналугского языка, то по своим грамматическим особенностям и лексике он занимает самостоятельное место среди яфетических языков Дагестана...» [4].

Автор первой грамматики хиналугского языка Ю. Д. Дешериев не был столь категоричен в суждениях и предложил три объяснения: 1) хиналугский язык относится к лезгинской группе и сохранил наиболее архаичные черты, утраченные другими представителями этой группы; 2) хиналугский язык относится к особой группе дагестанских языков, но испытывает сильное влияние лезгинских; 3) хиналугский язык занимает особое место среди дагестанских, нахских и абхазо-адыгских языков [5].

Чуть позже вышла в свет специальная статья Б. Б. Талибова, в которой обосновывается первая из предложенных Ю. Д. Дешериевым гипотез: «...хиналугский язык — это один из языков лезгинской группы, который отошел от языка-основы несколько тысячелетий тому назад и развивался самостоятельно, вне связи с родственными языками; в данной группе языков он занимает особое место» [6, с. 304]. В подтверждение этого тезиса в данной статье демонстрируется, с одной стороны, что «родство хиналугского языка с другими языками лезгинской группы доказывается... также фактом наличия звуковых соответствий между ним и другими языками этой группы» [6, с. 288] и, с другой стороны, что «родство хиналугского языка с другими языками лезгинской группы доказывается также общностью многих корневых слов, как-то: термины родства, названия частей тела и т. д.» [6, с. 294].

Таким образом, в статье Б. Б. Талибова приводятся аргументы в подтверждение никогда не оспаривавшегося факта: хиналугский и лезгинские языки родственны между собой. В то же время основная задача

демонстрации того, что хиналугский язык стоит ближе к лезгинским, нежели к другим дагестанским, остается в тени.

В монографии Б. К. Гигинейшвили о консонантизме дагестанских языков хиналугский язык также включается в лезгинскую группу [7, с. 151 и сл.]. К тому же процесс дивергенции общелезгинского языка-основы начался, по его мнению, с вычленения арчинского и удинского и уже затем хиналугского. Между тем такая хронологизация основывается исключительно на показаниях фонетического характера [7, с. 154—155], причем для одного из диагностических процессов (*д* —> *з*) приходится признавать заимствованный характер уд. *зу* и арч. *зон* «я» (см. об этом [8, с. 140]). Хотя опора на фонетические критерии в классификации языков широко практикуется, более надежным представляется обращение к соответствующим перекрестным свидетельствам разных уровней языковой структуры.

Таким образом, позицию Б. К. Гигинейшвили также нельзя считать окончательной. В то же время легко обнаружить целый ряд общелезгинских разноуровневых изоглосс, имеющих несомненно инновационный характер и не разделяемых хиналугским языком. Ср., например, из области фонетики.

1. В изменении общедагестанских звонких аффрикат (по реконструкции Б. К. Гигинейшвили, см. [7, с. 84—86]) хиналугский сохраняет абруптивность, чем более близок, например, к аварскому, ср.: авар. *моцI*: хин. *вацI* : арч. *бац* : лезг. *варз* «луна»; авар. *мичI* : хин. *мычI* : арч. *мач* «крапива»; авар. *къо* : *хин. кьаь* : арч. *ихъ* : лезг. *йугъ* «день»; авар. *лъIезе* : хин. *лакIри* : арч. *лIос* : лезг. *гун* «дать» и др.

2. При изменении в лезгинских языках общедагестанских слабых аффрикат в спиранты [7, с.88 и сл.] хиналугский язык сохраняет исходный согласный: авар. *ца* : хин. *цулоз* : таб. *селев* «зуб»; дарг. *хъу* : хин. *ынхъа* : арч. *ух* «поле» и др.

Как правило, не разделяет хиналугский язык и общелезгинских морфологических инноваций. Так, общелезгинский набор падежных аффиксов можно реконструировать следующим образом [1]:

Основные падежи:

абсолютив	*-∅
эргатив	косв. основа + *-∅
датив	косв. основа + *-с
генитив	косв. основа + *-н

Аффиксы локализации:

«на ориентире»	*-л-
«внутри ориентира»	*-'-
«около ориентира»	*-лъв-
«в соприкосновении с ориентиром»	*-к-
«за ориентиром»	*-хъ-
«между, среди; внутри заполненного ориентира»	*-къI-
«перед ориентиром»	*-гь-
«под ориентиром»	*-лъI-

Аффиксы направительных падежей:

локатив	*-∅
терминатив	*-н(а)
директив	*-те
аблатив	?

Независимо от того, насколько обрисованная выше падежная система отражает общедагестанскую, можно говорить о том, что хиналугский язык обнаруживает весьма скромные соответствия этой системе. Пожалуй, не вызывает сомнения лишь общий принцип образования абсолютива, представляющего собой прямую основу имени, и эргатива, совпа-

[1] В общих чертах этот набор был реконструирован Е. А. Бокаревым [9]. В настоящей статье мы основываемся на уточненной и дополненной реконструкции.

дающего с косвенной основой. При этом реконструируемое для общелезгинского состояния значительное разнообразие способов образования косвенной основы [10, 11] находит соответствие лишь в общем принципе образования основы косвенных падежей в хиналугском языке с помощью унифицированного показателя *-и-* или же в случаях «неправильного» образования с помощью других гласных, в то время как показатель *-ам-* с вариантами (ср. *унг* «сердце» — эрг. *унгуми*) общелезгинских параллелей не обнаруживает. Учитывая эти обстоятельства, легко сделать вывод о том, что в данном случае мы имеем дело скорее не с генетической, а с типологической близостью, которая не может, соответственно, служить здесь классификационным критерием.

Е. А. Бокарев предложил еще несколько сопоставлений. Так, по его мнению, отражением «старого дательного падежа на *-с//-з* в хиналугском языке является так называемый инессив III на *-ш*, обозначающий нахождение внутри чего-либо (*бый-иш* „в отце")» [9, с. 45]. Данное сопоставление теперь трудно принять, поскольку, как выясняется, хин. *-ш* не соответствует ни общелезг. *з*, ни общелезг. *с* [12, с. 313—314]. Впрочем, хин. *-ш* может отвечать общелезг. **-лъв* [ср. 12, с. 322—323]. Такое сближение вполне оправдывается и с точки зрения значения, так как хиналугский падеж на *-ш* является типичным средством выражения принадлежности, функции которого, как правило, берет на себя именно падеж со значением «у, около» (ср. общелезг. **-лъв-*). Находит соответствие в общелезг. **-хъ* хиналугский показатель *-х* [9, с. 47], хотя подобное соответствие подтверждается лишь одним примером: лезг. *хъуьруьн* : хин. *хаькиндаь* «смеяться» [12, с. 306]. Предполагается также, что хиналугский генитив, совпадающий, как правило, с эргативом и, соответственно, с косвенной основой, восходит к общелезгинскому, причем **-н* $>$ *∅* [12, с. 250]. Вместе с тем данный процесс не находит подтверждения в остальном материале.

Таким образом, более или менее вероятной оказывается генетическая связь хин. *-ш* и общелезг. **-лъв-*, с одной стороны, и хин. *-х* и общелезг. **-хъ*, с другой. Оба сопоставления имеют общедагестанский характер, ср. лак. *-хъ* (*къатлу-хъ* «у дома») и др., а также реконструкцию общедаг. **-хъ* [13]. Следовательно, хиналугский язык не разделяет ни одной общелезгинской инновации в системе склонения. Аналогично, возможно, обстоит дело и в глагольной морфологии. Укажем, в частности, на выражение в хиналугском аспектуальных различий с помощью суффиксов, т. е. как и в аварском языке, в противоположность лезгинским инфиксальным показателям вида. В целом же этот вопрос, по-видимому, требует еще дополнительного изучения.

Обратимся, наконец, к лексике. Поскольку анализ всего словарного состава хиналугского и лезгинских языков несопоставим с размерами одной статьи, представляется целесообразным ограничиться в предварительном порядке рассмотрением одной из тематических групп лексем, входящих в число сопоставлений, предложенных в специальной статье Б. Б. Талибова [6, с. 294—304]. Подавляющее большинство этих сближений имеет общедагестанский характер. Так, в число общедагестанских изоглосс вошли хиналугские лексемы *риши* «девушка, дочь» [14, с. 129], *цIынас* «невестка, невеста» [14, с. 132], *хыдыл* «внук» [14, с. 129], *рыцы* «сестра» [14, с. 133], *хинимкIир* «жена, женщина» [14, с. 130], *лыгылд* «муж» [14, с. 131], *кьетхи* «близнецы» [14, с. 127], *бый* «отец» [14, с. 132], *деде* «мать» [14, с. 131]. Не имеют общедагестанского характера лишь слова с явно ограниченным ареалом распространения: *гыдыл* «правнук» (соответствия в лезгинском, крызском и табасаранском), *гуьнуь* «название жен многоженца в отношении друг к другу» (соответствия в будухском и удинском; заимствование из азербайджанского языка), *хиндед* «вдова» (соответствие в лезгинском).

Последнее обстоятельство позволяет предположить ареальный характер хиналугско-лезгинских схождений в целом. В силу своего географического положения хиналугцы неизбежно должны были входить в языковые контакты с представителями трех народностей лезгинской

группы — лезгинами (носителями ахтынского диалекта), крызцами и будухцами. С крызцами же хиналугцев издавна объединяла и административная общность [15]. Результатом таких контактов можно считать определенное количество лексических заимствований в хиналугском языке. На возможность интерпретации их именно в качестве заимствований указывают, с одной стороны, ареальная ограниченность их распространения (ср. хин. *ксан* < лезг. *хъсан* «хороший», лексема считается арабизмом — см. [16]; *чли* «большой» < лезг. *чIехи*; *кIаьви* «крепкий» < лезг. *кIеви* и некот. др.), но и в отдельных случаях своеобразием фонетического облика, ср. например, *махар* «грудь» (при крыз., буд. *махар*, общелезг. **мохор*), где ожидался бы **-хъ-*, или же *са* «один» при ожидаемом **ц-* и т. п.

Достаточно заметны контакты хиналугского языка с шахдагскими (крызским и будухским) и в области морфологии: во-первых, здесь совпадает с косвенной основой форма родительного падежа; во-вторых, в будухском и хиналугском языках противопоставляется отчуждаемая и неотчуждаемая принадлежность; в-третьих, в хиналугском дативе на *-у* можно усматривать влияние шахдагского локатива на *-в*, а в локативе на *-хъ* — соответствующих локативов (при исконности этого форманта в хиналугском ожидалось бы **-хъ*).

Вышесказанное позволяет заключить, что хиналугский язык не входит в лезгинскую группу. Видимо, следует признать справедливой точку зрения, согласно которой хиналугский язык представляет собой особую группу среди дагестанских языков.

Как правило, выводились за пределы лезгинской группы также арчинский и удинский языки. Тем не менее их принадлежность к данной группе в настоящее время можно считать доказанной. Так, О. И. Кахадзе, посвятивший выяснению вопроса о генетической принадлежности арчинского языка специальное исследование, пришел к следующему выводу: «...арчибский — по происхождению — язык лезгинской группы. Он, видимо, одним из первых выделился из этих языков и, по причинам не известным нам, рано отделился от них и территориально. Будучи изолированным от родственных лезгинских языков, оказавшись в окружении аварско-андийско-дидойской и лакско-даргинской группы, арчибский язык претерпел серьезные изменения: значительно отошел от лезгинских языков и заметно сблизился с лакским и особенно с аварским языками» [17]. Контактную природу имеет, по нашему мнению, и особое положение, занимаемое удинским языком, испытавшим сильное влияние армянского языка.

Достаточно показательными при решении вопроса о классификации лезгинских языков являются данные, полученные при сравнении стословных списков слов методами глоттохронологии. Так, сравнение процента лексических совпадений внутри группы лезгинских языков (см. табл.) с аналогичными данными, полученными в результате сравнения с ними аварского, лакского и хиналугского языков (соответственно 22—27—25 для лезг., 28—32—30 для таб., 28—31—35 для агул., 24—28—29 для рут., 24—26—28 для цах., 24—31—31 для арч., 25—28—28 для крыз., 28—27—27 для буд., 28—32—24 для уд.) выявляет значительное отличие лексических отношений внутри и вне лезгинской группы. С другой

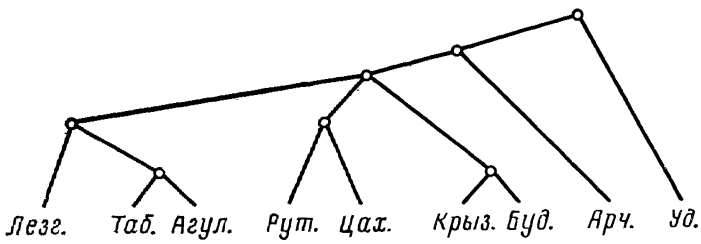
Процент лексических совпадений между лезгинскими языками

	Таб.	Агул.	Рут.	Цах.	Арч.	Крыз.	Буд.	Уд.
Лезг.	50	53	46	38	38	47	40	33
Таб.		69	43	41	40	47	45	38
Агул.			47	45	44	47	42	40
Рут.				50	38	41	42	36
Цах.					34	38	36	33
Арч.						36	37	34
Крыз.							63	32
Буд.								32

стороны, нельзя не заметить и отчетливо выделяющихся группировок внутри лезгинской группы, что позволяет представить итоговую схему филиации общелезгинского языка-основы в виде схемы (см. ниже).

Генетическая классификация лезгинских языков, отраженная на схеме, достаточно хорошо согласуется с традиционными воззрениями на их генетические взаимоотношения, основанными на сугубо структурных признаках. Попытаемся выделить некоторые такие признаки, характерные для отдельных подгрупп лезгинских языков. Заметим при этом, что фонетические и синтаксические признаки оказываются практически нерелевантными для выделения подгрупп лезгинских языков.

Восточнолезгинская подгруппа, включающая лезгинский, табасаранский и агульский языки, характеризуется большой степенью близости морфологической системы в целом, что во многом унаследовано от обще-



Генетическая классификация лезгинских языков

лезгинского языка-основы. К собственно восточнолезгинским инновациям в именной морфологии можно отнести, во-первых, исключительное употребление показателя множественного числа имен *-ар* (*-ер*, *-йар*, *-йир*) [2] с соответствующей утратой других суффиксов, во-вторых, высокую продуктивность суффикса косвенной основы *-ди*, в-третьих, широкое употребление направительного падежа с суф. *-ди*, в том числе и во вторичной функции инструменталиса. Кроме того, типичным для восточнолезгинских языков является распад общелезгинской системы четырех именных классов, следы которой в виде противопоставления личного и неличного классов сохранились лишь в табасаранском языке. Показательным оказывается и факт наличия специфического слоя общевосточнолезгинской лексики, ср.: лезг. *паж*, таб. *бай*, агул. *баIж* «сын, мальчик»; лезг. *квар*, таб. *гвар*, агул. *гвар* «кувшин»; лезг. *къвал*, таб. *гъвал*, агул. *къвал* «бок»; лезг. *къен*, таб. *гъян*, агул. *гIан* «внутренность, живот»; лезг. *йис*, таб. *йис*, агул. *ис* «год»; лезг. *жив*, таб. *йиф*, агул. *ибхь* «снег»; лезг. *кек*, таб. *карк*, агул. *кирк* «лапа»; лезг. *цал*, таб. *цал*, агул. *цал* «стена»; лезг. *туьд*, таб. *дюд*, агул. *тут* «горло» и др.

Рутульско-цахурская подгруппа (подробный анализ фонетики и морфологии рутульского и цахурского языков в сравнительном плане см. в [19]), также сохранившая целый ряд общелезгинских черт, может быть выделена, в частности, следующими морфологическими инновациями: во-первых, здесь широко представлен при неодушевленных именах суффикс мн. числа *-быр* (рут.), *-бы* (цах.); во-вторых, функционирует атрибутивный по происхождению генитив (рут. *-д/-ды*, цах. *-н/-ни/-на/-да*); в-третьих, в парадигме склонения представлен творительный (сопроводительный) падеж (рут. *-хьван*, цах. *-ква*) и др. Достаточно представительным является и пласт общей рутульско-цахурской лексики, ср.: рут. *макъвал*, цах. *магъа* «крапива»; рут. *ург*, цах. *ург* «ягненок (до 1 г.)»; рут. *уб*, цах. *уIм* «кольцо»; рут. *аIрх*, цах. *аIрх* «шерсть (весенняя)»; рут. *дан*, цах. *дан* «щека»; рут. *ɣал*, цах. *ɣал* «рот»; рут. *ɣам*, цах. *ɣам* «ость»; рут. *джеб*, цах. *джаIб* «слизь, ил»; рут. *гъул*, цах. *къул* «окно»; рут. *сипыл*, цах. *сипа* «лук»; рут. *кьацI*, цах. *кьацI* «подбородок» и др.

[2] Ср.: «Именительный падеж множественного числа во всех трех языках образуется посредством суффикса *ар* (*аьр*, *ер*)» [18].

Шахдагские языки (крызский и будухский), пожалуй, представляют собой наиболее тесную лингвистическую группировку (сопоставимую в некотором отношении с табасаранско-агульской). Соответственно, достаточно многочисленны здесь и свидетельства их исторической общности в области морфологии: во-первых, в парадигме склонения в шахдагских языках представлены генитив, совпадающий с косвенной основой, и эргатив, маркированный суф. *-р* (этот же суффикс отмечен и в рутульском); во-вторых, среди пространственных падежей противопоставляются аллатив на *-н* и аблатив на *-р* (первый ныне практически утрачен); среди показателей локализации полностью утрачен **-л̄-* «на», замещенный послелогами. Значительной общностью, выделяющей шахдагские языки из лезгинских, обладает и их глагольная морфология. Так, здесь противопоставлены настоящее время на *-(р)и*, будущее на *-(р)аь* и прошедшее на *-джи*. С помощью аблаута различаются переходные и непереходные глаголы. Наконец, можно выделить большое количество слов, восходящих к прашахдагскому уровню, ср.: крыз. *ираьдж*, буд. *ирд* «кровь» (по-видимому, субстантивированная форма прилагательного «красный»); крыз. *шимитI*, буд. *шимитI* «сопля»; крыз. *гIич*, буд. *гIич* «кожа, шкура»; крыз. *лехI*, буд. *лехI* «теленок»; крыз. *купаьл*, буд. *купэл*, «петух»; крыз. *цIили*, буд. *цIиле* «ветка, сучок»; крыз. *мичIехI*, буд. *муьчIеъ* «астрагал»; крыз. *кьаьджир*, буд. *кьаджир* «нутряное сало»; крыз. *киш*, буд. *киш* «тулуп»; крыз. *сыл*, буд. *сил* «голенище»; крыз. *гаьндж*, буд. *гэндж* «кизяк»; крыз. *кьванI*, буд. *кьапI* «мышеловка»; крыз. *харт*, буд. *хорт* «точильный брусок»; крыз. *чин*, буд. *чин* «серп» и т. п.

Три перечисленные группы как будто объединяются в более широкую группировку, называемую самурской [8, с. 155]. Целесообразность исключения из этой группировки арчинского языка может быть продемонстрирована двумя достаточно показательными изоглоссами: во-первых, переходом в этой группе латеральных в велярные [7, с. 155] в области фонетики и, во-вторых, возникновением системы глагольных префиксов. Менее очевидны основания для выделения особой группировки, объединяющей рутульско-цахурскую и шахдагскую подгруппы (ср., например, суф. эргативного падежа *-р* в рутульском, крызском и будухском, имеющий явно инновационный характер, и др.). Вполне вероятно, что отдельные изоглоссы, объединяющие с шахдагскими языками рутульский язык (большей частью его борчинско-хновский диалект), имеют контактную природу.

Естественно, связи между лезгинскими языками не ограничиваются их генетической общностью. Для многих из них были характерны в прошлом и продолжаются сейчас до некоторой степени заметные контакты, что не могло не отразиться на их грамматическом строе и словаре. Так, по крайней мере в области лексики, можно обнаружить не только рутульско-будухские, но и лезгинско-рутульские и некоторые другие изоглоссы. Наличие таковых является довольно очевидным уже в силу соответствующего географического расположения контактирующих языков, так что подробно останавливаться здесь на данном вопросе не представляется целесообразным. Укажем лишь на наличие несколько неожиданных табасаранско-агульско-арчинских изоглосс, ср. таб. (дюб). *акъа*, агул. *агъ*, арч. *ахъ* «нога, бедро»; таб. *арс*, агул. *арс*, арч. *арси* «серебро, деньги»; таб. *аьхъю*, арч. *хеI* «холодный», агул. *дахъаIс* «остывать»; таб. *даьи*, агул. *деги*, арч. *доги* «осел»; таб. *кучIал*, агул. *кучIал*, арч. *квачIет* «ложь» и др. Эти изоглоссы могут быть свидетельством существовавшего некогда ареала, охватывавшего, помимо названных языков, также лакский и даргинский языки. Впрочем, детальный анализ подобных схождений — предмет специального исследования. Здесь же подчеркнем, что без четкого отделения ареальных связей от генетических классификация лезгинских языков не сможет быть достаточно обоснованной.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бокарев Е. А.* Лезгинские языки. Введение.— В кн.: Языки народов СССР. Т. IV. Иберийско-кавказские языки. М., 1967, с. 524.
2. ЕИКЯ, 1974, т. I, с. 323.
3. *Чикобава А. С.* Введение в иберийско-кавказское языкознание. Тбилиси, 1979 (на груз. яз.), с. 27 и сл.
4. *Шаумян Р. М.* Языки «шах-дагской группы».— В кн.: Язык и мышление. Т. X. М.—Л., 1940, с. 163.
5. *Дешериев Ю. Д.* Грамматика хиналугского языка. М., 1959, с. 207.
6. *Талибов Б. Б.* Место хиналугского языка в системе языков лезгинской группы.— Уч. зап. ИИЯЛ, 1959, т. VII.
7. *Гигинейшвили Б. К.* Сравнительная фонетика дагестанских языков. Тбилиси, 1977.
8. *Алексеев М. Е.*— ВЯ, 1979, № 4.— Рец. на кн.: *Гигинейшвили Б. К.* Сравнительная фонетика дагестанских языков.
9. *Бокарев Е. А.* К реконструкции падежной системы пралезгинского языка.— В кн.: Вопросы грамматики. М.—Л., 1960.
10. *Алексеев М. Е.* Консонантные показатели косвенной основы имен в лезгинских языках.— В кн.: Падежный состав и система склонения в иберийско-кавказских языках: Тезисы докладов. Махачкала, 1981.
11. *Старостин С. А.* Реконструкция пралезгинских именных косвенных основ на гласный.— В кн.: Падежный состав и система склонения в иберийско-кавказских языках: Тезисы докладов. Махачкала, 1981.
12. *Талибов Б. Б.* Сравнительная фонетика лезгинских языков. М., 1980.
13. *Гигинейшвили Б. К.* Падежная система общедагестанского языка в свете общей теории эргативности.— ВЯ, 1976, № 1 с. 36.
14. Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков. М., 1971.
15. *Волкова Н. Г.* Хиналыг.— В кн.: Кавказский этнографический сборник. VII. М., 1980, с. 38.
16. *Забитов С. М.* Арабские заимствования в лезгинском литературном языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Махачкала, 1983, с. 15.
17. *Кахадзе О. И.* Арчибский язык и его место среди родственных дагестанских языков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Тбилиси, 1973, с. 49.
18. *Ханмагомедов Б. Г.-К.* Система склонения табасаранского языка в сравнении с системами склонения лезгинского и агульского языков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Махачкала, 1958, с. 18.
19. *Джейранишвили Е. Ф.* Основные вопросы фонетики и морфологии цахского и мухадского (рутульского) языков: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Тбилиси, 1966.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

ВЕЙХМАН Г. А.

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ПРОБЛЕМА СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В предисловии к сборнику «Новое в зарубежной лингвистике», посвященном рассмотрению проблем лингвистики текста, Т. М. Николаева отметила следующие перспективы развития этого направления языкознания: 1) выведение новых содержательных категорий; 2) теоретическую модификацию традиционных содержательных категорий; 3) появление новых функциональных классов; 4) переосмысление и иную классификацию единиц традиционной грамматики [1].

Привлечение данных лингвистики текста может быть весьма перспективным при рассмотрении проблемы сложноподчиненных предложений (СПП) [2]. Логико-семантические отношения, возникающие между частями СПП, наблюдаются также между членами простых предложений, между частями осложненных, сложносочиненных предложений и сверхфразовых единств (СФЕ). Отсутствие специфики СПП в плане значения и четких границ между подразделениями их функциональной классификации вынудило многих исследователей отказаться от нее в пользу структурных классификаций СПП. Структурными дифференциальными признаками СПП считаются: полипредикативность, отличающая их как сложные предложения от простых, и признаки, отграничивающие их от сложносочиненных предложений,— разная степень самостоятельности частей, их позиционная гибкость и использование специфических средств связи. Однако разная степень самостоятельности характерна для частей не только СПП, но и сложносочиненных предложений, позиционная гибкость частей СПП относительна, и есть средства связи частей СПП, которые соединяют также части и члены других синтаксических единиц.

Что касается границ между моно- и полипредикативностью, то они не абсолютны. На материале русского языка это убедительно доказано С. Г. Верницкой [3]. Типов, переходных между моно- и полипредикативными предложениями, немало и в других языках, например, в английском. В частности, английские СПП сближаются с простыми предложениями тем, что включенные в них предикативные единицы уподобляются словам и словосочетаниям не только функционально, но и формально. Ср:. а) *They get him* is enough for me (E. Queen, The player on the other side) «Они получают его — с меня (и этого) довольно» и б) He always kept that quiet, *who-the-hell-are-you* look (W. V. T. Clark, The Ox-Bow incident) «У него всегда был этот спокойный взгляд, как бы говоривший: „А ты, черт побери, кто такой?“». Для того чтобы исчезло формальное различие между бессоюзными придаточными типа (а) и окказионализмами — членами простых предложений типа (б), достаточно, чтобы возобладала тенденция к опущению дефисов внутри окказионализмов [4]. Подобно существительным и атрибутивным словосочетаниям, английские предикативные единицы могут сочетаться с предлогами. Употребление одного предлога перед однородными членами — атрибутивным словосочетанием и предикативной единицей, впервые зарегистрированное в языке первой половины XIX в. [5, с. 99], продолжается и поныне. Например: But *after about fifteen minutes and he still hadn't come out* I went after him (H. Robbins, The inheritors) «Но после (того, как прошло) примерно пятнадцать минут и он еще не вышел, я пошел за ним». По аналогии с предложно-

именными (а) и предложно-полупредикативными (б) сочетаниями, которые, по-видимому, возникли при включении в матричные предложения предложений безглагольных, представляется правомерным говорить о сочетаниях предложно-предикативных (в), возникших при включении в матричные предложения предложений глагольных. Ср.: а) We count *on your help* [6, с. 196]; **We** count *on you to help* (там же) «Мы рассчитываем на Вашу помощь»; в) So **I ca**n count *on they won't come in Sunday morning* (H. Kemelman, Friday the **rabbi** slept late) «Поэтому я могу рассчитывать на (то, что) они не придут в воскресенье утром».

Строение разных типов СПП настолько различно, что попытки разработать их структурные классификации были до сих пор безуспешными. Для этих классификаций (коррелятивной, морфологической, логико-грамматической, формальной, структурно-семантической и смешанных) в той или иной мере характерны неполнота, дробность, гетерогенность, наличие исключений и переходных случаев. Решению проблемы СПП также мешают следующие обстоятельства: во-первых, их логико-семантические типы, как правило, изучают без сопоставления с другими синтаксическими явлениями и не в аспекте текста, и, во-вторых, пока нет четкого разграничения синтаксических моделей и их вариантов (см., например [7; 8, с. 28, 33].

Синтаксическую модель обычно определяют как абстрактную теоретическую схему, отражающую структуру синтаксической единицы (т. е. ее компоненты и синтаксические связи между ними [9]). То, что модели отличаются друг от друга признаками, более существенными, чем их варианты [10, с. 78], можно считать постулатом. Трудность состоит в установлении объективного критерия разграничения существенных и несущественных признаков. Многочисленные попытки решения этой проблемы сводятся к применению, в отдельности и в сочетаниях друг с другом, четырех основных критериев, которые можно обозначить как языково-речевой, уровневый, деривационный и критерий моделируемых признаков.

В соответствии с языково-речевым критерием существенными для модели являются языковые признаки: основной состав членов и их конструктивно-синтаксические связи. К вариативным признакам относятся видоизменения модели в речи, например, смена цели общения, сегментация, изменение порядка слов, порядка следования придаточных, интонации, актуального членения, экспрессивных и стилистических оттенков. Но у некоторых из этих признаков, относимых к речевым, есть и языковой аспект (ср., например, модели актуального членения), что не позволяет четко отграничить варианты от моделей.

При уровневом подходе считается, что синтаксические модели дифференцируются на синтаксическом уровне, а различия между их вариантами обусловлены варьированием средств нижележащих уровней при заполнении позиций членов модели. Однако при этом не учитывают некоторые вариантивные различия, принимаемые во внимание при применении языково-речевого критерия, в частности, возможность несовпадения средств выражения структурного, логического, актуального и аналогового аспектов (термин Н. А. Слюсаревой [11]) синтаксической единицы.

Деривационный подход предполагает, что варианты (дериваты) отличаются от исходной модели заменами ее членов без выхода за их рамки, распространением новыми членами или неполнотой. При заменах этот подход совпадает с уровневым. При распространении новыми членами иногда бывает трудно отграничить вариант исходной модели от новой модели. При гипотетических опущениях необходимы объективные признаки того, что опущения действительно имели место. А выявление таких признаков бывает сопряжено с большими затруднениями.

Критерий моделируемых признаков лишен перечисленных недостатков и обеспечивает решение проблемы в более общем виде. Он пока не был эксплицитно сформулирован, но уже находил ограниченное применение в ряде работ, например, [8, с. 30, 137, 138; 10,

12—14]. Критерий этот вытекает из того, что при отражении в модели каких-либо аспектов строения моделируемой единицы вне рассмотрения остаются ее остальные аспекты. Следовательно, *модели различаются по моделируемым признакам, а варианты, совпадая по моделируемым, различаются по немоделируемым признакам*. Если при использовании первых трех критериев моделируемые и вариативные признаки закреплены постоянно, то четвертый критерий — диалектический: при его применении моделируемые и вариативные признаки могут меняться местами. Так, при моделировании актуального аспекта предложения признаки его структурного аспекта относятся к вариативным, а при моделировании его структурного аспекта вариативными становятся признаки аспекта актуального. Соответственно, представляется правомерным определить *гипермодель* (термин О. И. Москальной [15]) как группу моделей, *частично совпадающих по моделируемым признакам*, а также предложить обозначение «*вариантный блок*» для категории, промежуточной между моделью и вариантом и объединяющей варианты, *частично совпадающие по немоделируемым признакам*.

Рассмотрим английские СПП на фоне структурно сходных синтаксических единиц, разграничивая модели и их варианты с опорой на четвертый критерий и на данные лингвистики текста. Синтаксические явления можно рассматривать в аспекте текста синтагматически и парадигматически. В первом случае соответствующее явление анализируют в макроконтексте для лучшего осмысления его семантической и синтаксической природы, а также для выяснения его роли в обеспечении связности, цельности и членимости текста. Второй способ (избранный в настоящей работе) заключается в привлечении данных лингвистики текста при анализе рассматриваемого синтаксического явления вне контекста. Опора на данные лингвистики текста при этом будет состоять в том, что 1) в качестве моделируемых признаков избираются синтаксическая полифункциональность и синтаксическая корреляция, которые являются категориями, общими для предложения и текста, 2) СПП соответственно рассматриваются как фразовые речевые варианты синтаксических моделей, охватывающих, помимо СПП, структурно сходные СФЕ [16].

Под *синтаксической полифункциональностью* здесь имеется в виду вхождение слова или словосочетания одновременно в разные предикативные единицы. *Синтаксическая корреляция* — тип отношения между двумя членами, когда один из них полностью или частично повторяет или заменяет другой. Корреляция как моделируемый и классификационный признак СПП до сих пор, в основном, служила для классификации моделей СПП по наличию/отсутствию местоименного антецедента. В настоящей работе этот признак используется значительно шире.

Из коррелятивных замен для моделей СПП характерны, в основном, а) абстрагирующие и б) конкретизирующие. Замены (а) — это субституции слов-названий словами-заместителями, а (б) — обратный процесс, например, конкретизация артикля или указательного местоимения существительным, некоторых союзов — предикативной единицей, вводных членов и реприз — их коррелятами, модусных сказуемых (verba dicendi, sentiendi, putandi, affectuum, voluntatis) — диктумами.

Возможны не менее двенадцати классификаций корреляции. Из них для дальнейшего изложения понадобятся следующие: по степени использования (корреляция полная/нулевая/частичная), по числу коррелятивных связей (одинарная/неодинарная), по числу звеньев в одной коррелятивной связи (единичная/последовательная) и по направлению связи (однонаправленная/разнонаправленная); однонаправленная бывает прогрессивной/регрессивной, а разнонаправленная — одновременно прогрессивной и регрессивной; неодинарная разнонаправленная корреляция бывает дивергентной/конвергентной). Ср.: а) I have *no control* over him — *none* (K. Mansfield, Selected stories) «Он меня вообще не слушает-

ся — вообще»; б) Teasle did not like that. A t a l l (D. Morrel, First blood) «Тизл не понравилось это. Вообще»; в) I can see *no excuse* for her — *none* a t a l l (A. Christie, Five little pigs) «Я не вижу для нее оправдания — никакого вообще». В (а) и (в) корреляция первого компонента со вторым неодинарная, единичная, однонаправленная, прогрессивная. В (а) она полная: повтор отрицания и абстрагирующая замена (существительное — one). В (б) корреляция нулевая (второй компонент не коррелирует с первым), а в (в) — частичная: второй компонент содержит коррелят none (как в первом примере) и некоррелирующий член at all (как во втором). Остальные типы корреляции будут рассмотрены ниже, в частности, при изложении вопроса о сочетании модусов с диктумами, имеющего важное значение для решения проблемы СПП.

Число модусов и их типов больше, чем принято считать, а средства их выражения и связи с диктумами более разнообразны. Наиболее известны модусы, сказуемые (или части сказуемых) которых конкретизируются диктумом (обозначим их как «м о д у с-С»). Ср.: а) *He said* you'd be furious (W. S. Maugham, Theatre) «Он сказал, ты будешь взбешена»; б) *He said* t h a t his friend's name was Smith «Он сказал, что его друга зовут Смит»; в) She liked him and *said* s o (W. Haggard, Slow burner) «Она симпатизировала ему и сказала об этом». В (а) корреляция единичная, т. к. состоит из одного звена: said — you... furious. В (б) и (в) она последовательная, т. к. включает два звена: б) said — that, that — his... Smith; в) said — so, so — She... him. Выделенные разрядкой заместители that и so являются асемантичными промежуточными коррелятами, so — обязательным, а that — факультативным. В (б) коррелятивная связь однонаправленная, прогрессивная, (said — that — his... Smith), а в (в) — разнонаправленная: следуя от модусного глагола said через промежуточный коррелят so, она возвращается к диктуму She liked him. Н е д и с к р е т н ы й м о д у с He said (that) в (б) можно обозначить как с в о б о д н ы й, поскольку по отношению к диктуму он может занимать разные позиции (пре-, интер- и постпозицию) и может быть даже вычеркнут без ущерба для структурной законченности диктума. В (в) д и с к р е т н ы й м о д у с She + said (so) можно обозначить как н е с в о б о д н ы й: из-за совмещения подлежащих диктума и модуса в полифункциональном члене She модус не может перемещаться относительно диктума, и при вычеркивании модуса диктум перестает быть структурно законченной предикативной единицей.

Асемантичные корреляты последовательной корреляции бывают не только промежуточными, но и начальными, например: T h e reason I ask I'll need... (F. J. Lipp, Rulers of darkness) «Причина, по которой я спрашиваю, мне нужно...» (корреляция: асемантичный начальный коррелят The — reason — I'll need...).

Промежуточные корреляты бывают простыми и сложными. Ср.: *I propose* t h a t w e should start early [6, с. 682] «Я предлагаю, чтобы мы отправились рано» и And t h i s i s w h a t *I propose*: I'll sit in the next room (A. Hitchcock, Stories for late at night) «И вот что я предлагаю: я буду сидеть в соседней комнате». Сложные промежуточные корреляты выражены трехчленами, существование которых, по-видимому, впервые отметил А. Хилл [17]. В них целое дистрибутивно эквивалентно ($\approx$) последнему члену или его местоименному или субстантивному синониму: that/this + + is who «вот кто» $\approx$ who «кто», he «он» и т. д.; that/this + is why «вот почему» $\approx$ why «почему», the reason «причина» и т. д. Модели трехчленов Хилла не жесткие и допускают инверсию, дистаксию и осложнение обращениями, модальными словами, отрицаниями и другими частицами. Например: ... i s t h a t w h a t you think... (A. Christie, What Mrs. McGillicuddy saw!) «Вот что Вы думаете?»; T h a t w a s n't w h a t I was thinking of (A. A. Fair, The count of nine) «Это не то, о чем я думал».

Средства выражения глагольных сказуемых модусов-С включают, помимо модусных глаголов, их дистрибутивные эквиваленты. Это, в частности, (а) модальные (полувспомогательные) глаголы и б) to have «иметь». Ср.: I *know* t h a t «Я знаю это» и а) You *can* t h a t (J. Galsworthy, Swan

song) «Вы можете это (сделать)»; We *will* t h a t (J. Cronin, The citadel) «Мы охотно будем это (делать)» [1]. Ср. также: I hardly can *believe* i t t h a t it is true at all (F. S. Fitzgerald, The great Gatsby) «Я с трудом могу поверить, что это вообще правда» и б) History *had* i t t h a t she had hated the slavery (P. A. Whitney, Lost island) «Согласно истории, она ненавидела это рабство».

Неэксплицитными модусами-С, помимо модальных наречий [18, с. 55], бывают неличные формы глагола, императивы, псевдоимперативы (типа fancy! «подумать только!»), производные союзы (типа considering «учитывая»), предложно-именные сочетания. Подобно эксплицитным модусам, неэксплицитные связаны со своими диктумами не только единичной, но и последовательной корреляцией. Ср. неэксплицитные модусы — причастия II: *Granted*, they must be domesticated (P. Anderson, Wings of victory) «Допустим, их нужно приручить»; *Granted* t h a t... it would have been quite impossible... (A. Christie, The pale horse) «Допустим, что... было бы совершенно невозможно...».

Реже в литературе говорится о принадлежности к числу модусов главных частей СПП типа T h e *question is* — can you do enough (F. G. Slaughter, Surgeon, U. S. A.) «Вопрос состоит в том, можете ли Вы сделать достаточно?». Поскольку в таких модусах диктумом конкретизируется подлежащее, обозначим их как «м о д у с-II». Дистрибутивный анализ позволяет включить в число модусов-II и такие, которые состоят из *it/all/* указательного местоимения */there/here/as* и глагола *to be* «быть» или его дистрибутивного эквивалента (кроме глаголов типа *seem* и указания на случайность действия). Модусы-II тоже бывают эксплицитными и неэксплицитными. Ср. с последним примером: *T h e question*: When and how to end it? (A. Hailey, Hotel) «Вопрос: Когда и как закончить это?»

Помимо модусов-С и II, можно выделить м о д у с ы - П С с конкретизацией подлежащих и сказуемых (или частей сказуемых), т. е. с неодинарной корреляцией. О правомерности их выделения свидетельствуют: 1) сходство их состава с составом модусов-С и II; 2) их дистрибутивная эквивалентность; 3) то, что они, подобно модусам-С и II, могут образовывать синтаксические клише; 4) сходство отношений между модусами-С, II, ПС и их диктумами; 5) наличие гибридных сочетаний диктумов с модусами-С, II и ПС.

1) В модусах-ПС (кроме содержащих личный глагол типа seem или указания на случайность действия) представлены средства выражения членов, характерные для модусов-С и II. Например, модусы-ПС двучленные: It + feels/looks/sounds/means/says «Чувствуется/похоже/значит/говорится»; *A saying claims* t h a t great champions breed great contenders (F. Morton, The Rothschields) «Есть поговорка, утверждающая, что великие чемпионы порождают великих претендентов»; трехчленные (диктумом конкретизируются первый и третий члены модуса): It + is + clear/certain «ясно/несомненно»; *There was talk* t h a t... «Поговаривали (что)...», в том числе трансформы модусов-С: It + is + known/said «Известно/Говорят».

Глаголы модусов-ПС бывают того же корня, что и существительные модусов-II. Ср.: It *chanced* that... (W. S. Maugham, The moon and sixpence) «Случилось так, что...», The *chances* were that (A. Christie, The seven dials mystery) «Существовала вероятность, что...».

Глаголы модусов-ПС seem и appear семантически сближаются с глаголами и прилагательными модусов-С. Appear толкуется в словарях, в частности, как «become *visible*» («становиться видимым»), а it seems в препозиции — как it is *seen* that («по-видимому, видимо»); в интерпозиции и в постпозиции они толкуются как «so I *understand*» «насколько я знаю».

Подобно модусам-С и II, модусы-ПС бывают эксплицитными и неэксплицитными. Среди средств образования неэксплицитных модусов-ПС, как и модусов-С и II, есть предложно-именные сочетания и наречия. Ср. эксплицитные и неэксплицитные модусы-С: I suppose «Я полагаю», on the supposition that «полагая, что», supposedly «предположительно»; II: the

[1] Ср. также общность происхождения can и know и исконное значение will «хотеть».

probability was t h a t... «Но была вероятность, что...», in all probability «по всей вероятности», probably «вероятно»; ПС: It appears «Кажется», to/by/from all appearance(s) «судя по всему», apparently «явно; оказывается».

2) Модусы-ПС являются дистрибутивными эквивалентами модусов-С. Так, они употребляются с идентичными союзами и промежуточными коррелятами. Ср.: No news was good news, *or* s o *they say* (M. Spillane, My gun is quick) «Отсутствие новостей было хорошей новостью, или во всяком случае, так говорят»; He was stoical about it, *or* s o *it seemed* (D. Lessing, Five) «Он стоически переносил это, или, во всяком случае, так казалось».

Прилагательные трехчленных модусов-ПС и С употребляются в одинаковой позиции. Ср.: It is *certain* that two and make four «Безусловно, два плюс два четыре»; I am *certain* that he saw me «Я уверен, что он меня видел».

Как и модусы-С, модусы-ПС бывают свободными и несвободными. Неэксплицитные несвободные модусы-С (а) и ПС (б, в) расчленяют д и с к р е т н ы й д и к т у м — «сложное подлежащее» (а, б) и подлежащее + + предикатив (в). В (в) модус выражен связкой типа seem «казаться», taste «иметь вкус», feel «вызывать ощущение, производить впечатление», sound «звучать», look «выглядеть». Например: а) He *is expected* to come at five» «Ожидают, что он приедет в пять»; б) He *seems* to think so «Он, по-видимому, думает так»; в) The book *seems* quite interesting «Книга кажется довольно интересной». Модусы is expected (а) и seems (б, в) связаны с диктумами He + to come at five, He + to think so, The book + quite interesting дивергентной корреляцией, которую, например, для (в) можно представить как The book ← seems → quite interesting.

Подобно глаголам модусов-С, некоторые глаголы модусов-ПС являются дистрибутивными эквивалентами модальных глаголов. Ср.: There *seem* to be no objections to the proposal «Кажется, против этого предложения нет возражений»; There *can* be no other motive «Не может быть другого мотива».

3) Модусы-ПС так же, как и модусы-С и П, дали начало некоторым синтаксическим клише. Так, модусы-П лежат в основе образования трехчленов Хилла. Ср. также примеры других синтаксических клише — на основе модуса-П: That's all there is to it (J. Hopkins, Talking to a stranger) «Вот и все»; С: Before I knew/ realized it... «Не успел я опомниться, как...»; ПС: The way it happened was that... (I. Shaw, Rich man, poor man) «Вот как это случилось...».

4) Модусы-С, П и ПС вводят диктумы, выражают попутные замечания, различные модальные оттенки, могут быть подвижны по отношению к диктумам.

5) У модусов-ПС и модусов других типов может быть общий диктум. Ср. СФЕ: «*You mean*, you killed them?» — «*Reckon* s o. *It looks* l i k e i t» (J. Harris, The old trade of killing) «Вы хотите сказать, Вы убили их?» — «Думаю, что да. Похоже на то». Здесь с диктумом you killed them коррелируют два модуса-С и модус-ПС It looks (like it).

Анализ материала показал, что по наличию/отсутствию признаков корреляции и полифункциональности модели всех английских СПП, а также ряда структурно сходных синтаксических единиц объединяются в четыре гипермодели, в которых соответственно: I корреляция эксплицитна, полифункциональность нулевая; II полифункциональность эксплицитна, корреляция нулевая; III оба признака эксплицитны; IV оба признака нулевые. В число моделируемых признаков не входят и, следовательно, являются вариативными такие признаки, как различия между моно- и полипредикативностью, подчинением и сочинением, наличием и отсутствием речевых пограничных сигналов, позициями компонентов синтаксических единиц, их обязательностью и факультативностью, различия в семантико-синтаксическом содержании СПП с придаточными разных типов, в интонации, в выражении логического, актуального и аналогового аспектов. Таким образом, в предлагаемой классификации все эти признаки сохраняются, но из первичных превращаются в признаки вторичные и после-

дующих порядков, переходят с высших на низшие уровни классификации.

Гипермодель I. Корреляция эксплицитна, полифункциональность нулевая. Эта гипермодель охватывает модели с полной и с частичной корреляцией.

1. Модели с полной корреляцией включают сочетания диктумов с модусами всех трех типов.

Модусы-С. Вариантный блок с единичной корреляцией. Следующие сочетания модусов с диктумами обычно трактуют как СПП с придаточной частью дополнительной (а), вводной (б), как простые предложения (в). Ср.: а) *I know* he is an honest man «Я знаю, он честный человек»; б) She's very pretty, *you know* «Она знаете, очень хорошенькая»; в) *I know* him to be honest «Я знаю, он честен». Но если моделируемым признаком считать конкретизацию диктумом модусного сказуемого (здесь know), (а — в) оказываются вариантами одной модели. В числе вариативных признаков — позиция модуса по отношению к диктуму, направление корреляции (прогрессивная/регрессивная) и структура диктума: предикативная единица (а, б) и полупредикативная (в).

Дистрибутивная эквивалентность to have и модусных глаголов позволяет интерпретировать как сочетания с эксплицитными свободными модусами-С и диктумами — полупредикативными единицами простые предложения с глаголом to have со сложным дополнением и в составе формы перфекта с прямым дополнением. Например: *I must have* these shoes repaired «Мне надо починить эти ботинки»; *Have you* done it? «Вы уже сделали это?».

Вариантный блок с последовательной корреляцией. Следующие сочетания модусов с диктумами обычно считают СПП с придаточной частью дополнительной (а — в), вводной (г, д), предложениями простыми или слитными (е), бессоюзными сложносочиненными (ж). Некоторые сочетания, например (з), не отражены в имеющихся классификациях. Ср.: а) *She knew* t h a t she didn't look well in costume (W. S. Maugham, Theatre) «Она знала, что костюм ей не идет» (корреляция: knew — that — she... costume); б) T h a t he could play pieces, and difficult pieces, *I knew* well... (Moscow News, 1980, 3 August) «Что он может играть пьесы, и трудные пьесы, я знал хорошо» (корреляция: knew — That — he... pieces); в) T h a t Cyril's attitude to his mother was marked by a certain benevolent negligence — t h i s *Matthew knew* (A. Bennett, The old wives' tale) «То, что для отношения Сирила к его матери было характерно некоторое благожелательное пренебрежение, это Мэтью знал» (корреляция: knew — this — That — Cyril's... negligence); г) Labor would never forget — *he knew* t h a t — and would never forgive him (I. Stone, Clarence Darrow for the defense) «Рабочие никогда не забудут — он знал это — и никогда не простят его» (корреляция: knew — that — Labor... forget + + and... him), д) A s *you know* there is a risk of being killed (J. Cornford, Communism was my waking time) «Как ты знаешь, существует опасность быть убитым» (корреляция: know — As — there... killed); е) *He's* good-looking and *knows* i t (A. Christie, Dead man's mirror) «Он интересный и знает об этом» (корреляция: knows — it — He's good-looking); There was a daughter, *I knew* t h a t «Была дочь, я знал это» (корреляция: knew — that — There... daughter); 3) *I* o n l y *know* t h i s, Caroline did not do it (A. Christie, Five little pigs) «Я только знаю одно, Каролина этого не делала» (корреляция: know — only — this — Caroline... it). Нетрудно заметить, что при всех различиях в их трактовке (а — з) являются вариантами одной модели, состоящей из модуса-С и диктума. Их вариативные признаки, в частности, включают: модус свободный (а — д, ж, з)/несвободный (е); его недискретность (а — д, ж)/дискретность (е, з); его позицию; средства выражения, число и позицию асемантичных промежуточных коррелятов; направление коррелятивных связей. Корреляция одинарная, однонаправленная, прогрессивная в (а), одинарная, разнонаправленная в (б, в, д—з), неодинарная, разнонаправленная, дивергентная в (г). Противопоставление that как союзов (а—в) и местоимений (г, ж) неоправданно: все они являются промежуточными коррелятами в вариантах одной модели (по аналогичным или сходным соображениям неоправданно отнесение к

разным классам заместителей в позиционных вариантах остальных моделей, рассматриваемых ниже).

Эксплицитный свободный модус-С, диктум-предикативная единица и инвертированный дискретный сложный промежуточный коррелят образуют вариант рассматриваемой модели — СПП с придаточными частями подлежащной и предикативной. Ср.: а) W h a t *I propose* i s t h a t the bowl dates from classical antiquity (R. Silverberg, The artifact business) «Я предполагаю, что этот кубок восходит к классической древности»; б) And t h i s i s w h a t *I propose*: I'll sit in the next room «И вот что я предлагаю: я буду сидеть в соседней комнате»; в) W h a t *I propose* i s t h i s: you will sit down and write to Harry Rayburn (A. Christie, The man in the brown suit) «Вот что я предлагаю: Вы сядете и напишете Гарри Рэйберну». Предложение (а) состоит из модуса I propose, диктума the bowl dates from classical antiquity и промежуточного коррелята What + + is that. Об этом свидетельствует наличие предложений типа (б) (с неинвертированным недискретным трехчленом this is what) и (в) (с what + + is this), т. е. типа, переходного между (а) и (б).

М о д у с ы - П. Их сочетания с диктумами считают СПП с придаточными предикативными (а, г), подлежащными (д), вводными (б), предложениями простыми с именным сказуемым (в), бессоюзными сложносочиненными (е). Ср.: а) T h e *word is* you were trying to teach it to talk like a musical instrument (I. Asimov, Lenny) «Говорят, Вы пытались научить его [робота] разговаривать, как обучают игре на музыкальном инструменте» (корреляция: The — word — you ... instrument); б) But at dusk, t h e *word was*, a company of Engineers was to come up (I. Shaw, The young lions) «Но в сумерках, говорили, должна была подойти саперная рота» (корреляция: the — word — But at dusk + a company ... up); в) Mum's t h e *word* (C. Mergendahl. The bramble bush) «Главное — молчать» (букв. «Молчать, говорят») (корреляция: the — word — Mum); г) O n e *good thing was* t h a t the category three emergency had just been declared concluded (A. Hailey, Airport) «Хорошо было то, что только что объявили об отмене аварийной ситуации третьей категории» (корреляция: One — thing — that — the category... concluded); д) T h a t you could be so ungrateful *is* a *terrible thing* (M. Walker, Jubilee) «Что ты мог быть таким неблагодарным — ужасно» (корреляция: a — thing — That — you...ungrateful); е) I can't stay here all night, t h a t's o n e *sure thing* (K. Brush, Night club) «Я не могу оставаться здесь всю ночь, это уж наверняка» (корреляция: one — thing — that — I ... night). Совпадение по моделируемому признаку — конкретизация диктумом модусного подлежащего (здесь the word и thing)) говорит о том, что это варианты одной модели. В числе вариативных признаков — позиция модуса; средства выражения, число и позиция асемантичных коррелятов; направление корреляции [одинарная, однонаправленная, прогрессивная (а, г), одинарная, разнонаправленная (в, д, е), неодинарная, разнонаправленная, дивергентная (б)]; инверсия внутри модуса (в, д, е) и ее отсутствие (а, б, г); осложнение модусного подлежащего определением (г—е) и отсутствие осложнения (а—в); структура диктума [предикативная единица (а, б, г—е), слово (в)].

М о д у с ы - П С. Изложенные выше соображения о принадлежности к одной модели сочетаний с диктумами модусов-С и П справедливы и для сочетаний с модусами-ПС, например, типа it appears/seems «кажется», которые при препозитивном употреблении модуса считают СПП с придаточными подлежащными [2], а при интер- и постпозитивном употреблении — СПП с придаточными вводными.

---

[2] У этой трактовки есть два недостатка. Во-первых, поскольку состав модусов-П и ПС почти одинаков (заместитель плюс связка), неоправданна интерпретация их постпозитивных диктумов как придаточных разных типов (предикативных и подлежащных). Во-первых, в отличие от предложений типа It is possible that... «Возможно, что...», здесь подстановка вместо it предполагаемой придаточной части дает конструкцию неотмеченную. Ср.: It appears you don't trust me (F. J. Lipp, Rulers of darkness) «Похоже, Вы мне не доверяете» и *You don't trust me appears.

2. Частичная корреляция первой предикативной единицы со второй осуществляется абстрагирующей заменой первой единицы союзом (например, so, that, so that). Эта модель объединяет как варианты а) СПП с придаточными цели, б) следствия, в) некоторые сложносочиненные предложения: а) Speak clearly, so that they may understand you «Говорите ясно, чтобы они могли понять Вас»; б) What have I done that I should never again see the sun rise out of the night... (H. R. Haggard, King Solomon's mines) «Что я сделал, что я никогда больше не увижу восход солнца?»; в) She asked me to go, so I went «Она попросила меня уйти, поэтому я ушел».

Гипермодель II. Полифункциональность эксплицитна, корреляция нулевая. Относимые к СПП предложения с союзным словом (who, what и др.) или союзным словосочетанием без антецедента, с бессоюзной придаточной определительной частью, с темпоральной придаточной частью фактически являются не СПП, а предложениями с частями, взаимозависимыми в связи с наличием полифункционального члена. В них полифункциональны соответственно союзное слово или словосочетание, определяемое, темпоральное союзное средство (а). Это варианты тех же моделей, что и конструкции «апокойну» («синтаксическая гаплология», «высказывания с интерференцией» и т. п.) (б) [19]. Ср.: а) Let me speak to *who*'s in charge «Разрешите мне поговорить с (тем), кто здесь главный»; б) Let's pick *somebody* can fight (I. Shaw, Rich man, poor man) «Давайте подберем кого-нибудь (,кто) может драться» (полифункциональны who и somebody, остальные члены монофункциональны).

Гипермодель III. Корреляция и полифункциональность эксплицитны. Полифункциональными бывают: 1) вводный член или реприза, 2) коррелят или 3) член, не участвующий в корреляции.

1. Полифункциональные вводные члены выражены союзными средствами (заместителями с предлогом или без него: that, if, though, since, as, till, until, unless, in case, on condition that, except that, as + if/though, lest, for fear, because и некоторыми другими). Они конкретизируются постпозитивной предикативной единицей (а). Первые четыре заместителя также бывают репризами и в таких случаях конкретизируются предикативной единицей, находящейся в препозиции (б). Ср.: а) СПП с придаточной частью подлежащной: Funny that *Aunt Emily didn't mention his visit* (A. Christie, Dumb witness) «Странно, что тетя Эмили не упомянула о его визите»; б) СФЕ: *Martin came home though.* Funny that (C. Brooke-Rose, Such) «Мартин вернулся домой, однако. Странно это». Моделируемыми признаками, объединяющими (а) и (б), являются наличие полифункционального заместителя и его конкретизация предикативной единицей. Позиции компонентов и направление синтаксических связей относятся к признакам вариативным.

2. Среди моделей с полифункциональным коррелятом есть модели с вводным членом и/или с репризой.

А) Для модели с вводным членом и с репризой обязательно наличие трехчлена as...as или его дистрибутивного эквивалента [so/such/the(same)...as; more/less...than; rather/other + than; a/the/ числительное...who (which, where и др.) /that; that/such a...that]. К этой модели, в частности, относятся СПП с придаточными сравнения, времени, уступки, условия, образа действия, определительными, некоторые простые предложения. Средний член трехчлена, будучи общим для левой и правой частей, связывает их. Он конкретизирует первый член (вводный) и третий (репризу). Вводный член и реприза, коррелируя между собой, дополнительно связывают левую и правую части частичной корреляцией: But none of us had that *genius for it* that Mr. Morgan had (J. O'Hara, From the terrace) «Но ни у кого из нас не было такого таланта на это, как у м-ра Моргана». Первое that ($that_1$) — вводное, а второе ($that_2$) — реприза члена genius for it. Для рассматриваемой модели существенны коррелятивные связи: $that_1$ — genius for it, $that_2$ — genius for it, $that_1$ — $that_2$.

Вариантный блок с вводным членом, дистантным к среднему члену, включает выделительные СПП с вводным it (подлежащим модуса-П) и

репризой that или who. Например: It's *you* to w h o m she's turned for help (D. Hamilton, The removers) «Именно к Вам она обратилась за помощью».

Анализ моделируемых признаков рассматриваемой модели помогает более четко отграничить предложения, относимые к СПП с придаточными аппозитивными (а), от предложений, относимых к СПП с придаточными определительными (б). Они различаются не только значением [20], но также отсутствием/наличием полифункционального члена и типом корреляции. Ср: а) She received the information that Mr. B. was an inveterate drunkard «Она получила сведения, что м-р Б. заядлый алкоголик» [20] и б) I've got the information that you wanted «Я получил сведения, которые Вы хотели» [20]. В (а) полифункционального члена нет, а the и that являются звеньями одинарной однонаправленной прогрессивной корреляции: the → information → that → Mr. B. drunkard. В (б) полифункциональным членом является information, корреляция неодинарная, разнонаправленная, конвергентная (the → information ← that), а the и that являются соответственно вводным членом и репризой, осуществляющими частичную корреляцию между монофункциональными членами I've...the и that you wanted.

Б) В моделях с вводным членом или с репризой корреляция между монофункциональными членами бывает а) нулевой или б) частичной.

М о д е л ь (а) отличается от модели (А) отсутствием вводного члена или репризы и соответствующих коррелятивных связей. Ср. простые предложения: А) He turned a s *white* a s a woman (K. Mansfield, Selected stories) «Он стал (таким) бледным, как полотно» (корреляция: as_1 — white, as_2 — white, as_1 — as_2) и а) You're *white* a s a sheet (J. Hopkins, Talking to a stranger) «Вы бледный как полотно» (корреляция: as — white). Модель (а) также охватывает предложения с относительным присоединением, СПП с придаточной частью определительной с антецедентом без детерминатива и бессоюзные выделительные СПП. Например: *All* t h a t kept coming up from him was one word (F. J. Lipp, Rulers of darkness). «Единственное, что он продолжал повторять, было одно слово» (корреляция: that — All); I t was *them* she thought about first (D. Carter, Fatherless sons) «Именно о них она подумала в первую очередь» (корреляция: It — them).

Для м о д е л и (б) обязательна частичная корреляция между монофункциональными предикативными единицами. Чаще всего коррелируют подлежащие главной части и придаточной уступки (с репризами though, as, that) или причины (с репризой as), а также подлежащие осложненного предложения и придаточной части, определяющей приложение (с репризой that). Например: *fool* t h a t I was, I believed it (J. Woodford, J. B. Thompson, Honey) «Каким я был глупцом, что поверил этому» (букв. «Глупец, каким я был, я поверил этому»). Полная корреляция: that — fool, частичная: I — I.

Наличие в моделях (А) и (Б) полифункционального члена не позволяет говорить о существовании антецедента, который принадлежал бы всецело главной части, или считать в (А) трехчлен союзным речением, принадлежащим всецело части придаточной, и, как в гипермодели II, свидетельствует о взаимозависимости частей. Она усиливается в (А) частичной корреляцией между вводным членом и репризой и необходимостью их конкретизации полифункциональным членом, а в (б) — частичной корреляцией между монофункциональными предикативными единицами через члены, не являющиеся вводными и репризами.

3. Варианты модели с корреляцией, в которой не участвует полифункциональный член, объединяются в вариантные блоки по функции полифункционального члена.

Вариантный блок с полифункциональным подлежащим, в частности, включает простые предложения с эксплицитными несвободными недискретными модусами-С с модусными глаголами (в том числе to feel в функции связки в значении «чувствовать себя») и с их дистрибутивными эквивалентами: с модальными глаголами; с развившимися из них вспо-

могательными глаголами shall и will, служащими для образования форм будущего времени; с эквивалентом модального глагола to have (плюс инфинитив); со вспомогательным глаголом to have в составе формы перфекта без дополнения. Например: I expect to be back on Sunday «Я рассчитываю вернуться в воскресенье»; He felt happy «Он чувствовал себя счастливым»; I've finished «Я закончил». Здесь модусы I expect, He felt, I've сочетаются с дискретными диктумами I + to be back on Sunday, He + + happy, I + finished. Подлежащие модусов и диктумов совмещены в одном члене, соответственно: I, He, I.

Вариантный блок с полифункциональным составом сказуемого охватывает простые предложения (а, б), СПП с придаточной частью подлежащной (в) и СФЕ (г, д). Ср.: а) *It* kills me quite, *that*! (T. Hardy, Tess of the d'Urbervilles) «Это меня совсем убивает, (это)!» (корреляция it — that); б) *It* rather fascinated me, t h a t *trout* (J. K. Jerome, Three men in a boat) «Она привела меня в восторг, эта форель» (корреляция It — that — trout); в) *It* surprised me at the time t h a t *it should be so* (A. Christie, Dead man's folly) «Меня тогда удивило, что это должно быть так» (корреляция: It — that — it...so); г) *It's* strange t h i s. *I'm glad you came* (P. Cowan, Party) «Странно это. Я рад, что Вы пришли» (корреляция: It — this — I... came); *g*) *I feel more alive than when I was in Nottingham. It*'s funny, t h a t (A. Sillitoe, The death of William Posters) «Я чувствую себя бодрее, чем когда я был в Ноттингеме. Странно это» (корреляция: it — that — I... Nottingham). Здесь вариативные признаки, в частности, включают позиции компонентов и тип корреляции между вводным членом или репризой и их коррелятом: единичная (а), последовательная — однонаправленная (б—г) и разнонаправленная (д).

Гипермодель IV. Корреляция и полифункциональность нулевые в моделях многих простых и бессоюзных сложных предложений, например, СПП с придаточными условия и уступки: Had it succeeded, there would have been no evidence (R. Keverne, Missing from his home) «Удалось бы это, не было бы улик»; Keep calm, whatever happens [6, с. 996] «Не волнуйся, что бы ни случилось».

Подведем основные итоги. Одной из главных предпосылок для решения синтаксических проблем вообще, и в частности проблемы СПП, является разграничение синтаксических моделей и их вариантов. Для этого необходим объективный критерий, который позволил бы отличать существенные признаки от несущественных. Наиболее адекватным представляется критерий моделируемых признаков, согласно которому модели различаются по моделируемым признакам, а варианты, совпадая по моделируемым, различаются по немоделируемым признакам. Соответственно, гипермодель является группой моделей, частично совпадающих по моделируемым признакам, а вариантный блок — группой вариантов, частично совпадающих по немоделируемым признакам. Применение этого критерия при моделировании английских СПП и структурно сходных синтаксических единиц по свойственным предложению и тексту признакам синтаксической корреляции и полифункциональности позволило установить следующее.

По сочетанию эксплицитных и нулевых признаков корреляции и полифункциональности модели СПП и структурно сходных синтаксических единиц объединяются в четыре гипермодели.

Отношения модуса и диктума, свойственные некоторым моделям первой и третьей гипермоделей, распространены в языке в большей степени, чем считалось до сих пор, а структура диктумов и модусов более разнообразна. Модусы и диктумы бывают дискретными/недискретными и свободными/несвободными. Есть три типа эксплицитных модусов. Они объединяются сходством состава, дистрибутивной эквивалентностью, способностью к образованию синтаксических клише, сходством отношений с диктумами и наличием гибридных образований, включающих модусы разных типов. К какому типу относится модус, эксплицитный и свободный он или нет, зависит не только от его состава, но также от семантики его членов, от структуры диктума и от одушевленности/неодушевленности подлежащего модуса, диктума или их общего подлежащего. Так, глагол to feel,

будучи употреблен в значении «чувствовать (,что)», является сказуемым свободного эксплицитного модуса-С, в значении «чувствоваться» — сказуемым свободного эксплицитного модуса-ПС, в значении «чувствовать себя» — сказуемым несвободного эксплицитного модуса-С, а в значении «вызывать ощущение, производить впечатление, казаться» — несвободным неэксплицитным модусом-ПС. В первом случае подлежащее модуса выражено одушевленным существительным, а во втором — местоимением it, причем в обоих случаях диктумом является недискретная (полу)предикативная единица. В третьем и четвертом случаях to feel употребляются соответственно после одушевленного модально-диктального и неодушевленного диктального подлежащего. Эксплицитный модус-С со сказуемым, выраженным глаголом to have, может быть свободным или несвободным в зависимости от недискретности/дискретности диктума. В первом случае за модусом следует (полу)предикативная единица (в том числе бывшая полупредикативная единица — причастие II с прямым дополнением), а во втором — причастие II без дополнения или инфинитив. Структурная близость средств выражения эксплицитных и неэксплицитных, а также свободных и несвободных модусов говорит о структурной близости включающих их СПП и простых предложений.

То, что среди вариантов соответствующих моделей есть некоторые предложения, не являющиеся сложноподчиненными (простые, осложненные, слитные, сложносочиненные, с взаимозависимыми частями), свидетельствует о структурном слиянии СПП с единицами других синтаксических разрядов, о том, что границы СПП как синтаксической категории оказываются размытыми. При этом СПП было бы неправомерно интерпретировать как полевую структуру, поскольку среди их логико-семантических типов нет ядерных и периферийных: у некоторых из них фактически нет подчинения, а большинство остальных обнаруживают структурное сходство с предложениями, не являющимися сложноподчиненными. В добавление к таким известным фактам, как отсутствие у СПП специфики в семантическом плане, зыбкость границ между разрядами их функциональной классификации и их структурная гетерогенность, оказывается, что СПП практически лишены структурных дифференциальных признаков. Это не может не вызвать сомнений в правомерности выделения СПП как особой синтаксической категории. А если учесть спорность существования сложносочиненных предложений (ср., например, [21—23]), под вопросом оказывается правомерность выделения категории сложных предложений в целом.

К сходному выводу на материале русского языка пришел И. П. Распопов, отметивший, что «так называемые сложные предложения... качественной определенностью... не обладают» [24, с. 44]. Относительно СПП он писал, что мнение об их «цельнооформленности и качественной определенности... представляет собой научную фикцию» [24, с. 46] и что их «классификация как цельнооформленных структурных единиц, по существу, невозможна» [24, с. 46]. Но, не видя выхода из создавшегося положения, И. П. Распопов сделал шаг назад, предложив в той же статье свою классификацию СПП по средствам связи их частей и отметив возможность классификаций СПП по семантико-синтаксическим функциям придаточных и по характеру коммуникативной перспективы. Не говоря уже о том, что его классификация по средствам связи неполна [24, с. 50], теоретически вообще вряд ли оправдана классификация структур, статус которых как особой синтаксической категории отрицает сам автор.

Каким бы парадоксальным это ни казалось, но если быть до конца последовательным, по-видимому, целесообразно вместо принятого сейчас деления предложений на простые и сложные (с их внутренними подразделениями) разработать классификацию синтаксических единиц, основанную на иных, текстовых, признаках. Попытка наметить возможные контуры такой классификации была сделана в настоящей статье.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Николаева Т. М.* Лингвистика текста. Современное состояние и перспективы. В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М., 1978, с. 23.
2. *Москальская О. И.* Грамматика текста. М., 1981, с. 159—160.
3. *Верницкая С. Г.* К вопросу о критерии выделения структурных типов предложений (простое — сложное — усложненное). Краснодар, 1980, с. 3—9.
4. *Potter S.* Changing English. London, 1975, p. 107.
5. *Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
6. *Hornby A. S. et al.* Oxford advanced learner's dictionary of current English. London, 1976.
7. *Будагов Р. А.* Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени. М., 1978, с. 227.
8. *Москальская О. И.* Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981.
9. *Мухин А. М.* Синтаксический анализ и проблема уровней языка. Л., 1980, с. 3—4.
10. *Гулыга Е. В.* Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. М., 1971.
11. *Слюсарева Н. А.* О типах терминов (на примере грамматики).— ВЯ, 1983, № 3, с. 22.
12. *Шенделъс Е. И.* Синтаксические варианты.— ФН, 1962, № 1, с. 16.
13. *Степанова М. Д.* Грамматическое моделирование (на материале современного немецкого языка).— ИЯШ, 1963, № 3, с. 5.
14. *Шведова Н. Ю.* О соотношении грамматической и семантической структуры предложения.— В кн.: Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973, с. 483.
15. *Moskalskaya O. I.* Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. М., 1975, с. 332—337.
16. *Вейхман Г. А.* Предложения и синтаксические единства.— ВЯ, 1981, № 4, с. 65.
17. *Hill A. A.* Introduction to linguistic structures. From sound to sentence in English. New York, 1958, p. 386—387.
18. *Балли Ш.* Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
19. *Вейхман Г. А.* О синтаксической полифункциональности (на материале современного английского языка).— ФН, 1980, № 6, с. 59—62.
20. *Жаворонкова Р. Н.* Некоторые принципы выделения аппозитивных придаточных предложений в современном английском языке.— Сб. науч. трудов Моск. пед. ин-та иностр. яз., 1977, вып. 111, с. 35.
21. *Сепир Э.* Язык. Введение в изучение речи. М.—Л., 1934, с. 29.
22. *Иофик Л. Л.* Существует ли сложносочиненное предложение в английском языке? — ФН, 1958, № 2.
23. *Allerton D. G.* The sentence as a linguistic unit.— Lingua, 1969, v. 22, № 1.
24. *Распопов И. П.* Дихотомическая классификация так называемых сложноподчиненных предложений. ФН, 1979, № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

МУРАВИЦКАЯ М. П.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО В СЛОВЕ

В теории грамматики следует особо выделить две проблемы, связанные с анализом взаимодействия лексического и грамматического в слове. Первая заключается в разграничении единиц лексического и грамматического уровней языка: различных слов и грамматических форм одного слова. Вторая — в построении иерархии грамматических категорий, воплощенных в значениях грамматических форм слов различных классов. От результатов исследования этих проблем зависит решение практических задач, например, объединение словоформ в парадигму, установление отношений между типами парадигм; разработка лингвистических основ автоматизированного анализа текста.

Важным условием определения языковых форм как грамматических форм одного слова, точнее — одного лексико-семантического варианта слова, служит лексико-семантическое тождество этих форм [1, 2]. Так, падежные словоформы существительного *весна — весны*, *весне*, *весну*, *весной* и т. п. — имеют одно и то же лексическое значение, но различные грамматические (падежные) значения. Словоформы существительных *весной*, *травой*, *землей*, *мечтой*, напротив, имеют различные лексические значения, но одно и то же грамматическое, а именно значение творительного падежа.

В связи с тем, что различные грамматические формы, например, падежные и числовые, по-разному отражают результаты взаимодействия лексического и грамматического в слове, необходимо количественно определить и проанализировать с т е п е н ь лексико-семантического тождества грамматических форм одного слова. Достаточно высокая степень лексико-семантического тождества ряда форм служит основанием для объединения их в грамматическую парадигму одного слова. Предположение о возможности такого объединения обычно основывается на индивидуальной интуиции, которая, хотя и соединяет в себе чувство языка и его знание, все же является ненадежным методом анализа лингвистических единиц. Поэтому она должна быть объективизирована. Одним из средств уточнения индивидуальной интуиции исследователя служит коллективная интуиция носителей языка, устанавливаемая в психолингвистическом эксперименте. Эксперимент помогает выяснить, «обладают ли те единицы, которыми оперирует языкознание, психологической значимостью и психологической реальностью» [3]. Так, исследователь может предположить, что падежные формы *перо*, *пера*, *перу*, *пером...*, *перья*, *перьев*, *перьям*, *перьями...* (птицы) и др. имеют высокую степень лексико-семантического тождества и поэтому их можно рассматривать в качестве грамматических форм одного лексико-семантического варианта слова. Точно так же омографичные падежные формы *перо* (талант), *пера*, *перу*, *пером* и др.— singularia tantum — имеют высокую степень лексико-семантического тождества и являются грамматическими формами иного лексико-семантического варианта этого слова. Учитывая различное влияние взаимодействия лексического и грамматического на различные грамматические формы слов (в частности, падежные и числовые) и наличие singularia tantum, которые являются результатом этого влияния, следует высказать предположение, что числовые формы одного и того же лексико-семантического варианта обладают меньшей степенью лексико-семантического тождества, чем падеж-

ные. Вместе с тем это тождество проявляется в достаточной степени, чтобы считать указанные формы — *перо* (птицы) и *перья* (птицы) — грамматическими формами одного лексико-семантического варианта. Иными словами, различия в грамматических значениях числовых форм связаны с бóльшими лексическими различиями, чем различия в грамматических значениях падежных форм. В связи с этим можно предположить, что степень лексического тождества падежных форм (*дерево*, *дерева*, *дереву*, *деревом*) выше, чем числовых (*дерево* — *деревья*).

Степень лексико-семантического тождества различных грамматических форм устанавливается на основе ее количественных оценок информантами — носителями языка. В процессе психолингвистического эксперимента степень лексико-семантического тождества различных грамматических форм, по-разному отражающих взаимодействие лексического и грамматического, дает основания для построения иерархии грамматических категорий, реализуемых формами слов того или иного класса. Таким образом, проблема разграничения различных слов и форм одного слова (одного лексико-семантического варианта слова) и проблема построения иерархии грамматических категорий (как результата взаимодействия лексического и грамматического в слове) взаимосвязаны. Действительно, если при взаимодействии лексики и грамматики абсолютного лексико-семантического тождества грамматических форм одного слова (одного лексико-семантического варианта слова) не существует и для различных грамматических форм степень этого тождества различна, то какие грамматические формы находятся на грани грамматического и лексического?

Чтобы ответить на этот вопрос, целесообразно проверить в психолингвистическом эксперименте гипотезу, согласно которой различные грамматические формы одного слова (одного лексико-семантического варианта слова) обладают различной степенью тождества лексических значений. Различия в степени обусловлены уровнем абстракции грамматического от лексического и результатами взаимодействия грамматического с лексическим в различных категориях, реализуемых грамматическими формами слов. Проверка гипотезы необходима для построения иерархии грамматических категорий. В частности, такая иерархия может строиться по принципу уменьшения числа, выражающего степень лексического тождества грамматических форм, которые реализуют значения этих категорий. Именно на основе подобной иерархии разрабатываются психолингвистические и языковые, структурные критерии определения переходных случаев между грамматическими формами одного слова и разными словами, а также границы и состав словоизменительных парадигм.

Рассмотрим результаты двух психолингвистических экспериментов на материале грамматических глагольных категорий лица и числа, времени, вида украинского и русского языков в условиях двуязычия. Информанты — сотрудники Института языковедения им. А. А. Потебни АН УССР и студенты старших курсов филологического факультета Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко (по 50 информантов в каждом эксперименте). Эксперименты проводились в несколько этапов с 1975 по 1978 гг. Носителям языка предлагалось оценить степень лексического тождества глагольных форм в 200 парах контекстов (в каждом эксперименте) по 11-балльной шкале оценок от 0 до 10 баллов включительно [4] и по принципу «чем выше степень лексического тождества сопоставляемых глагольных форм, тем выше балл». Полное лексическое тождество — 10 баллов, полная лексическая нетождественность — 0 баллов.

Достаточное для достоверных выводов (относительная ошибка не превышает 7%, т. е. точность исследования составляет 93%) количество информантов — 50 человек — было установлено эмпирически в процессе эксперимента. При этом учитывались значение средней оценки информантами степени лексико-семантического тождества сопоставляемых в контекстах глаголов и мера ее колебания [5, 6].

Каждый эксперимент был разбит на 10 серий. В каждой серии информанту предлагалось по 20 пар контекстов, в которых чередовались противопоставления глаголов по значениям различных грамматических категорий. Всего в одном эксперименте глагольные формы, противопоставляемые по значениям категории лица и числа, оценивались каждым из 50 информантов в 30 парах контекстов, темпоральные формы — в 50 парах, видовые, связанные отношением имперфективации и перфективации, соответственно в 55 и 65 парах контекстов. Достаточный объем материала также был установлен эмпирически в результате анализа средней оценки степени лексико-семантического тождества глаголов, противопоставленных по значениям грамматических категорий либо числа и лица, либо времени, либо вида.

Контексты предлагались носителям языка в письменном виде. В результате экспериментов был подсчитан средний балл для каждой пары контекстов. Информанты оценивали степень тождества глагольных форм в двух видах контекстов: в минимальных и расширенных. В минимальных (созданных экспериментатором) контекстах глагольные формы противопоставлялись по значениям категорий (далее — по категориям) либо лица и числа, либо времени, либо вида. В расширенных (связных) контекстах (они были представлены отрывками из рассказов К. Паустовского и романа О. Гончара «Тронка») противопоставление глагольных форм по одной из категорий может сопровождаться противопоставлением по другим категориям.

Эксперименты показали, что самой высокой степенью лексического тождества — от 9 до 10 баллов — характеризуются формы, противопоставленные по категориям лица и числа одновременно, т. е. лично-числовые формы глагола (далее — личные формы). При этом лексическое тождество личных форм в минимальных контекстах оценивается в среднем несколько ниже, чем в расширенных, соответственно 9,5 и 9,8 балла. Возможно, такому соотношению оценок благоприятствует уточнение лексических значений в связном тексте. Минимальные тексты воспринимаются носителями языка скорее как иллюстрации к словоизменительным парадигмам. Они менее определенно, более расплывчато изображают ситуацию и вызывают большую произвольность лексических ассоциаций. Сравним, как оценивают информанты лексическое тождество личных форм в минимальных контекстах: *Он пишет письмо — Я пишу письмо* (9,6 балла); *Мы пишем письмо — Ты пишешь письмо* (9,4) и в связных текстах: «Люди *мечтают* о длинном лете. А я *мечтаю* о длинной осени — такой вот теплой, туманной» (9,6); «Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься» (9,8). «Ліночко, додому!—Я ще не йду... ми йдемо зустрічати схід сонця!» (9,5); «З ферми дівчата йдуть.— Гарно співають. Ти питала, чи правда, що ми співаємо в польоті...» (9,7). Колебания в оценках информантами степени лексического тождества личных форм глагола можно объяснить влиянием контекстуальных отличий.

Контрольный текст с различными лексико-семантическими вариантами одного глагола (прямым и переносным его значениями) резко уменьшает оценку степени лексического тождества личных форм: «Коли рожа розквітне, а сонце наллє її, і пелюстки світяться наскрізь, і вся вона аж світиться красою...» (6,5 балла). Снижение оценки говорит о том, что последовательное использование степени лексического тождества словоформ как критерия объединения их в грамматическую парадигму вызывает необходимость объединять в парадигму не формы одного глагола, а формы одного и того же лексико-семантического варианта глагола [2]. В то же время, поскольку различные лексико-семантические варианты одного глагола имеют тождественные по составу ряды спрягаемых форм, нет необходимости рассматривать спряжение этих вариантов как различных слов. Это касается и тех глаголов, лексико-семантические варианты которых закреплены за определенными синтаксическими формами текста. Так, укр. *віяти* (о ветре) в отличие от *віяти*

(зерно) употребляется преимущественно в 3-м л., но возможен поэтический или сказочный текст, в котором используются как средства персонификации и другие личные формы этого лексико-семантического варианта. Итак, для глагольной парадигмы характерна полнота и высокая степень лексического тождества личных форм.

Степень лексического тождества глагольных грамматических форм, противопоставленных по категории времени (далее — временных форм), оценивается информантами на балл ниже, чем личных форм: от 8 до 9 баллов. При этом средняя оценка темпоральных форм (как и личных) в минимальных текстах типа *Я пишу письмо — Я писал письмо* ниже, чем в расширенных (соответственно 8,5 и 8,9 балла): «Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.— Ничего, пойдемте! — Мы вернулись в дом» (8,7); «Я раздал каждому из них по золоченому крючку, но с тем, что они уйдут и не будут мешать мне удить. Мальчишки взяли крючки, поблагодарили шепотом и честно ушли» (8,9); «І в один з його приїздів зійшла між ними та зірка, яка ще й досі світить і певне світитиме Лукії до кінця життя» (8,9); «О, це питання складне, над ним я саме роздумую в ці дні. Роздумував ніч, цілісінький ранок і цьому ж присвячу кілька найближчих років» (8,9).

Итак, для носителей языка различные грамматические глагольные формы имеют различную степень лексического тождества. Временные формы в бóльшей степени связаны с лексико-семантическими различиями, чем личные. Проявлением этой связи служит регулярное — именно в силу семантических причин — отсутствие форм настоящего времени у глаголов совершенного вида.

Степень лексического тождества глаголов, связанных отношением имперфективации, оценивается информантами в минимальных контекстах на два балла ниже степени лексического тождества личных форм и на балл ниже степени лексического тождества временных форм глагола: от 7 до 8 баллов. Средняя оценка степени лексического тождества глаголов, связанных отношением имперфективации, в расширенных текстах выше, чем в минимальных, соответственно 8,3 и 7,3 балла. Возможно, на это различие в оценках влияет связь видовых значений с темпоральными, характерная почти для всех анализируемых беллетристических текстов: «У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так! — Девочка медленно закрыла глаза» (8,6); «Вошла Аннушка в зал с Семеном, и встретили их! Уж неведомо, кого так встречают» (8,2); «В кожного з людей, певне, є своя біла коралова гілка, раніш чи пізніш, а кожен знаходить її, ось і він теж її знайшов» (8,4); «Ні Віталій, ні Тоня не пригадують, щоб у ці води заходили судна такого типу, здається, не було цього раніш. А ось він зайшов. І став як загадка, як сфінкс їхнього далекого миготливого моря» (8,2). Поэтому для оценки степени лексического тождества глагольных форм, связанных отношением имперфективации, были использованы минимальные контексты, в которых глагольные формы прошедшего времени противопоставлялись только по грамматической категории вида. Психолингвистический эксперимент показал, что большей степенью лексического тождества характеризуются те пары глагольных форм, в которых глагол несовершенного вида образуется при помощи суффикса: *Он забыл о нем — Он забывал о нем* (7,9 балла). Меньшая степень лексического тождества свойственна формам с чередованием: *Он убедил ее — Он убеждал* ее (7,0); еще меньшая — супплетивным формам: *Он сказал об этом — Он говорил об этом* (6,4). Эти данные хорошо согласуются с исследовательской интуицией.

В аспектологии критерий лексического тождества грамматических форм одного слова наиболее последовательно используется в теории С. Карцевского [7] и в современных работах, развивающих его идеи [8, 9]. В соответствии с этим критерием грамматические глагольные формы совершенного и несовершенного вида, связанные отношением имперфективации (*переписать — переписывать*; *сказать — говорить*; *определить — определять*), в принципе не отличаются от других грамматических,

в частности, словоизменительных временных форм (*читал*, *читаю*): «Глагол изменяется (спрягается) по видам в принципе так же, как он изменяется (спрягается) по временам, наклонениям, лицам и числам» [10]. В иерархии категорий, определяемой количественными различиями в степени лексического тождества грамматических форм, видовые формы, связанные отношением имперфективации, характеризуются меньшей степенью лексического тождества, чем темпоральные. Это различие — результат лексико-семантических ограничений на грамматическую категорию вида, проявляющихся в imperfectiva и perfectiva tantum. В то же время видовые глагольные грамматические формы (*начать — начинать* и т. п.) в системе словоизменения выступают как два слова, каждое из которых характеризуется своеобразными рядами парадигматических форм (*начал*, *начну — начинал*, *начинаю*). Можно было бы рассматривать парадигмы спряжения двух видовых форм не как отдельные парадигмы, а как две части одной. Тогда принцип организации глагольной парадигмы напоминал бы принцип парадигмы прилагательного, где изменение по родам является грамматическим изменением. Но в парадигме прилагательного каждая из родо-числовых форм (*белый*, *белое*, *белая*, *белые*) имеет общую падежную схему, поскольку семантические ограничения здесь не действуют, а временные схемы глаголов совершенного и несовершенного вида различны именно в силу семантических причин: глаголы совершенного вида в отличие от глаголов несовершенного вида не имеют форм настоящего времени. Поэтому объединение парадигм спряжения двух видовых грамматических форм глагола, связанных отношением имперфективации, в одну парадигму нецелесообразно. К тому же одна и та же видовая форма может быть одновременно и грамматической формой (в паре форм, связанных отношением имперфективации: *узнать — узнавать*), и словом (в паре глаголов, связанных словообразовательным, т. е. не грамматическим, отношением перфективации: *знать — узнать*). Словоизменение (спряжение) глаголов такого типа характеризуется асимметрией. Различные слова (*знать* и *узнать*) принадлежат к одному и тому же классу спряжения, а видовые грамматические формы одного слова (*узнать — узнавать*) — к различным, что обусловлено различными морфемными средствами слово- и формообразования глаголов соответственно при перфективации (префиксация) и имперфективации (преимущественно суффиксация).

Критерий степени тождества лексических значений грамматических форм как основа принадлежности их к одному слову (лексико-семантическому варианту слова) накладывает определенные ограничения на объединение глаголов в грамматическую видовую пару. В грамматической видовой корреляции находятся не глагол совершенного вида и производный имперфективированный, а их лексико-семантические варианты. Так, укр. *виграти* (*вигравати*) образуют грамматическую видовую пару лишь в значении «добиться (добиваться) победы, превосходства», а в значениях «играть на инструменте», а также «искриться», «энергично двигаться», «быть в волнении» глагол *вигравати* принадлежит к imperfectiva tantum. Поэтому последовательное применение семантического критерия объединения грамматических форм в парадигму требует, чтобы различные лексико-семантические варианты одного глагола такого типа спрягались как два глагола. Но в этом нет необходимости, потому что лексико-семантические варианты многозначного глагола имеют тождественные ряды спрягаемых форм в отличие от склонения лексико-семантических вариантов многозначных существительных типа *перо*.

Глаголы, связанные отношением п е р ф е к т и в а ц и и, в минимальных контекстах имеют широкий диапазон оценок: в основном от 0 до 7 баллов. Высшая оценка информантами степени лексического тождества глаголов свойственна минимальному контексту типа *Он м о г это сделать — Он с м о г это сделать* (7,2); но *мог — превозмог* (2,0), *мог — помог* (1,4). Самую низкую оценку имеет пара: *Он б ы л у него — Он з а б ы л о нем* (0,2); ср.: *был — прибыл* (2,6); *был — выбыл* (2,9); но в имперфективированной паре: *забыл — забывал* (7,7 балла).

В беллетристических текстах видовые отличия глаголов, находящихся в отношении перфективации, связаны с различиями в спрягаемых формах. Средняя оценка степени лексического тождества глаголов, находящихся в отношении перфективации, в связных текстах равна 7,5 балла: «Дагни ш л а по пустынным улицам — Дагни в ы ш л а к морю» (7,5); «Все время — и в поезде и здесь в деревне — он д у м а л о сюжете своей новой повести. Но сюжет расползался, уплывал, и Сергеев за несколько дней так ничего и не п р и д у м а л» (7,4); «Колодязь оцей — моя свiтлиця. То моє життя на цій планетi! Хай iнший ж и в е iнакше, а я так його п р о ж и в у» (7,8); «Що ти, мамо! Мотоцикл на те й винайдено, щоб на ньому їздити, мчати, летiти, давати найвищу швидкiсть... Це ж просто здорово: кермо та два колеса, а само їде, не їде — л е т и т ь! Уявляєш, якби на такому та в л е т i в куди-небудь... Скажiмо, мiж шатри стародавнiх скiфiв, мiж їхнi кибитки на дерев''яних колесах! Царi й коні, тарпани й гепарди — все перед тобою врозтiч!» (7,3).

Минимальные тексты дают возможность проследить различные оценки степени лексического тождества различного типа перфективированных глаголов с исходными глаголами б е з в л и я н и я ф а к т о р о в р а с ш и р е н н о г о т е к с т а. При этом относительно высокую оценку для глагольных пар, связанных отношением перфективации, имеет пара *Он д у м а л о н е й — Он п о д у м а л о н е й* (7,1 балла), но *Он д у м а л над этим вариантом — Он п р о д у м а л этот вариант* (6,3), а в паре *Он д у м а л писать письмо — Он п е р е д у м а л писать письмо* оценка степени лексического тождества глаголов низкая — 3,0 балла. Ср. также: *Она в и д е л а его — Она у в и д е л а его* (6,8); *Он в и д е л результаты — Он п р е д в и д е л результаты* (2,3); *Он к р и ч а л — Он з а к р и ч а л* (6,4); *Он к р и ч а л на него — Он н а к р и ч а л на него* (6,2); *Он к р и ч а л громко — Он п е р е к р и ч а л его* (4,0); *Он б е ж а л быстро — Он п о б е ж а л быстро* (5,2); *Он б е ж а л — Он п р о б е ж а л* (4,6); *Он б е ж а л — Он п о д б е ж а л* (3,9); *Он б е ж а л — Он п е р е б е ж а л* (3,8).

Итак, средняя (от 6,5 до 7 баллов), ниже средней (от 4,5 до 6,5 балла) и низкая (меньше 4,5 балла) степень лексического тождества не позволяет относить подавляющее большинство глаголов, связанных отношением перфективации (*читать рукопись — перечитать рукопись*, *читать рукопись — вычитать рукопись*, *читать рукопись — дочитать рукопись* и т. п.), к грамматическим видовым формам о д н о г о слова в отличие от глаголов, связанных отношением имперфективации (*перечитать — перечитывать*, *вычитать — вычитывать*, *дочитать — дочитывать*). Это касается и глаголов с так называемыми чистовидовыми, или аспектуализированными [11] приставками (*расти — вырасти*, *стареть — устареть*, *петь — спеть*, *играть — сыграть*, *звонить — позвонить*, *читать — прочитать*, *делить — разделить*). Префиксы меняют лексическое значение глагола и поэтому не могут считаться формообразующими средствами. Отсутствие аспектных формообразовательных коррелятов у значительной части глаголов типа *быть*, *мочь*, *знать*, *идти*, *хотеть*, *работать*, *видеть*, *думать*, *смотреть*, *стоять*, *делать*, *жить* и др. (imperfectiva tantum), *пойти*, *увидеть*, *подумать*, *посмотреть*, *сделать*, *написать*, *поехать*, *поставить* и т. п. (perfectiva tantum) последовательно объясняется сторонниками теории С. О. Карцевского и Ю. С. Маслова отсутствием тождества лексических значений в соотношениях типа *мочь — превозмочь*, *видеть — предвидеть*, *делать — переделать* и т. п.

В результате перфективации образуются глаголы с различной степенью лексической нетождественности с исходными глаголами несовершенного вида. А о лексической тождественности (несколько выше средней степени) следует говорить лишь в одном из проанализированных случаев: *мог — смог* (7,2 балла) и, возможно, в парах *думал — подумал* (7,1), *слышал — услышал* (7,0), *видел — увидел* (6,8). Это и есть случаи, которые находятся как бы на границе между лексическим и грамматическим (лексически нетождественными и тождественными явлениями): «Значение приставок этих глаголов, как правило, обобщено до такой степени, что глагол оказы-

вается на пути (разрядка наша.— *М. М.*) к тому, чтобы стать простой грамматической параллелью совершенного вида к соответствующему исходному глаголу» [7, с. 228].

Итак, в интуиции носителей языка «дистанции огромного размера» между грамматическим и лексическим не существует. Выявленные в психолингвистическом эксперименте различия в количественных оценках степени лексической тождественности грамматических форм и степени лексической нетождественности слов являются результатом взаимодействия в слове грамматического и лексического. Поскольку абсолютной лексической тождественности форм не существует, то исследователю необходимо, учитывая данные психолингвистического эксперимента, установить условную границу, за которой относительная лексическая тождественность переходит в относительную лексическую нетождественность. Иными словами, следует определить, где кончается грамматика и начинается лексика, т. е. где анализируемые языковые единицы являются не грамматическими формами одного слова (одного лексико-семантического варианта слова), а разными словами. Это сложная проблема. Между относительной лексической тождественностью лингвистических единиц и их относительной нетождественностью — между формами одного слова и различными словами — существуют переходные явления. Как отметил Л. В. Щерба: «...следует помнить, что ясны лишь крайние случаи. Промежуточные же в самом первоисточнике — в сознании говорящих (разрядка наша.— *М. М.*) — оказываются колеблющимися, неопределенными» [12]. Исследователь, сознательно схематизируя и по необходимости классифицируя, прерывает непрерывное.

Поэтому, учитывая различия морфемной структуры глаголов, связанных отношением перфективации и имперфективации, а также психолингвистические оценки их лексико-семантического тождества с исходными глаголами, можно провести лишь условную, относительную границу между грамматическим и лексическим. Точка 7,0 балла экспериментальной шкалы оценок от 0 до 10 баллов может служить такой границей, т. к. ниже этого балла расположено подавляющее большинство глаголов, связанных отношением перфективации, т. е. различных слов. На границе расположены переходные случаи от лексического к грамматическому.

Впрочем, грамматическими можно было бы считать лишь формы, которые имеют высшую степень лексического тождества, т. е. только личные формы глагола. Если бы такое условие было принято, то значительно снизилась бы ценность грамматической теории, которая исходит из взаимодействия лексического и грамматического и возможности построения на основе оценок результатов этого взаимодействия иерархии грамматических категорий. Тем более, что с точки зрения информантов резкой границы между грамматикой и лексикой не существует, в результате чего ее можно провести лишь условно, учитывая и психолингвистические и структурные данные — аффиксальное построение глаголов.

Точка шкалы 7,0 балла — наиболее «напряженная», драматичная точка данного эксперимента, т. к. этим баллом оценивается и часть глаголов, связанных грамматическим (формообразовательным) отношением имперфективации, и часть глаголов, связанных словообразовательным отношением перфективации.

Итак, грамматические формы глагола находятся в определенной иерархии, отраженной в различной степени лексической тождественности, установленной в психолингвистическом эксперименте. Высшую степень лексической тождественности имеют личные формы: укр. *бачу — бачиш, бачите — бачить*; несколько ниже эта степень у временных форм *бачу — бачив — бачитиму*; еще ниже — у видовых, связанных отношением имперфективации: *передбачив — передбачав*. Перфективированные глаголы характеризуются различной, выраженной количественно степенью лексической нетождественности, которая возникла в результате взаимодействия значений приставок со значениями различных исходных глаголь-

ных основ, ср.: укр. *бачив — побачив* (6,9); *бачив — передбачив* (2,6); *бачив — пробачив* (1,1).

Таким образом, психолингвистический эксперимент подтверждает гипотезу об отсутствии резкой границы между лексическим и грамматическим в слове. Он помогает выработать объективные количественные критерии, которые с учетом качественных свойств языкового материала раскрывают отличия в степени лексико-семантического тождества лингвистических форм, воплощающих различные категории. На этой основе строится иерархия грамматических форм в соотношении с лексическими единицами, в том числе находящимися в процессе грамматикализации. Отличия в степени лексико-семантического тождества лингвистических единиц являются следствием взаимодействия грамматической и лексической систем языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирницкий А. И.* Лексическое и грамматическое в слове.— В кн.: Вопросы грамматического строя. М., 1955.
2. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (проблема «тождества слова»).— Труды Ин-та языкознания АН СССР. Т. IV. М., 1954.
3. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957, с. 60.
4. *Клименко А. П.* Вопросы психолингвистического изучения семантики. Минск, 1970.
5. *Урбах В. Ю.* Биометрические методы. М., 1964, с. 25—40.
6. Статичні параметри стилів. Київ, 1967, с. 31—34.
7. *Карцевский С.* Система русского глагола.— В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.
8. *Маслов Ю. С.* Роль так называемой перфективации и имперфективации в процессе возникновения славянского глагольного вида, М , 1958.
9. *Русанівський В. М.* Структура українського дієслова. Київ, 1971.
10. *Маслов Ю. С.* Морфология глагольного вида в современном болгарском языке. М.— Л., 1963, с. 3.
11. *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976, с. 154.
12. *Щерба Л. В.* Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. I. Л., 1958, с. 35.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1984

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

МЕЛЬНИЧУК А. С.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА НА IX МЕЖДУНАРОДНОМ СЪЕЗДЕ СЛАВИСТОВ *

Состоявшийся 7—13 сентября 1983 г. в г. Киеве IX Международный съезд славистов был одним из наиболее представительных славистических съездов. В его работе приняли участие 1846 человек из 26 стран Европы, Азии, Америки и Австралии. На съезде было прочитано и обсуждено 514 докладов.

На пленарном заседании, посвященном открытию съезда, после завершения официальной вступительной части было заслушано три научных доклада: «Киев и его вклад в развитие славянских народов и в мировую культуру» (акад. Б. А. Рыбаков), «Тургенев и Марко Вовчок» (Б. Крефт, СФРЮ) и «Древность и современность о Ю. Крижаниче» (Й. Хамм, Австрия). Все последующее время работа съезда была распределена между пятью секциями: «Языкознание», «Литературоведение», «Литературно-лингвистическая проблематика», «Фольклористика» и «Историческая проблематика».

Как и на предыдущих съездах, секция «Языкознание» была наиболее многочисленной. На ее заседаниях было прочитано 199 докладов, вызвавших свыше 600 выступлений участников дискуссии. Шесть докладов — О. Н. Трубачева, К. Горалека (ЧССР), П. Ивича (СФРЮ), Д. Ворта (США), Э. Станкевича (США), В. М. Русановского и В. В. Нимчука,— посвященных различным вопросам языкознания, были вынесены на пленарное заседание секции. Остальные доклады читались на заседаниях пяти подсекций, работавших параллельно.

Представленные на лингвистическую секцию доклады отличались большим тематическим разнообразием. Значительное место в работе первой, сравнительно немногочисленной подсекции — «Праславянский язык в кругу других языков»,— заняла комплексная проблема славянского этногенеза. Лингвистические аспекты этногенеза славян рассматривались в четырех докладах, различавшихся между собой как исходным материалом исследования — в том числе преимущественно лексическим, включая топонимию (О. Н. Трубачев), фонетическим (В. Т. Коломиец), фольклорно-мифологическим (Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров), культурно-историческим и фонетическим (К. Горалек),— так и главными выводами содержавшими положения, с одной стороны, об изначальном пребывании славян на Среднем Дунае, об исконной диалектной расчлененности праславянского языка, о нереальности доисторического балто-славянского единства, о самобытности и постепенности фонетического развития праславянского языка и, с другой стороны,— о выделении праславян из балто-славянского единства в I тыс. до н. э. на небольшой территории между Днепром и Припятью, о взаимодействии фонетического развития протославянских говоров и праславянского языка с другими говорами и языками и т. д. Проблема славянского этногенеза рассматривалась также на основе археологических данных в четырех докладах, прочитанных на специальном заседании в секции «Историческая проблематика». Дискус-

* При фамилиях советских докладчиков в тексте обзора страна не указывается.

сия по докладам, прочитанным в обеих секциях, была продолжена на посвященном этой же проблеме заседании круглого стола, проходившем под руководством В. Хензеля (ПНР) и О. Н. Трубачева. Центральное место в дискуссии заняли вопросы методики исследования этногенеза. Выступившие в дискуссии 12 языковедов и 8 представителей смежных наук — истории, археологии, этнографии, антропологии — пришли к общему заключению о том, что решение проблем этногенеза требует интердисциплинарного подхода, причем первенствующее место должно быть отведено лингвистике. Что касается конкретного характера взаимосвязей между различными науками, то, по мнению большинства участников дискуссии, исследования должны проводиться в рамках каждой науки раздельно, и только на продвинутом этапе их результаты должны сопоставляться с данными других наук. Была высказана мысль о необходимости разработки проблемы славянского этногенеза на более широком фоне связей славян с другими этносами (В. В. Седов). Участники дискуссии касались конкретных вопросов доисторических балто-славянских отношений, локализации славянской прародины. Единого мнения по этим вопросам достигнуто не было. В связи с необходимостью их дальнейшей разработки было выдвинуто предложение о создании специального научно-информационного центра по этногенезу и комиссии при Международном комитете славистов.

Первостепенное значение лингвистических подходов для решения проблемы славянского этногенеза обусловило тесную связь ряда других прочитанных на подсекции докладов с докладами по этногенезу. Три из них были посвящены генетическим отношениям праславянского языка к широкому кругу других индоевропейских. В докладе Д. Брозовича (СФРЮ) излагалось понимание праславянского языка как результата вычленения из балто-славянского языка после окончательного распада индоевропейского праязыка. Доклад В. В. Мартынова содержал привлеченные для подтверждения гипотезы о висло-одерской прародине славян лексические данные, рассматриваемые в качестве результатов территориальных контактов праславянского языка с прагерманским, пракельтским, иранским и балто-славянского с италийским. В. П. Нерознак, предложивший в своем докладе замену метода статической реконструкции доисторических явлений языка методом динамической ретрогностики, исходил из гипотезы о двух последовательных членениях индоевропейского праязыка — первичного (на древнеазианийский — анатолийско-индоиранско-греческий — и древнеевропейский диалектные континуумы) и вторичного членения древнеевропейского континуума на отдельные языковые состояния, среди которых было и общеславянское, локализовавшееся первоначально в северном Причерноморье. В ряде других докладов этого же цикла рассматривались специальные вопросы балто-славянских доисторических языковых отношений. Большинство докладчиков — У. Шмальштиг (США), Р. Эккерт (ГДР), А. П. Непокупный и др. — поддержало различные варианты положения об особой степени доисторической близости балтийских и славянских диалектов. Категорическое отрицание балто-славянского языкового единства содержалось только в докладе В. Маньчака (ПНР), который на основании количественных соотношений слов из текста библии, имеющих одну и ту же этимологию в старославянском, литовском и готском переводах, а также в переводах на другие славянские и романские языки, сделал вывод, что балто-славянский язык никогда не мог существовать и что структурная близость балтийских и славянских языков объясняется только их соседством.

Ряд прочитанных на подсекции докладов был посвящен рассмотрению состояния и развития различных участков отдельных уровней структуры праславянского языка, в частности, фонетики — Ш. Ондруш (ЧССР), В. К. Журавлев, П. Лиели (ВНР) — и словообразования — Ф. Славский (ПНР), Ж. Ж. Варбот, Р. В. Кравчук. В коллективном докладе Р. В. Булатовой, В. А. Дыбо и А. А. Зализняка, наряду с обобщением основных результатов разработки праславянской акцентологии на современном этапе, излагались принципы построения подготавливаемого докладчи-

ками фундаментального труда нового типа — праславянского акцентологического словаря.

Часть докладов касалась проблематики генетических соотношений с праславянским отдельных славянских языков — серболужицких (Г. Шустер-Шевц, ГДР), болгарского (С. Иванчев, НРБ), кашубско-словинского (Ф. Хинце, ГДР), а также реннеисторических контактов славянских языков с неславянскими в пределах балканского ареала (А. В. Десницкая), на южнославянской языковой территории (В. Г. Келару, СРР) и на территории Верхней Мизии (И. Дуриданов, НРБ). Лингвистическая проблематика балканского и южнославянского ареалов заняла центральное место и в коллективном докладе С. Б. Бернштейна, Л. А. Гиндина и Г. П. Клепиковой, в котором освещались основные направления ведущейся в настоящее время работы над «Общекарпатским диалектологическим атласом». На заседании подсекции с одобрением было встречено важное для славянского исторического языкознания новое лексикографическое начинание — «Этнолингвистический словарь славянских народных древностей», которому был посвящен доклад Н. И. и С. М. Толстых.

В подсекции «Языковая ситуация в Киевской Руси и взаимоотношение древнерусского письменного языка с другими языками» центральное место занимали доклады, посвященные одной из двух основных тем подсекции — функциональному соотношению и взаимодействию в Киевской Руси собственно древнерусского и старославянского литературных языков. В прочитанных докладах эта проблема единого решения не получила. Согласно одной из высказывавшихся точек зрения (Б. А. Успенский), в Киевской Руси имела место диглоссия, в которой письменную функцию выполнял церковнославянский язык, между тем как в роли разговорного выступал местный древнерусский язык, лишь в части случаев подвергавшийся письменной фиксации. В связи с этим развивалось положение о ненормативности языка древнерусских юридических документов и в недостаточной степени учитывалась литературная значимость древнерусских летописей. Более широкую поддержку получило представление о языковой ситуации в Киевской Руси как о церковнославянско-древнерусском двуязычии функционального характера. Доклад В. М. Русановского и В. В. Нимчука, основывавшийся на исходном положении о параллельном и независимом друг от друга возникновении древнерусского и старославянского языков, содержал характеристику распределения функций и структурного взаимодействия двух этих языков в Киевской Руси, а также подробный анализ результатов двух последовательных древнерусских редакций церковнославянского языка. Значительная часть доклада была посвящена рассмотрению процесса проникновения элементов древнерусского языка в русско-церковнославянский язык на материале текста Оршанского евангелия второй половины XIII в. На основании проведенного анализа в докладе делается вывод, что в обоих литературных языках поддерживались четкие нормы, обеспечивавшие их относительную чистоту и тормозившие процесс их взаимопроникновения. По мнению П. Филковой (НРБ), церковнославянско-древнерусское двуязычие в Киевской Руси сочеталось с письменно-разговорной диглоссией в сфере собственно древнерусского языка, т. е. под термином «диглоссия» в данном случае предлагалось понимать обычное единство литературной и разговорной форм одного и того же языка. Высказывалось и двойственное понимание языковой ситуации в Киевской Руси одновременно как двуязычия и как диглоссии. Была подчеркнута роль традиции в поддержании функционального размежевания церковнославянского и собственно древнерусского письменных языков (К. Д. Земан, ФРГ). На заседании подсекции обозначились терминологические расхождения в обозначении старославянского языка русского извода. В частности, было высказано возражение против употребления в этом значении формулировки «русская редакция староболгарского языка».

Часть прочитанных на подсекции докладов касалась вопросов последующего взаимоотношения русско-церковнославянского и древнерусского языков с другими языками, главным образом с употреблявшимся в южно-

славянских землях старославянским языком. Тематически сюда относился и доклад Д. Ворта (США) о втором южнославянском влиянии, вынесенный на пленарное заседание секции. В докладе получило дальнейшую конкретизацию предложенное уже другими исследователями (в частности, Ф. П. Филиным) понимание так называемого второго южнославянского влияния в письменном языке Московской Руси конца XIV—XV вв. не столько как результата южнославянского воздействия, сколько как проявления местной тенденции к восстановлению старой письменной традиции, восходящей к Киевскому периоду. Отдельные доклады были посвящены рассмотрению влияния русской письменной традиции на древнеболгарские (македонские) тексты XIII—XIV вв. (Б. Конески, СФРЮ) и на сербские тексты XIII в. (Й. М. Райнхарт, Австрия), а также принятия русскославянского языка в Сербии в XVIII в. (А. Младенович, СФРЮ).

В двух докладах рассматривались вопросы структуры живого древнерусского языка по данным отдельных памятников — Киевской летописи XII в. (А. С. Мельничук) и новгородских берестяных грамот (М. Думитреску, СРР). Был подчеркнут особенно последовательно выраженный древнерусский характер языка Киевской летописи и предпринята попытка характеристики фонетических особенностей древнерусского протографа сохранившегося списка 1425 г. Доклад о языке берестяных грамот содержал семантический и морфологический анализ лексики грамот. Выступивший в обсуждении этого доклада А. А. Зализняк сообщил ряд интересных результатов нового палеографического и лингвистического исследования грамот, в частности факты, свидетельствующие об отсутствии в говоре древнего Новгорода второй переходной палатализации заднеязычных.

С интересом был выслушан доклад М. Альтбауэра и М. Таубе (Израиль) о происхождении древнерусского перевода книги Эсфирь. Путем обстоятельной филологической аргументации в докладе подтверждено не принимавшееся до сих пор большинством исследователей мнение А. И. Соболевского о том, что этот перевод был сделан в Древней Руси на церковно-славянский язык не непосредственно с древнееврейского оригинала, а с греческого перевода. И. Тот (ВНР) в результате рассмотрения графики и орфографии древнерусских списков трех древнеболгарских рукописей — Слуцкой псалтыри, Реймсского евангелия и русской части Саввиной книги — пришел в своем докладе к выводу о том, что в определенных культурных центрах Древней Руси существовали разные графические школы, отражавшие видоизменения древнеболгарской графики на Руси.

Заслушанные на заседании подсекции доклады и вызванная ими дискуссия привели к существенному уяснению ряда вопросов, касающихся проблемы языковых отношений древнерусского периода. Вместе с тем в ходе дискуссий неоднократно подчеркивалась необходимость более глубокого изучения фактического материала как основы для предпринимаемых в этой области теоретических обобщений.

Третья подсекция секции «Языкознание» — «Генетическое, типологическое и ареальное изучение славянских языков» — отличалась особым разнообразием и чрезвычайной дробностью тематики. Это объясняется в значительной степени тем, что под рубрику типологических исследований здесь был подведен ряд докладов, имевших чисто описательный характер или касавшихся различных теоретических вопросов грамматики славянских языков. На заседаниях подсекции было прочитано свыше 60 докладов, в обсуждении которых состоялось 125 выступлений. Общим вопросам, связанным с основной темой подсекции, был посвящен доклад Р. Лётча (ГДР) о соотношении генеалогической, типологической и ареальной классификации славянских языков и диалектов. В докладе проведена мысль о том, что ни один из трех подходов из-за объективных причин не может обеспечить последовательной классификации славянских языков, поскольку почти каждый выделяемый в таких случаях структурный признак либо оказывается свойственным не всем языкам, объединяемым в

соответствующую подгруппу, либо встречается спорадически и в языках других подгрупп. Дополнение одного подхода, в частности генетического, элементами другого, например, типологического, еще более усложняет общий результат. Поэтому приходится довольствоваться чисто условной, прагматической классификацией, учитывающей прежде всего генетический и ареальный аспекты и лишь с определенными ограничениями типологические отношения. Соотношения генетического и типологического аспектов сравнительного изучения отдельных явлений славянских языков касался и доклад Р. Крайчовича (ЧССР) о генетической интерпретации параллелизмов в славянских языках. Параллелизмы, т. е. новые структурные признаки, общие для двух или нескольких (не всех) славянских языков, предлагается рассматривать с точки зрения соотношения внутриструктурных источников и хронологических (в частности, доисторического, т. е. дописьменного, и исторического) этапов их возникновения.

Ряд докладов был посвящен генетическому объяснению различных явлений фонетики и грамматики славянских языков. Поскольку в этих докладах речь идет о параллельных явлениях периода раздельного существования славянских языков, ведущую роль в них играет учет общих для соответствующих языков внутриструктурных факторов возникновения рассматриваемых явлений. Так, например, в докладе М. Комарека (ЧССР) об историческом изменении $g > h$ в ряде славянских языков и диалектов рассматривается роль изменения $g > \gamma$ перед прорывными согласными (*noγti*) после падения редуцированных как фонетической предпосылки фонологического изменения $g > h$ и роль изменения возникшей из *g* перед *ě*(*i*) аффрикаты *dź* в щелевую фонему *ź* (*noźe*) как фонологического стимула перехода $g > h$. В докладе Дж. А. Дана (Великобритания) о конструкции «им. п. + инфинитив» делается вывод об общевосточнославянском характере этой конструкции и об отсутствии ее следов в остальных славянских языках. Важные уточнения и дополнения в существующее научное представление о процессах изменения и современном состоянии рефлексов *о*, *е* в закрытых слогах и рефлексов *ѣ* в крайних западных говорах украинского и белорусского языков содержались в посвященном этому вопросу обстоятельном докладе В. Курашкевича (ПНР). Некоторые из докладов с преобладающим генетическим аспектом были построены в виде собственно исторических разработок на материалах различных периодов развития одного и того же языка или же языка и предшествовавшего ему праязыка. Так, например, доклад Р. Б. Кершисне, С. Е. Морозовой и М. Н. Преображенской содержал результаты выполненного докладчиками монографического исследования сложных синтаксических конструкций древнерусского и старорусского языков XI—XVII вв., характеризующихся различными служебными синтаксическими средствами связи (начинательными союзами *и*, *а*; синтаксическими частицами *же*, *бо*, *ли*; сочинительными союзами *и*, *а*, *но*; подчинительными союзами; союзами, соотнесенными с коррелятами, типа *когда—тогда*) и связанными с этими средствами семантико-синтаксическими и формальными особенностями сложных конструкций и их компонентов. Собственно исторические разработки содержались также в докладах К. Лиукконена (Финляндия) о происхождении русских отглагольных наречий на *-мя*, Дж. Николс и Дж. Шаллерт (США) о теме и реме в причастном обороте с «повышением субъекта» (типа «печенѣзи мьнѣша князя пришьдъша») в древнерусском и общеславянском и др. К этой же группе примыкают доклады Г. А. Богатовой, В. Я. Дерягина и Г. Я. Романовой «Славянская историческая лексикография и проблемы региональной характеристики слова» и Г. Болокана, И. Робчука, А. Регуш и К. Регуша (СРР) «Словарь славяно-румынских грамот XIV—XVI вв.». Скорее к реконструкции праславянского языка, чем к изучению современных славянских языков, должен быть отнесен доклад Й. Русека (ПНР) о лексическом делении славянских языков, в котором на основе фактов, обнаруженных в южнославянских языках, обосновывается общеславянское распространение слов *baranъ*, *sosna*, *gribъ*, *suka*, **vorbьlь* «воробей», *slimakъ*, считавшихся до сих пор севернославянскими диалектизмами. Непосредственно к области

исследования праславянского языка принадлежат доклады Я. Басары (ПНР) о праслав. **рǫk* и его реализации в славянских диалектах (по материалам ОЛА) и Т. Б. Лукиновой о лексике славянских языков, отражающей духовную культуру древних славян, который содержал, в частности, убедительное этимологическое объяснение слова *упырь* как сложения праслав. **ǫ* «не» и **pīr-* «огонь, жечь», т. е. «несожженный (мертвец)».

Докладов, принадлежащих к чисто типологическому направлению, на заседаниях подсекции оказалось сравнительно немного. Это были доклады, в которых давались типологические или историко-типологические характеристики отдельных славянских языков или диалектов — украинского (Л. Дэже, ВНР), русинского (Э. Барич, СФРЮ), говоров русских старообрядцев в иноязычном окружении (И. Пабис, ПНР и Ц. Йотов, НРБ), а также излагались результаты сопоставительного изучения отдельных явлений словообразования и синтаксиса в славянских языках — доклад Й. Соколовского (ПНР) о распространенности прилагательных с префиксом *не-* в различных славянских языках, С. Вархола (ПНР) об экспрессивных образованиях с формантом *-ica* в восточнославянских языках в сопоставлении с польским (с учетом исторических данных), Г. А. Тагамлицкой (НРБ) о соотношении адъективных (предикативных) и адвербиальных или деепричастных (обстоятельственных) способов обозначения признака в предложениях болгарского и русского языков, Д. Вейсса (Швейцария) о типологических особенностях польского синтаксиса в сопоставлении с русским и чешским языками, Г. Г. Корбетт (Великобритания) о правилах согласования сказуемого с группой однородных подлежащих в различных славянских языках. Характер исследования языкового материала в этих докладах практически ничем не отличался от исследовательского подхода, преобладавшего в докладах на аналогичные темы, представленных на подсекцию по конфронтационной проблематике. Четыре доклада типологического плана касались уровня фонологии. Все они были выполнены на материалах славянских диалектов (коллективный доклад М. И. Ермаковой, Л. Э. Калнынь, Л. И. Масленниковой и Т. В. Поповой; доклады И. Кочева, НРБ; А. Зданюкевича, ПНР; Д. А. Яхича, СФРЮ). В докладе А. Басары, З. Тополиньской и Х. Здуньской (ПНР) о фонетических рефлексах *ě* в славянских диалектах, выполненном на материале соответствующих карт ОЛА, преобладал ареальный аспект. На представленной в докладе обобщенной карте учтены только рефлексы *ě* в наиболее независимой позиции, для различных языков и диалектов определяемой неодинаково (чаще всего под ударением перед твердой согласной). В докладе подтверждается выдвинутое З. Штибером положение о том, что развитие *ě* в большинстве славянских языков пошло в направлении сужения.

Заметное место в работе подсекции заняло рассмотрение типологических особенностей и путей исторического развития славянских литературных языков: К. И. Трофимович «Преемственность в развитии норм западнославянских литературных языков», И. Манкен (ФРГ) «Существовал ли в Болгарии помимо староцерковнославянского языка особый устный культурный язык?», доклады Й. Пенчева (НРБ), Х. Станева (НРБ), Й. Хлоупека (ЧССР), Р. Ц. Русинова (НРБ). На поставленный в заголовке своего доклада вопрос И. Манкен отвечает утвердительно.

Ареальный аспект исследования наиболее непосредственно был представлен в докладе В. М. Мокиенко о проблемах ареального описания восточнославянской фразеологии и в четырех докладах, касавшихся проблематики балканского языкового союза (А. Минчевой, НРБ; Г. А. Цыхуна; П. Илиевского, СФРЮ; Х. Ожеховской, ПНР). Одно из центральных мест в этих докладах занимало рассмотрение фактов межъязыковых контактов и влияний. Эти же вопросы в качестве основных рассматривались в ряде других докладов, посвященных межславянским языковым взаимоотношениям (доклады С. Урбаньчика, ПНР; Т. Курочицкого, ПНР; В. Р. Жепки и Б. Вальчака, ПНР; А. Золтана, ВНР; А. Ковальской, ПНР; И. Соколовского, ПНР; Р. Ленчека, США; Я. Дорули, ЧССР;

Т. А. Цивьян и Т. М. Судник и др.). Аналогичная тематика обсуждалась и в докладах, представленных на подсекцию, посвященную конфронтационному изучению славянских языков (А. Шенкер, США; Б. Фалиньская и А. Ковальская, ПНР; Е. Георгиева, НРБ; И. Тарнавецкая, Канада; Л. Кузьмин, Австралия; Т. Пристли, Канада; Р. Олеш, ФРГ). Большинство этих докладов отличалось новыми подходами к рассматривавшимся в них вопросам.

Ряд докладов касался вопросов славянской топонимии (В. П. Лемтюгова; Х. Борек, ПНР; Э. Эйхлер, ГДР; К. Рымут, ПНР) и антропонимии (В. А. Никонов; М. Карплюк, ПНР). На подсекции был заслушан также доклад В. Любася (ПНР), в котором предлагалось применение в славянском языкознании компаративной социолингвистики как метода исследования. Отдельные доклады были посвящены серболужицкой диалектологии (С. Михалк, ГДР), морфологическим особенностям отдельных групп языков (Р. Александер, США; Й. И. Бьорнфлатен, Норвегия), семантике (Ф. Йонесиге, Япония; М. Митков, СФРЮ) и др.

Четвертая лингвистическая подсекция — «Конфронтационное изучение фонологии, грамматики и лексики современных славянских языков» — по количеству представленных на нее докладов оказалась настолько обширной, что ее пришлось разделить на две половины и проводить параллельные заседания с тематически разными докладами в двух отдельных залах. В общей сложности здесь состоялось 23 заседания, на которых было прочитано 77 докладов, вызвавших интенсивную дискуссию (283 выступления). Тематика докладов этой подсекции по сравнению с предыдущей характеризовалась большей компактностью. Свыше половины прочитанных здесь докладов касалось вопросов конфронтационного изучения лексики и семантики, синтаксиса и словоизменения.

Теоретические основания направления в целом затрагивал доклад А. В. Бондарко «Проблемы и методы сопоставительного изучения грамматических категорий в славянских языках», в котором рассматривалось распространение на конфронтационное исследование языков принципов функциональной грамматики, в частности применение к этому исследованию разрабатываемого докладчиком понятия функционально-семантического поля. В докладе Я. Мистрика (ЧССР) подчеркивалось усиление конвергентных тенденций на современном этапе развития славянских языков. В докладе С. ван Схонефельда (США) излагалась оригинальная теория морфологических и лексико-семантических структур славянских языков, согласно которой семантическая структура каждого славянского языка состоит из небольшого количества (возможно, шести) семантических компонентов, повторяющихся в различных категориях лексики и грамматики.

Среди докладов, посвященных вопросам конфронтационного изучения лексики и семантики, особого внимания заслуживает доклад А. Е. Супруна «Сопоставительное (конфронтационно-типологическое) изучение лексики славянских языков», в котором выдвинуто понятие типа лексикона, рассчитанное на всестороннюю типологическую характеристику лексического состава языка по ряду формальных, количественных и семантических параметров. К этой же группе принадлежали доклады И. Червенковой (НРБ) «К специфике сопоставительного исследования близкородственных языков (на материале русского и болгарского языков)», И. Филипца (ЧССР) «Проблемы конфронтационной синонимики в современных славянских языках», Р. М. Цейтлин «Сравнительная лексикология славянских языков X—XIV вв. (Проблемы и методы)», Л. С. Паламарчука, И. Ф. Андерша, И. А. Стоянова «Сопоставительное исследование лексико-семантических отношений в славянских языках», а также Б. Маркова (СФРЮ), Э. Секаниновой (ЧССР), Т. Мориясу (Япония), Л. Вильске (ГДР), Й. Матияшевич (СФРЮ), Г. Г. Бильфельдта (ГДР), О. Яшар-Настевой (СФРЮ), Е. Фодор (СРР) и др. В выступлениях участников дискуссий высказывалась мысль о необходимости расширения координируемых работ по сравнительному изучению лексики славянских языков при едином общем руководстве.

Почти столь же многочисленными были доклады по сопоставительном изучению синтаксиса. Отличительной чертой значительной части этой группы докладов была последовательная увязка особенностей формально-синтаксической структуры с общесемантическим уровнем предложения, проводимая в основном с позиций различных вариантов генеративной грамматики или близких к ней семантико-синтаксических концепций, в том числе с применением математической методики. Так, например, сложные вопросы соотношения субъектных значений инфинитивных и деепричастных оборотов с субъектом основного предложения в русском и других славянских языках решались в докладе Р. Ружички (ГДР). К этой же группе принадлежали доклады Р. Зимека (ЧССР) «Структурно-семантические типы высказываний в русском языке», Р. Мразека и С. Жажи (ЧССР) «Понятие субъекта с точки зрения типологии славянского предложения», А. ван Холька (Нидерланды) «Безличный агент в славянских языках», Э. Гайичовой, Й. Паневовой и П. Сгалла (ЧССР) «Структура предложения и актуальное членение в славянских языках со сравнительной точки зрения». Однако в большинстве докладов на синтаксические темы, содержавших ряд новых наблюдений и обобщений, преобладал обычный описательно-сопоставительный подход, иногда с учетом исторической перспективы. Такой характер имели доклады К. Штайнке (ФРГ) «К синтаксису количественных числительных в русском, польском и болгарском», Э. Кайзер (ФРГ) «Конфронтативный анализ семантики и функций славянских предлогов», А. Сато (Япония) «Пассивные конструкции с причастием совершенного вида в польском и русском языках», А. Мустайоки (Финляндия) «Системные расхождения в глагольном управлении в русском и финском языках», К. Давидсона (Норвегия), Ф. Данеша и З. Главсы (ЧССР), Б. Корубина (СФРЮ), Р. Конрада (ГДР), К. Костова (ГДР), Э. Ведель (ФРГ).

Из докладов, касавшихся морфологической проблематики, общесемантический уровень был охвачен в одном лишь докладе Х. Беличовой-Кржижковой (ЧССР) «Интенциональная структура предиката и категория падежа в современных славянских языках», в котором одно из центральных мест занимают и вопросы семантической структуры предложения. Актуальным общим вопросам сопоставительной морфологии были посвящены доклады А. Г. Широковой «Вторичные функции грамматических категорий в славянских языках. Проблемы транспозиции» и Л. Н. Смирнова «Проблемы и задачи сопоставительной славянской аспектологии». Более частные вопросы рассматривались в докладах Т. Матиассена (Норвегия) «Родовая „иерархия" и оппозиции „маркированности": „немаркированности" в славянских и балтийских языках», Я. Петра (ЧССР) «Славянские краткие прилагательные», В. Васченко (СРР), М. Савича (СФРЮ), М. Кравара (СФРЮ), Г. Марвана (Австралия) и др.

Отдельных вопросов конфронтативной фонологии касались представленные на подсекцию доклады Я. Сабола (ЧМСР) «К проблематике нейтрализации фонологических противопоставлений в славянских языках», В. Шпербера (ГДР) «Группы согласных в начале и в конце словоформ в славянских языках», Й. Топоришича (СФРЮ), Б. Видоеского (СФРЮ), Й. Гвоздановича (Нидерланды), Г. Невекловски (Австрия); вопросы словообразования рассматривались в докладах В. В. Лопатина и И. С. Улуханова «Сходства и различия в словообразовательных системах славянских языков», М. Ивич (СФРЮ) «О некоторых принципах глагольной префиксации в славянских языках», Б. Крея (ПНР) «Проблема словообразовательных моделей», М. Стаматоского (СФРЮ) «Некоторые характерные антропонимические суффиксы у славянских народов»; вопросам фразеологии были посвящены доклады М. Басая (ПНР) «Актуальные проблемы фразеологии», К. Ничевой (НРБ), Б. Реяковой (ПНР) и др. В отдельных докладах рассматривались вопросы взаимоотношения лексики и грамматики (К. Иванова, Л. Лашкова и П. Баракова, НРБ), категория определенности — неопределенности в болгарском, английском и русском языках (С. В. Чвани, США), особенности строения разговорной речи (Е. А. Земская), проблема реконструкции дославянских субстратных языков на

основе славянских субстратных элементов (О. Б. Ткаченко), системные признаки афатических расстройств (Х. Межеевская, ПНР), взгляд И. А. Бодуэна де Куртенэ на историческое формирование артикуляционной базы (Ж. Дюрен, Франция).

На заседаниях пятой подсекции — «Развитие современных восточнославянских литературных языков» — было прочитано 10 докладов. Общей проблеме, вынесенной на обсуждение подсекции, был посвящен доклад Г. П. Ижакевич и В. И. Кононенко «Основные тенденции внутриструктурного развития и взаимодействия современных восточнославянских литературных языков. В докладе выделены две пары общих для современных восточнославянских литературных языков взаимодействующих противоположных тенденций развития: в рамках каждого отдельного языка — ведущая тенденция к дальнейшей дифференциации образований и форм и противоположная ей тенденция к унификации, регулярности форм, устранению вариантности и дублетности; в отношениях между тремя языками — ведущая тенденция к развитию параллелизма лексико-семантических, словообразовательных и словоизменительных процессов и противоположная ей тенденция к размежеванию средств словообразования и словоизменения. Общим тенденциям развития современного русского языка был посвящен доклад А. Бартошевича (ПНР), в котором выделяются тенденции к усилению компрессии и росту аналитизма, к дальнейшей интеллектуализации и демократизации языка, к обобщению и дифференциации языковых средств выражения. Вопросам развития русского литературного языка были посвящены также доклады Г. Хютль-Фольтер (Австрия) «Проблематика языкового наследия в русском литературном языке нового времени» и Х. Флекенштейна (ГДР) «Проблемы развития русского литературного языка во второй половине XVIII в.» Доклад К. Гутшмидта (ГДР) «К вопросу о развитии стиля белорусской прозы (в сравнении с русской и украинской прозой)» содержал в основном анализ стилистической роли имен собственных в произведениях белорусской художественной литературы дооктябрьского периода. Остальные представленные на эту подсекцию доклады касались частных вопросов синтаксиса восточнославянских литературных языков (С. Акинер, Великобритания; С. П. Георгиев, НРБ; М. Гиро-Вебер, Франция; В. Гладров, ГДР) и системы грамматических терминов в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (Дз. Сато, Япония).

Лингвистические аспекты в различной степени проявлялись и в большинстве докладов, прочитанных на секции «Литературно-лингвистическая проблематика». Ряд таких докладов был представлен на заседаниях подсекции «Вопросы семантической и формальной структуры словесного искусства у славян». В частности, доклад К. Гаузенбласа и А. Мацуровой (ЧССР) «От языка и тематики к стилю и смыслу (Некоторые вопросы изображения субъекта и мира)» касался вопроса о различных уровнях коммуникации в семантико-стилистической структуре текста художественного произведения — первичной коммуникации (уровня авторской речи) и вторичной и т. д. коммуникации, проявляющейся в семантике первичной коммуникации. В докладе Н. А. Нильсона (Швеция) проведено сопоставление стилистического синтаксиса А. П. Чехова и И. Бабеля. Различные вопросы теории стиха рассматривались в докладах Т. Икмана (США) «Верлибр в славянской поэзии», З. Гауптовой (ЧССР) «Старославянский стих в отношении к стиху византийскому» и Я. Корженского (ЧССР) «Взаимоотношения семантической, грамматической и стихотворной структуры поэтического текста».

В специальную подсекцию была выделена проблематика теории художественного перевода, межславянского художественного перевода, переводов с неславянских языков на славянские и со славянских на неславянские. Важные теоретические положения и выводы содержались в докладах П. М. Топера «Актуальные вопросы теории художественного перевода», А. Р. Волкова, А. И. Гайничеру, И. П. Мегелы «Проблемы художественного перевода с неславянских языков на славянские», Г. Егера (ГДР), В. К. Житника, Е. М. Верещагина и мн. др.

Значительное внимание на секции было уделено текстологическим проблемам славянских языковых и литературных памятников. Два доклада по этой тематике были вынесены на пленарное заседание секции. В одном из них — докладе М. Копецкого (ЧССР) «Текстологические проблемы славянских языковых и литературных памятников» — было сконцентрировано внимание на вопросах, касающихся исходного текста, на сравнительном аспекте текстологической работы и на некоторых особенностях исследования языковых памятников. На пленарном заседании был прочитан также доклад Г. Михаилэ (СРР) «Славяно-румынские рукописи и издания письменных памятников южных славян». В докладе П. Вашака (ЧССР) «Системная текстология» излагалось разработанное автором на основе кибернетических принципов понимание общей модели текстологии как системы «автор — текст — общество», состоящей из двух подсистем: «становление и расширение текста» и «восприятие произведения». В докладе Л. П. Жуковской представлены результаты проведенного докладчиком текстологического и лингвистического исследования «Пролога» (избранные византийские, русские и инославянские статьи). Доклад Э. Чино (Япония) содержал сравнительный анализ нескольких текстов старославянских псалтырей. Был прочитан также доклад В. Десподовой (СФРЮ) «Сходства и различия в двух основных типах южнославянских полных апракосов» и др.

К лингвистической области принадлежали доклады Х. Шаллера (ФРГ) «Сравнительные аспекты лингвистики текста русского и других славянских языков», Г. Кьетсо (Норвегия) «Норма поэтического языка пушкинского времени. Опыт сопоставительного анализа» и некот. др.

На заседании круглого стола, посвященном Юрию Крижаничу, проходившем под председательством Й. Хамма (Австрия) и А. Н. Робинсона, было прочитано 10 докладов и сообщений. В них были рассмотрены разнообразие и богатство содержания трудов Ю. Крижанича (В. В. Зеленин), значение его работ в области акцентологии (А. Пецо, СФРЮ), значение трудов Ю. Крижанича для исторической лексикологии славянских языков (Г. В. Судаков), лингвистические аспекты философии Ю. Крижанича (Э. В. Жулинская), замечания Ю. Крижанича на полях «Кирилловой книги» (И. Голуб, СФРЮ), оценка деятельности Ю. Крижанича акад. А. А. Шахматовым (В. И. Макаров) и другие вопросы.

Практически все доклады, представленные на съезд, были предварительно опубликованы национальными комитетами славистов в специальных сборниках, номерах периодических изданий или в виде отдельных брошюр. Опубликован также сборник резюме всех докладов (Резюме докладов и письменных сообщений. IX Международный съезд славистов. Киев, сентябрь 1983. М., 1983). Материалы состоявшейся на съезде дискуссии готовятся к печати.

Работа секций языкознания и литературно-лингвистической проблематики проходила в обстановке делового и научно объективного подхода к рассматриваемой проблематике. Доклады и выступления были в целом свободны от необоснованных теоретических построений и односторонних увлечений какими-либо модными методологическими течениями. Это обстоятельство может рассматриваться в качестве непосредственного проявления все более последовательной общей методологической ориентации современного славянского языкознания на реалистический, соответствующий принципам диалектического материализма учет действительных фактов языка в их разноаспектных внутренних и внешних системных связях и в их историческом развитии.

РЕЦЕНЗИИ

Бондарко А. В. **Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии.**— Л.: Наука, 1983. 208 с.

В заглавии книги А. В. Бондарко представлены две области, которые находятся в центре лингвистической проблематики современности: актуальность функциональной грамматики обусловлена важностью изучения языка в действии, а категория аспектуальности, привлекавшая внимание почти исключительно славистов, в последнее время начала рассматриваться в общеязыковедческом плане [1]. Следует отметить, что А. В. Бондарко в каждой работе, посвященной этим областям, расширяет и углубляет круг рассматриваемых вопросов и вводит изменения в методику анализа, что характерно и для данной книги, состоящей из двух частей: I — Теоретические вопросы функциональной грамматики (с. 3—115) и II — Исследование функций глагольного вида и аспектуальных ситуаций (с. 116—189). Заключение (с. 190—200) посвящено характеристике категориальных и аспектуальных ситуаций, т. е. понятий, которые важны для исследований высказывания и текста.

Посылки своей концепции А. В. Бондарко находит в развитии грамматической традиции и рассматривает данную разновидность функциональной грамматики (ФГ) в качестве «дополнительной по отношению к основному типу грамматического описания» (с. 6), поскольку движение от формы к значению было и остается основным принципом грамматики. Вместе с этим, характеризуя основы построения ФГ, автор отмечает, что они менее ясны, чем принципы грамматики формальной. По его мнению, ФГ включает описание семантических категорий, опирающихся на различные средства их выражения в грамматике, а также изучение закономерностей и правил функционирования грамматических форм и конструкций, взаимодействующих с единицами разных уровней языковой системы при передаче содержания. Соблюдая принцип анализа «от функции к средствам ее выражения», необходимо выявлять разновидности отдельных функций, которые не совпадают со значением, определяемым как внутреннее системно значимое свойство формы, относящееся к содержательной стороне языка. В качестве основного принципа построения ФГ названо описание системы функционально-семантических полей (ФСП) как единств разных уровней и рангов, и даны русские примеры таких систем, обладающих моно- и полицентрическими структурами. Такое описание должно быть дополнено проекцией на речь, где происходит взаимодействие ФС-полей в высказывании.

А. В. Бондарко неоднократно возвращается к тому, что при описании ФС-полей как основного своего компонента ФГ должна опираться не просто на семантику, а лишь на категориальные смыслы, «которые в своем языковом воплощении не только выражаются так или иначе в речи, но и принадлежат строю языка, лежат в основе грамматических (лексико-грамматических) единиц, классов, категорий» (с. 52). Это напоминает о былой морфологической ориентации в теоретических разработках автора. Автор и сам указывает, что значительно сложнее дело обстоит в области синтаксических конструкций, и задает вопрос: «Какие конструкции являются категориальными, а какие некатегориальными?»(с.53).Можно было бы переформулировать вопрос и спросить: если исходить не из теории ФС-полей, а из принципов развертывания синтаксических конструкций, в которых учитываются другие функции [2], то могут ли категориальные смыслы определяться по степени информативности, данности/новизны, известности/неизвестности, соответствия/нарушения развертывания логики мысли, выражения в средствах языка фактов реального/воображаемого мира и т. п.? И далее — можно ли с этих позиций подойти к определению функциональных свойств морфологических средств? По-видимому, можно, но это будет уже другой вариант ФГ, и, следовательно, разбирать теорию А. В. Бондарко надо, став на его позиции.

Автор показывает соотношение конкретно-языкового и универсально-понятийного аспектов ФСП, последний из которых отражает общность мыслительных категорий, восходящих к единству отражения субстанций, свойств и отношений объективной внеязыковой действительности. Семантические категории и признаки, лежащие в основе ФСП в их конкретно-языковой интерпретации, рассматриваются в виде элементов строя данного языка, т. е. его онтологии.

В главе, посвященной семантическим основаниям ФГ, предложено различать

[1] Сошлемся хотя бы на то, что в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес) имел место международный симпозиум о категории вида, представленной на материале малайского, китайского, индонезийского, креольских, турецкого, английского, русского и даже языка жестов у глухонемых [1].

уровень единиц и категорий мыслительного содержания и уровень единиц и категорий языкового содержания, строящийся на первом, но обусловленный системой данного языка (с исключением асемантического структурного содержания).

В виде рабочей гипотезы выдвигается положение об иерархии понятийных категорий и выделении двух уровней—универсальных фундаментальных категорий и категорий, реализующихся в семантических функциях данного языка. Демонстрируется также относительная самостоятельность языкового и мыслительного содержания, а также универсальность основных грамматических значений, которые могут в конкретных языках сопровождаться периферийными элементами типа ближайшего будущего, противопоставленного отдаленному будущему (там, где есть соответствующие формы). На этих основаниях автор выводит принцип автономности функциональных грамматик различных языков, т. е. построения ФГ на основе универсальных фундаментальных единиц, категорий и группировок мыслительного содержания с учетом семантической интерпретации их в каждом отдельном языке. Этот принцип следует всемерно поддержать, т. к. он позволяет сравнивать структуру ФС-полей в разных языках и демонстрировать их специфику.

В первой части книги на материале поля аспектуальности ставятся проблемы сопоставительного и диахронического исследований в рамках ФГ. Показано, что ФСП аспектуальности конституируется языковыми средствами, объединенными семантическими функциями, которые принадлежат к области аспектуальных отношений, универсальных в своей основе. К числу последних отнесены: предельность/непредельность, развитие процесса/целостность факта, действие или состояние, локализованность/нелокализованность действия во времени и пр. В качестве доминанты ФСП названо различие между единичностью и повторяемостью действия, т. е. его локализованностью и нелокализованностью во времени. В русском языке этот признак различает совершенный и несовершенный виды (далее — СВ и НСВ) наряду с признаками отношения действия к его пределу, но важнейшим признаком является признак целостности/нецелостности действия.

Далее автор предлагает программу сопоставительного исследования поля аспектуальности в разных языках, отметив две проекции: на систему языка и на высказывание и, шире, текст. В первом случае исследуются соотношения иерархии компонентов поля и иерархии семантических признаков, а во втором вводится понятие аспектуальной ситуации. Показано также, что весьма важным является и диахроническое исследование становления ФСП, например, глагольного вида и залога в славянских языках. Центр поля формировался здесь во взаимодействии с лексикой и словообразованием на базе древней тесной связи аспектуальных и залоговых семантических категорий в индоевропейских языках.

Анализ функционирования грамматических единиц, прежде всего слова, должен, по мнению А. В. Бондарко, проводиться на трех уровнях их существования: абстрактно-грамматической системы, репрезентации этой системы в лексических единицах и их функционирования в тексте. На первом уровне категориальные значения форм выступают как обобщенные содержательные типы, на уровне репрезентации они проявляют зависимость от лексики, а на уровне реализации взаимодействие с лексикой может быть представлено в отдельном слове. Далее дано описание грамматически значимого контекста и взаимодействия с ним грамматической формы. Таким образом, можно сказать, что основной пафос первой части рецензируемой книги состоит в утверждении того, что описание системы ФС-полей выступает как главный принцип решения более широкого вопроса — проблемы характера системности в языке. Из материала книги явствует, что система в языке не может быть сведена к оппозитивным отношениям, как полагают многие, а представляет собой более сложную сетку отношений, в которой играют роль не только статические, но и динамические характеристики. Последние обнаруживаются при функционировании языка, т. е. в речи.

Во второй части книги автор при анализе категории СВ и НСВ в русском языке пытается выйти за пределы грамматического учения о слове. В этой части дан анализ аспектуальных ситуаций, который позволяет раскрыть видовую семантику на уровне высказывания и шире — текста. Исследование сосредоточено на двух основных функциях НСВ — процессной и обобщенно-фактической, из которых первая является ядром категориального значения НСВ, а вторая интересна тем, что характеризуется сближением функций НСВ и СВ и включает неуниверсальные семантические элементы. Подчеркивается, что универсальность процессности как понятийной категории обусловлена в объективной действительности ситуацией непосредственного наблюдения говорящим и слушающим. При этом для выражения могут быть использованы любые средства языка, а не только глагольные формы. В связи с комбинаторикой процессности затрагивается функция таксиса (выражения одновременности, предшествования и следования действий) и роль деепричастия в выявлении сопутствующего действия, отмечается категориальный статус функции у этой формы.

Анализ обобщенно-фактической функции НСВ позволил выделить два типа ситуаций: обобщенно-событийную и обобщенно-назывную. Сравнив использование форм СВ и НСВ, автор показывает, что форма НСВ либо не выражает целостности действия, либо нейтральна к ней (эти значения могут, однако, содержаться в контексте), и это позволяет определить НСВ как немаркированный член видового противопоставления, допускающего

нейтрализацию в обобщенно-фактической функции.

Специалистам по общей и русской аспектологии предлагаемый в книге анализ функций НСВ и его сопоставление с СВ даст, по-видимому, много интересного материала для полемики. Нам бы хотелось заметить, что А. В. Бондарко ищет обоснования общей теории аспектных отношений, в каждой работе предлагая уточняющие решения. Если в 1979 г. он отметил, что «...нет возможности выявить такой инвариантный семантический признак, который охватывал бы все значения в поле аспектуальности любого языка...» [3, с. 232], то в данной книге высказано предположение, что таковым может быть единичность/повторяемость действия во времени, т. е. темпоральная локализованность / нелокализованность. Книга А. В. Бондарко убеждает в том, что поиск универсальных признаков аспектуальности, опирающихся на параметры событий окружающей действительности и учитывающих данные отдельных языков, можно и следует продолжать.

В Заключении автор останавливается более подробно на введенном им понятии аспектуальной ситуации (далее АС), которое, по его мнению, «может стать основным определяющим для аспектологических исследований на уровне высказывания и текста в самом широком смысле слова» (с. 190). Автор разъясняет, что АС — это типовая содержательная структура, которая базируется на ФСП аспектуальности и представляет сторону, или часть, общей сигнификативной ситуации, соотносимой с выражением характера протекания и распределения действия во времени. В форме АС может быть представлена и описана вся аспектуальная семантика высказывания, передаваемая не только видовыми формами, но также контекстом и лексическим значением глаголов. Категория вида выступает как частный случай АС в морфологии, который во взаимодействии с другими элементами определяет всю акциональную сторону содержания высказывания, отражающего фрагмент реальной действительности. Автор настаивает на том, что АС является лингвистическим понятием, поскольку относится к области языкового содержания и всегда связывается со средствами языкового выражения. Понятие АС включается в ряд других категориальных ситуаций (далее КС) — темпоральных, модальных, посессивных и т. п. и выступает в качестве видового понятия по отношению к КС как понятию родовому, связанному с предикативностью. При этом типовые КС существуют в форме многоступенчатой вариативности в каждом высказывании. Анализ общих ситуаций текста может позволить выделить доминирующую КС, т. е. установить категориальную доминанту текста (императивную, обобщенно-узуальную, конкретно-повествовательную и т. п.), путем выделения микро- и макроситуаций или установления системы ФСП и лежащих в их основе семантических категорий. А. В. Бондарко указывает, что понятие КС имеет поисковый характер и ориентировано «на исследование и описание взаимодействия всех языковых средств высказывания (как грамматических, так и неграмматических), участвующих в выражении рассматриваемой семантики» (с. 199).

Введение понятий КС и АС как частного ее случая можно объяснить стремлением автора построить некоторый вариант перехода от мысли к тексту. Следует согласиться с тем, что между собственно мыслительной сферой с ее единицами и средствами их выражения в языковых единицах существует некая промежуточная зона, допускающая разные ступени перехода, одну из которых занимает грамматическая семантика. Именно последняя привлекает за последние годы все больше внимания в связи с выделением в особую область семантики синтаксиса.

Семантика же морфологии с давних пор разрабатывалась в виде обоснования и описания морфологических категорий, прямолинейно сопоставлявшихся с понятийными (логическими) категориями. Однако в наши дни учение о семантике морфологии также претерпевает изменения, и это явственно ощущается при знакомстве с теорией А. В. Бондарко, в которой, наряду с семами, значениями и категориями, выделена еще одна сфера (или зона) грамматической семантики. Основными компонентами в этой сфере оказались К-ситуации, общие и частные.

Естественно, у читателя возникает ряд вопросов, в частности вопрос о целесообразности выделения подобного рода компонентов, или единиц. Думается, что ответ может быть только утвердительным, если исходить из более общего положения, что универсально-мыслительному соответствует универсально-языковое, реализующееся в конкретно-языковом. Универсально-мыслительные категории есть не что иное, как фундаментальные семантические категории, универсально-языковое выступает в виде ФС-полей, наличие, конфигурация и состав которых определяют конкретно-языковые особенности. Так нам представляется глобальная схема концепции А. В. Бондарко, в которую в рецензируемой работе введена определенная динамика, т. е. учет всех языковых средств в высказываниях и уже на этом основании установление функций грамматических средств. Именно в связи с этим и появляется новая система понятий, облеченная в термины ситуаций и зеркально отражающая набор ФС-полей: «Самый состав типовых КС определяется системой фундаментальных семантических категорий, лежащих в основе ФСП данного языка»,— пишет автор (с. 197). Однако, с другой стороны, КС представляют определенный аспект передаваемой в высказывании общей сигнификативной ситуации и производны от нее. Таким образом, КС характеризуются двойной производностью, которая, с нашей точки зрения, может быть объяснена через двойственную природу языка — его существование как в сознании говорящих (в виде системы), так и в речи (в виде высказываний, и шире — текста). Именно производность от речи объясняет такую характеристику КС, как пре-

дикативность, ибо без последней не может осуществляться главная базовая функция языка — коммуникативная. Выделение же таких содержательных единиц, как значение слова, сема и т. п., соотносимо с другой базовой функцией — когнитивной, и поэтому они входят в арсенал системы языка.

Таким образом, идея соотношения общих содержательных единиц (компонентов) в сфере речи и в сфере языка может быть принята. Однако, хотя мы и воспользовались терминологией А. В. Бондарко, она нас все-таки не удовлетворяет. Мы допускаем использование термина «ситуация» с определениями «денотативная» и даже — «сигнификативная», когда речь идет о семантической стороне. Однако «категориальная ситуация» является, по нашему мнению, не очень удачным словосочетанием из-за второго слова, которое соотносится с фактами внеязыковой действительности в своем нетерминологическом, обыденном значении, да и в более узком употреблении (ср., например, «ситуация речевого акта»). А. В. Бондарко сам отмечает, что для того фрагмента содержательной стороны высказывания, который именуется «аспектуальной ситуацией», был использован термин «тип аспектуального контекста» (с. 192), и очень хочется пожелать автору либо вернуться к этому термину, либо подобрать какой-либо другой (например, «категориальный смысл высказывания», «аспектуальный смысл» и т. п.). Следует обратить внимание, что термин «ситуация» в употреблении автора превращается в синоним терминов «смысл» и «значение», например, когда говорится, что в высказывании *Сколько дорог*! наличествуют квантитативная и экзистенциальная ситуации (с. 195), а в высказывании *Сюда кладите*! — императивная и локативная. Конечно, выделенные и описанные явления имеют категориальный статус, но термин для их обозначения нуждается в дополнительном обдумывании. Терминологическая практика показывает, что широким научным кругам легче привыкнуть к новому термину, чем к новому значению старого, особенно, если последний имеет опору в обыденном употреблении [4].

Можно было бы спросить рецензента, почему для полемики был выбран терминологический вопрос, но для полемики по кардинальным проблемам, поднятым в книге А. В. Бондарко, надо было написать книгу не меньшего объема, ибо широким, глубоким и сложным является ее предмет. В заключение отметим, что, как и предыдущие работы автора, данная монография имеет большое значение для разработки проблем общего языкознания, и, главное, одной из кардинальных проблем — соотношения языка и мышления. В этом разностороннем труде читатель найдет много интересного материала в области как русской, так и общей аспектологии. Кроме этого, книга А. В. Бондарко представляет собой существенный шаг в обосновании принципов функциональной грамматики.

Слюсарева Н. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tense — aspect: between semantics and pragmatics. Ed. by Hopper P. Amsterdam, 1982.
2. *Слюсарева Н. А.* Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981.
3. *Бондарко А. В.* Принципы сопоставительного исследования аспектуальных отношений.— Acta linguistica Academiea Scientiarum Hungaricae, 1979, t. 29 (3—4).
4. *Бондарко А. В.* Аспектуальные ситуации и вопрос о «категориальных ситуациях» в грамматике.— В кн.: Семантика аспектуальности в русском языке. Тарту, 1982.

Будагов Р. А. **Язык — реальность — язык.**— М.: Наука, 1983. 261 с.

В новой книге Р. А. Будагова, непосредственно связанной со всеми предшествующими широко известными публикациями автора, поднимаются такие «вечно актуальные» вопросы, как взаимосвязь языка и реальности, языка и мышления, в том числе в их развитии, общественная природа языка и др. Книга тщательно документирована, развиваемые в ней положения обосновываются автором на материале разных языков, в первую очередь русского, романских, германских.

Монография состоит из шести глав: (I) Что такое реальность и антиреальность языка? (II) Историческая концепция языка, мышления и реальности. (III) Грамматика и реальность. (IV) Категория времени в грамматике, в тексте и в реальности. (V) Слово и контекст в их отношениях к реальности. (VI) Место советского языкознания в современной лингвистике. Последняя глава содержит следующие разделы: 1. Постановка вопроса. 2. Два диаметрально противоположных истолкования природы языка. 3. Материалисты и идеалисты. 4. Категория значения и категория отношения. 5. Статика и динамика языка. 6. Литературные и национальные языки. 7. Язык и общество, язык и мышление. 8. Советское и зарубежное языкознание. Итоги исследования представлены в резюме, завершающих главы, и в кратких «Заключительных замечаниях».

Р. А. Будагов начинает книгу с уточнения понятия «пограничной полосы» между языком и реальностью. Он пишет о том, что эта «пограничная полоса» может оказаться «сложной, многоярусной, непрямой», но она всегда реальна

и отнюдь не может считаться «зыбкой» (с. 3). Ее изучение предполагает глубокое осмысление реальных основ языка и его подлинной специфики. При этом следует помнить о том, что «реальность языка и специфика языка — не враги, а верные и постоянные союзники» (с. 4).

Вопрос о связи языка и реальности относится к числу сложных языковедческих и философских проблем. Р. А. Будагов анализирует под этим углом зрения различные суждения по данному вопросу. Он дает оценку сильных и слабых сторон концепции младограмматиков, показывает ложность тезисов, которые развивали в своих трудах бывшие глава американской школы лингвистов Л. Блумфилд, глава лондонской лингвистической школы Р. Ферс и другие, вскрывает противоречивость суждений, высказываемых по этому вопросу представителями разных лингвистических школ и направлений.

Предмет особого внимания языковедов должна составить социальная природа языка, которая «пронизывает весь язык, все его уровни и категории» (с. 36—37). Р. А. Будагов отмечает, что тезис о необходимости изучения языка как общественного явления на практике получает двоякое, прямо противоположное воплощение, поскольку сам подход к интерпретации любого понятия как «социального» может быть марксистским или антимарксистским. У исследователя должна быть «целостная (монистическая) концепция языка. У советских лингвистов — это марксистская концепция, согласно которой язык есть „практическое, действительное сознание". Все остальные функции языка, сколь бы многочисленными они ни были, должны рассматриваться именно с этой позиции» (с. 50). Р. А. Будагов приводит высказывания Н. В. Крушевского, И. И. Срезневского, А. А. Потебни и других видных отечественных филологов относительно реальных основ языка.

Марксистское понимание законов развития общества составляет основу исторической концепции языка. Последняя обязательно предполагает интерес к истории, однако интерес к истории сам по себе «еще не создает исторической концепции языка» (с. 58). О ней можно говорить лишь в том случае, когда достигнуто понимание сущности исторических изменений, их движущих факторов, когда вскрыты их причины. В данной связи Р. А. Будагов возвращает читателя к проблеме «скачка» в истории развития языков и проблеме стадиальности исторического развития языков [ср. 1].

«Известно, что после дискуссии 1950 г.,— пишет Р. А. Будагов,— на слово *скачок* был наложен строгий запрет в лингвистике. Если даже понятие „быстрого развития языка" казалось подозрительным..., то *скачок* стал представляться чем-то кощунственным и, разумеется, вульгарно-социологическим» (с. 81). Совершенно очевидно, однако, что развитие языка характеризуется образованием принципиально новых способов выражения по сравнению с предшествующими этапами что количественные изменения со временем переходят в качественные и что переход к новому качеству есть не что иное, как своеобразный скачок в той его форме, которая присуща именно языку. Не темпы исторических изменений, а опять-таки их сущность составляет основу понятия скачка в лингвистике. Р. А. Будагов иллюстрирует положение о переломах, своеобразных скачках в развитии языка примерами из истории разных литературных языков (русского, польского, французского). Думается, что убедительным подтверждением справедливости развиваемого Р. А. Будаговым тезиса может служить также сам процесс преобразования синтетического типа структуры, характеризующего латинский язык, в аналитический тип структуры, присущий сформировавшимся на его основе романским языкам То, что в данном случае произошли качественные пребразования, т. е. именно такие сдвиги, которые можно назвать «скачком», особенно наглядно видно на примере исторического развития существительного и его грамматических показателей [2].

Понятие скачка в истории языка тесно связано с понятием стадиальности исторического развития, на которое также «было наложено своеобразное табу после дискуссии 1950 г.» (с. 94—95, ссылка на М. И. Стеблина-Каменского). Р. А. Будагов обращает внимание на то, что отрицание стадиальности развития языка (и мышления) ведет к нарушению классического закона диалектики о количестве и качестве (с. 95). «Стадия языка предполагает органическую, внутреннюю связь определенных категорий, прежде всего грамматических и лексических, обусловливающих функционирование языка. Язык может вступить в новую стадию, когда внутренние отношения между такими категориями достаточно отчетливо (качественно) изменились. Трудность проблемы — в выявлении и исследовании таких категорий, которые играют решающую роль в процессе развития и совершенствования каждого языка или группы языков. Критикуя подход Н. Я. Марра к стадиальности, многие советские лингвисты совершенно неправомерно объявили и теорию стадиальности ложной и даже мистической. Это означает выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка» (с. 94). И далее Р. А. Будагов пишет: «...сама по себе разработка лингвистической стадиальности имеет большое научное значение для всех ученых, стоящих на позиции исторического материализма и убежденных в закономерностях развития языков народов мира. Подобные закономерности многообразны и сложны, но они остаются закономерностями. Что же касается стадиальной теории, то она „не виновата", когда ее интерпретируют вульгарно» (с. 97). Р. А. Будагов показывает теоретические трудности, возникающие при изучении проблемы языковой стадиальности, и завершает разработку данной темы следующей рекомендацией: «Теория стадиальности должна интересоваться не столько поисками универ-

сальных этапов развития всех языков, сколько поисками качественных различий между разными этапами истории одного языка или группы языков, так или иначе между собой связанных (генетически или типологически)» (с. 102).

К числу сложных и до конца не решенных проблем относится вопрос о соотношении понятий «мышление» и «мировоззрение». Р. А. Будагов пишет по этому поводу: «Одинаковый уровень развития мышления людей в определенном обществе и в определенную эпоху может легко сочетаться с разными видами мировоззрения тех же людей, особенно в обществе, разделенном на классы. Мышление — категория, прежде всего, историческая, мировоззрение — категория, прежде всего, социальная. Разумеется, обе категории связаны между собой, но они отнюдь не тождественны» (с. 89). Поднятая Р. А. Будаговым проблема, безусловно, нуждается в разработке как в общетеоретическом плане, так и на фактах истории конкретных народов и языков.

В одной из глав монографии Р. А. Будагов освещает проблему взаимодействия грамматики и реальности. Он подчеркивает, что «нити, тянущиеся от грамматической категории к реальности, оказываются весьма различной степени прочности» (с. 134). Это не может не учитываться при исследовании разных языков, в том числе в сравнительно-сопоставительном плане. В связи с этим возникает проблема, которую, по мнению автора, можно назвать «проблемой разного дробления, казалось бы, единой грамматической категории в разных языках» (с. 134). Р. А. Будагов анализирует известные факты истории французского и испанского языков (неравномерность темпов становления определенного и неопределенного артиклей; зависимость способа оформления атрибутивной группы в старофранцузском от одушевленности или неодушевленности существительного-определения и др.), вскрывает их связь с реальностью, останавливается на рассмотрении форм взаимодействия грамматики и лексики.

Касаясь так или иначе многочисленных грамматических категорий, Р. А. Будагов выбирает для специального, более подробного изучения грамматическую категорию времени, считая ее одной из наиболее важных для решения вопроса о взаимосвязях грамматики и реальности. Он показывает, каким образом «подвижность и многофункциональность грамматического времени сочетается со своеобразной подвижностью и многофункциональностью и времени физического» (с. 182), отмечает взаимодействие физического и грамматического времени, «нередко сложное и непрямое..., но... глубокое и постоянное» (с. 183). Автор подчеркивает необходимость «строго различать физическое (объективное) время и отношение людей разных эпох к этому времени», которое «может быть самым различным и самым неожиданным», но которое «не может поколебать полной объективности физического времени» (с. 184).

Отдельная глава монографии посвящена рассмотрению вопросов, связанных с понятием слова. Р. А. Будагов приводит новые аргументы в защиту принципа самостоятельности слова, пишет о наблюдающемся иногда смешении понятий значения слова и его сочетаемости с другими словами, останавливается на проблеме основного значения слова. Его интересует роль контекста на разных этапах исторического развития языка. Он обращает внимание на необходимость «различать два, во многом несходных понятия контекста: контекст, как источник наших сведений о современной или прошлой эпохе и контекст, как лингвистическое понятие, находящееся во взаимодействии со значением слова, словосочетания и предложения» (с. 215).

В последней главе книги «Язык — реальность — язык» Р. А. Будагов определяет место советского языкознания в современной лингвистике, показывает «сложный, не всегда прямой, но всегда интересный и поучительный» (с. 219) путь, пройденный советским языкознанием с конца 20-х годов до наших дней. Автор отмечает, что «советские языковеды, несмотря на колебания у отдельных ученых, всегда стремились... защитить и дальше развить материалистическую концепцию языка» (с. 231). Он еще раз особо подчеркивает социальную и историческую природу языка, пишет о необходимости «различать полное равенство всех естественных языков по их природе и неодинаковый уровень их развития» (с. 240) в зависимости от социальных условий их существования, подчеркивает неразрывную связь проблемы развития языков «с проблемой их неуклонного исторического совершенствования» (с. 240).

Р. А. Будагов напоминает о том, что именно «советские лингвисты впервые разграничили два понятия — литературные языки и национальные литературные языки» (с. 243). Хотелось бы в этой связи отметить личный вклад Р. А. Будагова в разработку данного вопроса [3].

Р. А. Будагов завершает свое интересное, насыщенное богатым фактическим материалом, многоплановое исследование следующими словами: «Мы, филологи, ...должны отлично знать прошлое нашей науки — прошлое, богатое выдающимися достижениями. В единстве подлинно нового с лучшими достижениями прошлого — залог дальнейших успехов науки о языке, и, шире,— филологии в целом» (с. 261). Хотелось бы обратить внимание на важность этих слов.

Книга «Язык — реальность — язык» остро полемическая. Защищая приведенные выше положения, как и многие другие, на которых нет возможности остановиться в рамках сравнительно краткой рецензии, Р. А. Будагов полемизирует с теми филологами, историками и философами, которые строят свои рассуждения на иных методологических по-

зициях, смешивают различные проблемы, увлекаются дилеммой «или—или». Р. А. Будагов призывает лингвистов *строго различать новое и модное*. Новое — это все то, что действительно движет науку вперед. Модное — это все то, что механически и бездумно копирует другие науки и другие термины, не считаясь с тем, насколько подобное подражание полезно для самой науки о языке» (с. 259). В этой связи необходимо было бы, как нам кажется, одновременно призвать лингвистов к осторожности в отнесении того или иного направления исследовательской мысли к разряду нового или модного. В некоторых случаях, как это наглядно показано в рецензируемой книге (см. также [4]), эта грань бесспорна, в других же существует опасность, обозначив рождающееся направление как «модное», не увидеть в нем того нового, что не всегда лежит на поверхности, особенно на ранних стадиях разработки. Поскольку нет четких критериев оценки по шкале «новое — модное» и необходимо определенное время, нередко длительное, чтобы понять, действительно ли каждое вновь формирующееся направление движет науку вперед или является тормозом на пути ее дальнейшего развития, в этом случае трудно избежать некоторых субъективных оценок. Данную сторону вопроса, возможно, следовало бы специально оговорить.

Книга Р. А. Будагова «Язык — реальность — язык» — это страстный призыв к чувству ответственности ученых-филологов за чистоту марсистско-ленинской методологии в исследованиях о языке, это пример глубочайшей эрудиции автора и владения богатым и разнообразным материалом из самых разных областей знания. В книге подняты важные теоретические проблемы, она открывает широкие перспективы новых научных исследований.

Репина Т. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Панфилов В. З.* Философские проблемы языкознания. М., 1977, с. 6—7.
2. *Репина Т. А.* Артикль и типологическая характеристика языка (на романском материале).— В кн.: Теория языка, методы его исследования и преподавания. К 100-летию со дня рождения Льва Владимировича Щербы. Л., 1981.
3. *Будагов Р. А.* Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
4. *Катагощина Н. А.* О языке лингвистических диссертаций.— ВЯ, 1981, № 6.

Памятники южновеликорусского наречия. Таможенные книги.— М.: Наука, 1982. 345 с.

Издание таможенных книг, подготовленное С. И. Котковым и Н. С. Котковой, продолжает публикацию старинных деловых документов, написанных на южновеликорусской территории, начатую изданием отказных книг (см. [1]). Значение нового издания трудно переоценить: для историков русского языка — это значительное пополнение знаний и представлений о южновеликорусской диалектной области определенного периода ее исторического развития, об особенностях и чертах южновеликорусской речи, как она отразилась в письменности, наконец, о характере делового письменного русского языка данной эпохи.

Вместе с тем важно отметить и то обстоятельство, что, в отличие от отказных книг, содержание которых отражает отношения в сфере хозяйства, опубликованные теперь таможенные книги связаны со сферой торговли, а это является немаловажным фактом, если учесть, что последние относятся к XVII в., когда шло образование всероссийского рынка. В. И. Ленин писал: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех... областей, земель и княжеств в одно целое. Слияние это... вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» [2]. Этот процесс концентрирования, усиливающегося обмена, развития товарообращения широко отражается в таможенных книгах, в содержащихся в них сведениях о местах, откуда поступали товары на тот или иной рынок, о характере этих товаров, о названиях торговых людей и других участниках торговли по тем городам или селениям, откуда они приезжали или уроженцами которых были. Все эти сведения, которые можно почерпнуть из текстов таможенных книг, представляют значительный интерес для историков общественно-экономической жизни России, точнее — ее южновеликорусских областей, ибо делают наглядным процесс образования всероссийского рынка через концентрацию обширных региональных рынков. Так, по данным курских таможенных книг четко прослеживаются торговые связи Курска на обширных пространствах — от южных границ до Ярославля Большого и от западных границ до Волги, на северные области Украины и на восток Белоруссии; в Курск приезжали торговать из Алексина, Арзамаса, Болхова, Боровска, Можайска, Москвы, Мурома, Нижнего Новгорода, Ростова, Серпухова, Скопина, Суздали, Тулы, Углича,

Ярославля и других городов, с низовьев Дона и с Волги, здесь были и «иноземцы», называемые литвинами: с Украины и из Белоруссии, а также «немчины». В торговле с Воронежем участвовали приезжие из Белгорода, Ельца, Зарайска, Калуги, Коломны, Михайлова, Москвы, Переславля-Рязанского, Ряжска, Рязани, Тулы, Шацка и др., с Белгородом и Орлом торговали Украина и Белоруссия и основная южновеликорусская территория и т. д. Особенно важно при этом подчеркнуть то, что в это время существовала тесная экономическая связь южновеликорусов с Москвой, через которую осуществлялись торговые сношения их с северновеликорусской областью. Судя по данным опубликованных ранее таможенных книг Московского государства XVII в. (М.— Л., 1950—1951) и рецензируемого издания, непосредственные связи северян и южан были весьма слабыми. Как видно, процесс образования всероссийского рынка шел таким образом, что в Европейской России складывались северный и южный региональные рынки, а Москва с прилегающими к ней городами, где региональный рынок образовывался раньше других, объединяла северный и южный рынки, возглавляя образование общего российского рынка.

Содержание опубликованных южных таможенных книг дает возможность представить и тот состав товаров, который привозился на рынок из разных мест и который определял складывавшуюся в XVII в. хозяйственную специализацию того или иного экономического района. Так, можно установить, что в Курск из Тулы, Ельца и Череповца поступали железо, сталь и металлические изделия, из Ельца — сохи, из Калуги, Мценска и Орла — соль, из западных лесных районов — деготь, из порубежных русских городов, с Украины и из Белоруссии — ткани и шубы, из Болхова и Калуги — обувь, из Брянска растительное масло и т. д. В самом Курске торговали москателью, воском и очень широко — лошадьми. Все эти сведения также имеют большое значение для изучения истории экономической жизни России.

В этом же плане интерес представляют и сведения о системе пошлинных сборов в торговле того времени. Пошлины взимались и с продавцов — по предъявлении ими товаров, привезенных для продажи, и с покупателей — по предъявлении суммы имеющихся у них денег; пошлины взимались за взвешивание товаров, за клеймение лошадей, с «шерсти» (при покупке лошадей) и т. д. Все эти пошлины регистрировались в таможенных книгах. Вместе с тем деятельность таможен была связана еще и с ведением питейных дел в кабаках и с регистрацией «явок» населения о курении вина и варении пива. Все таможенные сборы с питейными доходами в меньшей их части шли на содержание местных учреждений и на иные местные расходы, а в большей — передавались в государственную казну. И эти расходы регистрировались в таможенных книгах.

Таким образом, таможенные книги дают историкам общественно-экономической жизни России много таких фактов, которые трудно обнаружить в других исторических источниках, и в этом значение рецензируемого издания, позволившего получить эти факты: доступ к сохранившимся рукописным источникам, как известно, весьма затруднителен.

Охарактеризованное содержание таможенных книг представляет много новых и интересных фактов и для историка русского языка, прежде всего — изучающего историю его лексического состава. Несмотря на то, что сами таможенные записи не только достаточно лаконичны, но и во многом однообразны и зачастую включают в себя повторяющиеся формулировки и обороты (хотя, надо сказать, что манера таможенных записей в разных городах оказывается нередко очень различной), в них можно обнаружить чрезвычайно дифференцированную лексику, обозначающую предметы продажи и особенности или приметы тех или иных товаров. Историк-лексиколог без труда может установить целые ряды тематически связанных слов, относящихся к названиям предметов и их особенностей. Так, например, разнообразный лексический материал представлен в обозначении мастей лошадей. Ср.: мерин *мухорт*, *каур*, *кар*, *рыж*, *игрень*, *в каракуле гнед*, *бур в каракуле*; конь *сер*, *белоног*, *голуб*, *рыж*, *булан*, *бур*, *в каракуле гнед*, *в гнеде пег*; кобыла *игреня*, *каракула*, *в гриве чубара*, *в каракуле*, *мухорта в гнезде*, *сивожелеза* и т. д. Или приметы лошадей: *звездочел* или во лбу *звездочелина*, в ноге *волкодережина*, *железница ожегана* на лопатке, на глазу *скороглазина*, на губе *беленко*, ногою *улоговат*, *пятно крюком*, во лбу *чалинка*, ногами *косолапа* и т. д. Или названия товаров: *щепетинный*, *москатильный*, *москотинный*, сукон: *алленое* (льняное), *настрафильное*, определение вин: *неявленое*, *выимочное*, *бездокладное* и т. д.

В этом плане для лингвиста большой интерес представляют слова-названия жителей тех или иных городов, значительно отличающиеся от современных. В большинстве своем это образования с суф.-*енин* и -*ец* от названий городов и селений. Так, с суф. -*енин*: *курченин*, *брянченин*, *осколенин*, *орленин*, *туленин рыленин*, *дорогобуженин*, *калуженин*, *ельченин*, *валуйченин*, *севченин* и даже *волженин*, *греченин*, *черкашенин*; с суф. -*ец*: *суздалец*, *белогородец*, *ливенец*, *путивлец*, *муромец*, *переславец*, *кашинец*, *новгородец*, *ростовец*, *нижегородец* и т. д. Вместе с тем редок суф. -*анин*: *кромчанин*, *шатчанин* и как вариант к *курченин* — *курчанин*. Также редок и суф. -*итин*: *болховитин* (хотя есть и *болховец*), *серпуховитин*, *козлитин*, *москвитин*; и совершенно единичны -*етин* (*коломнетин*) и -*ейтин* (*можейтин*). Как видно, становление современных названий жителей должно быть отнесено к более позднему времени или к другим территориям распространения русского языка. Во всяком случае, для русской исторической лексикологии

здесь есть материал для изучения и размышления.

Издатели во введении к книге отмечают, что лексическое наполнение приходных и расходных записей «едва ли не во всем составе, начиная с названий таможенных сборов и кончая наименованиями конских мастей..., являлось бесспорной принадлежностью народной, а частью и диалектной речи» (стр. 6). Если учесть, что в публикацию включены документы таможен Белгорода, Воронежа, Ельца, Курска, Орла и Старого Оскола (основное место занимают курские таможенные книги, затем Елецкие, Воронежские и Белгородские), т. е. достаточно компактной основной южновеликорусской территории, относящиеся к первой половине XVII в. (последние записи относятся к 1652 году — к сентябрю по Орлу и Старому Осколу и декабрю по Белгороду), то, даже принимая во внимание фактическое отсутствие данных о писцах, можно предполагать достаточную их однородную диалектную принадлежность. Как видно, вывод о писцах отказных южновеликорусских книг как о местных уроженцах, сделанный на основе изучения текстов этих книг и иных рукописных источников южновеликорусского происхождения (см. [3] и рецензируемое издание), вполне правомерен и для писцов таможенных книг.

С этой точки зрения исследователям лексики, как видно, следует поставить вопрос об отражении в этих документах лексических южновеликорусских диалектизмов XVII в., с одной стороны, и общерусских слов — с другой, что возможно сделать путем сравнительного изучения словарного состава памятников различной территориальной принадлежности. Материалов для такого изучения накоплено уже немало.

Особый интерес таможенные книги представляют как источник изучения фонетики и морфологии южновеликорусских говоров XVII в. Правила издания, принятые в публикациях Сектора источниковедения Института русского языка АН СССР, в том числе и в данной публикации, позволяют проводить исследование фонетических и морфологических явлений, не обращаясь к рукописи. Известно, что изучение этих явлений по рукописным источникам, написанным скорописью XVII в., связано с преодолением многих чисто технических или физических трудностей, и это обстоятельство (вместе с труднодоступностью рукописей) обусловливает редкое к ним обращение историков русского языка. Лингвистически точное издание, каким представляется рецензируемая публикация, снимает полностью все эти трудности.

Вопрос об отражении в текстах таможенных книг, в их орфографии фонетических и морфологических особенностей южновеликорусских говоров XVII в., точнее — говоров писцов-южновеликорусов, как и вообще вопрос об отражении явлений живого языка в памятниках письменности, является, как известно, весьма сложным для исследования, требующим осторожного подхода и применения соответствующей методики интерпретации орфографических фактов. Поэтому в настоящей рецензии нецелесообразно подробно рассматривать этот вопрос: необходимо серьезное и тщательное изучение текстов с определенной точки зрения. Однако сразу же надо сказать, что тексты дают несомненно многие интересные факты для реконструкции явлений фонетики и морфологии тех живых говоров, которые получили в них отражение. Если обратиться к фонетике, то, например, в области вокализма орфография текстов, с одной стороны, свидетельствует об аканье всех писцов, хотя, с другой стороны, отсутствуют столь же многочисленные примеры отражения яканья в 1-м предударном слоге [по всем текстам проходит, пожалуй, только одно написание *чатыре*, (-*я*), однако одно оно едва ли что-либо доказывает]. Целесообразно внимательно изучить написания букв после мягких согласных в безударных слогах [где есть ряд необычных написаний, как, например, *тотради* (= *тетради*), требующих интерпретации] для решения вопроса о характере безударного вокализма отраженных в текстах говоров.

Вообще говоря, орфографическая выучка писцов таможенных книг была, как видно, достаточно слабой, и это определило орфографический разнобой в текстах (именно разнобой в первую очередь, а не вариативность, хотя последняя также имеет место); но в то же время прослеживаются и определенные закономерности, позволяющие судить о явлениях живого языка. В этом плане, например, интересны факты написания *о* на месте орфографического *е* под ударением не только после шипящих (например, *в чом*, *звездочол*, *решотка* в белгородских книгах, *жорновы*, *Нащокина* — в воронежских, *жолоба* — в елецких), но и после других мягких, что встречается в русской письменности очень редко (ср. *с трох* и *веровка* в старооскольской книге). Любопытен факт отсутствия беглого [е] в форме *леду*, отмеченной в елецких и воронежских книгах: может быть, это действительно живое диалектное явление того времени? В области консонантизма можно отметить фрикативное [г], получившее отражение в написании *х* в конце слов (например, *денех*, *ботох* — в белгородских книгах, *денях* — в старооскольских), ассимилятивное смягчение заднеязычного [к], тоже довольно редко отражаемое в письменности [например, *кадочкя* в елецких книгах, *жеребенкя*, *сединкя*, *беленкя*, *чялинкя*, *два десяткя* (все после твердых?) — в курских], и такое же ассимилятивное смягчение [с] перед [j] (например, *сь яблок*, *сь Якова* в старооскольской книге; между прочим, вероятно, издатели могли бы, исходя из приведенных фактов, смело использовать знак ь, а не *h* в передаче написаний в той же книге *сh Якова* и *сh Ермола*), последовательный твердый [м] в числительных *семь* и *восемь* (по всем книгам проходит написание ъ после *м* в этих словах) и др. Специального изучения требуют факты, связанные с употреблением и взаимной меной букв *ш* и *щ*, что обнаруживается то последовательно, как

в Белгороде (например, *щеснацат, щесть, бащью, нныщнее, рещетка, щерсти* и *наемшику, ужиша, лишева, у емшика, гуляшей, товариши* и др., при наличии, конечно, и этимологически правильных написаний) и Курске (например, *щерсти, сщибен* и *меновшики, возшин*), то непоследовательно, как в Воронеже. Интерпретация таких написаний как явлений диалектной речи или как явлений орфографических «школ» требует серьезного изучения. Точно так же необходимо изучить и интерпретировать факты взаимной мены букв *у* и *в* в позиции перед согласными (ср., например, *у дву избах, усево* в белгородских книгах и *в курченина... у Ивашки, в рыленина у Ивашки* — в курских, *в орловского стрелца в Ларки, в козака в Ромашка* — в орловских и др.), написание *г* в форме вин. пад. ед. ч. местоимения *та* (*таге свою кобылу* — только в Курске) и др.

В области морфологии тексты также отражают целый ряд явлений, требующих своего осмысления. Здесь прежде всего обнаруживается вариативность форм, которая должна быть оценена с точки зрения отношения тех или иных вариантов к явлениям живого языка и к сохранению традиций письменности. Например, во всех книгах последовательно сохраняется *-ом* в дат. пад. мн.ч. Когда такое *-ом* оказывается в безударном положении (ср. *к двум изгорком, работником* — в Курске, *работником, человеком* — в Орле, *старцом* — в Старом Осколе, *мастером, работником* — в Воронеже, *работником, плотником* — в Ельце, *целовальником* — в Курске), то для акающего говора подобное написание — лишь традиция (и с этой точки зрения написание *-ам*, как, например, *винокурам, водовозам, извозщикам, ярыгам* — в Ельце, *целовальникам* — в Курске, отражая живое произношение, не свидетельствует о характере морфологической формы). Но как быть с *к двум котлом*, если *-ом* под ударением? Достаточно ли таких редких фактов, чтобы утверждать сохранение в живом языке старой формы дат. мн.? Как относиться к сосуществованию в письменности *на кабакѣхъ* (Старый Оскол), *у дву местех* (Курск) и *на двух возах, на трех возах* (Курск)?

Широкая вариативность наблюдается в сочетаниях числительных с существительными. Ср., с одной стороны, *полтара рубля, два рубля, с полутора рубля, полпета рубля, с полупета рубля, полшеста рубля, с полушта рубля* и т. д., а с другой — *полтора рубли, с полутора рублей, два рубли, полтретя рубли, с полутретя рубли, полсема рубли* и т. д. Это колебание проходит по всем текстам и, конечно, отражает какое-то состояние данного звена морфологической системы. Вообще образование и склонение числительных, как и их сочетаемость с существительными, в текстах таможенных книг представляет значительный интерес для исторической морфологии русского языка. Не меньший интерес вызывает и категория одушевленности. Судя по текстам, в южновеликорусских говорах категория одушевленности в первой половине XVII в. еще не захватила названий животных: сочетания *за тот жеребец, за тот мерин, за тот свои конь* по существу господствуют во всех текстах, тогда как *за того мерина* (Курск) — чрезвычайная редкость. Интерес представляют колебания формы вин. пад. ед. ч. жен. р. местоимения *та*: *за тое кобылу, за таге кобылу* сосуществует с *за ту свою кобылу* (Курск); форм *обоих* и *обеих* в сочетании со словами муж. и жен. рода: *с обеих* с муж. р., *с меновщих с обеих* (Курск) и *обоих пошлин* (Старый Оскол); форм страдательных причастий: *смолона* (Орел) и *вынета* (Елец) и т. д.

Приведенных примеров вполне достаточно для того, чтобы утверждать несомненный интерес изданных документов для изучения фонетики и морфологии русского языка в его южновеликорусской разновидности. Это изучение прольет свет на многие явления в истории нашего языка, до сих пор остававшиеся неизвестными. В этом несомненная заслуга издателей таможенных книг.

Изданная лингвистически точно, снабженная необходимыми указателями слов, личных имен и географических названий, рецензируемая книга представляет значительный вклад в современную историческую русистику и сыграет свою роль в изучении развития разных сторон русской языковой системы.

Иванов В. В.

ЛИТЕРАТУРА

1. Памятники южновеликорусского наречия. Отказные книги. М., 1977.
2. *Ленин В. И.* Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? — Полн. собр. соч., т. I, с. 153—154.
3. *Котков С. И.* Южновеликорусское наречие в XVII столетии (Фонетика и морфология). М., 1963.

Heutige Wege der finnischen Dialektologie.— Studia Fennica. Review of Finnish Linguistics and Ethnology. 24. Helsinki, 1980 [1981]: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 189 S.

Большинство своих исследований, посвященных финскому и близкородственным языкам, ученые Финляндии издают на финском языке. С целью ознакомления лингвистов других стран с работами в этой области в 30-е годы было основано периодическое издание «Studia Fennica», публикующее труды по прибалтийско-финскому языкознанию и этнологии на общеизвестных языках. 24-й том этого издания (редактор Х. Лескинен) содержит 10 небольших исследований и обзоров, отражающих новейшие достижения финской диалектологии.

Во вводной статье Х. Лескинена (с. 7—10) дается краткая характеристика современной финской диалектологии в сопоставлении с состоянием ее в прошлом. Первый этап финской диалектологии связан с появлением младограмматической школы, крупнейшим представителем которой в Финляндии был Э. Н. Сетяля. Поскольку письменные памятники прибалтийско-финских языков относительно молоды, данные современных их диалектов служат основной базой, на которой строится сравнительно-историческое исследование. На протяжении многих десятилетий финские лингвисты занимались изучением преимущественно исторической фонетики и лексики диалектов. К настоящему времени опубликовано более 10 монографий, посвященных исторической фонетике отдельных финских диалектов. Есть и работа обобщающего характера — книга М. Рапола «Лекции по исторической фонетике финского языка» [1]. Опубликован составленный Л. Кеттуненом финский диалектный атлас, где показано главным образом распространение фонетических особенностей [2]. Если раньше в основном исследовалась история отдельных звуков, то теперь рассматривается развитие фонологических систем диалектов. Больше внимания уделяется экспериментальной фонетике. В последние десятилетия активизировалось изучение морфологии и синтаксиса диалектов, накоплен соответствующий языковой материал. На основе картотеки, насчитывающей около 8 млн. словарных карточек, создается диалектологический словарь. Финские диалектологи пользуются статистическими методами и электронно-вычислительной техникой. В 70-е годы область исследования расширилась и перешла с территориальных диалектов на социальные. В территориальных же диалектах современного диалектолога интересуют не только архаические черты, но и процесс сглаживания диалектов. Эти тенденции развития нашли отражение и в статьях рецензируемого сборника.

Статья Т. Итконена «История сочетания согласных *ts* в прибалтийско-финских диалектах» (с. 11—28) представляет интерес не только с точки зрения этого конкретного вопроса. Звукоизменение *ts* > ϑ (в финно-угорской фонетической транскрипции ϑ обозначает глухой зубной спирант, соответствующий знаку θ международного фонетического алфавита), происшедшее в западных диалектах финского языка, для языков мира довольно редко. Оно известно в испанском, где А. Мартине объяснил его непропорциональностью предыдущей фонологической системы [3]. На том же принципе основывается и объяснение Т. Итконена. В прибалтийско-финском праязыке предполагается следующая система смычных и аффрикат:

kk	*tt*	*pp*	*cc*
k	*t*	*p*	—

Вместо ожидаемого одиночного *c* в системе имеется пробел, так как существовавшие в прибалтийско-финском праязыке на ранней стадии аффрикаты **č* и **ć* перешли в *h*, *t* или *s*, сохранилась же геминатная аффриката *cc*. В прибалтийско-финском праязыке возникло и чередование ступеней согласных, которое сначала представляло собой нефонологическое явление и состояло в том, что одиночные и удвоенные смычные произносились в слабой ступени (в начале закрытого слога) слабее, чем в сильной ступени (в начале открытого слога). Позже разница между сильной и слабой ступенями стала фонологической. В период обособленного развития финского языка слабоступенные соответствия *k*, *t*, *p* превратились в звонкие спиранты γ, δ, β. Наличие серии таких спирантов благоприятствовало, очевидно, тому, что соответствием *cc* в слабой ступени стал ϑ. Затем по аналогии в сильной ступени произошло изменение *cc* > ϑϑ. Итконен констатирует, что классическая фонология лучше подходит для объяснения рассматриваемого явления, чем порождающая фонология.

Однако Т. Итконен предлагает еще и дополнительное объяснение анализируемого изменения. В германском праязыке сочетание согласных *ts* не встречалось, в древнесеверном (древнескандинавском) языке оно возникло примерно в период 550—800 гг. н. э. В германских языках был, однако, ϑ, который в древнесеверном языке примерно в 700 г. стал звонким. Произношение ϑ вместо *ts* в прибалтийско-финских языках могло получить распространение под влиянием живших среди носителей этих языков двуязычных германцев. В таком случае это изменение должно было произойти не позже 550—700 гг. Такое предположение связано со сложившейся в финской лингвистике традицией придавать большое значение влиянию других языков, особенно германскому влиянию, в развитии прибалтийско-финских языков. В 50-е годы в своей работе «От пре-финского к позднейшему протофинскому» Л. Пости выдвинул гипотезу, согласно которой большинство общеприбалтийско-финских изменений согласных, в том числе возникновение чередования ступеней, объяснимо германским влиянием

[4]. На недостаточную обоснованность этой точки зрения в свое время указывал П. Аристэ [5, см. также 6]. По мнению рецензента, гипотезу Л. Пости не подтверждают и открытия последних лет в области возможных древних германских заимствований; ведь влияние на фонологическую структуру предполагает более глубокие взаимные контакты, чем усвоение заимствованных слов. Вернувшись к предположению Итконена, следует отметить, что оно более вероятно, чем гипотеза Л. Пости, которая касается значительно более раннего периода. В интенсивности скандинавского влияния во второй половине I тысячелетия, особенно на территории Западной Финляндии, сомневаться не приходится.

Э. Кивиниеми дает обзор исследования топонимов в Финляндии (с. 29—46). Первым условием успешной работы является наличие больших собраний материалов, которые сосредоточены в топонимическом архиве Научно-исследовательского центра языков Финляндии. Предполагается, что там зарегистрировано около 85% всех топонимов Финляндии, включая микротопонимию. В большинстве своем соответствующие места нанесены на карты масштабом 1 : 20 000. До 60-х годов в монографиях преобладала традиция группировать названия по мотивам номинации; исследовались также структура и состав названий. Финский топонимист К. Циллиакус разработал новый метод для описания структуры названий. Прежде всего топоним расчленяется согласно глубинному синтаксису. Затем часть названия, которая выражает его особый признак, анализируется, с одной стороны, лексически, с другой,— синтактико-семантически. Эта методика успешно применена в эксперименте с целью выяснения возможности создания содержащего основные топонимические данные архива, пользоваться которым можно с помощью ЭВМ. Много внимания обращалось и на типологическое изучение моделей названий. Автор статьи реферирует свою опубликованную в 1977 г. монографию, посвященную распространению озерных названий, указывающих на кривизну формы объекта [7].

Статья Т. Лехтинена «Историческое словообразование прибалтийско-финских глаголов» (с. 47—65) представляет собой резюме опубликованной на финском языке диссертации автора [8]. В этой диссертации рассматривается суф.-**aiδa*/-**äiδä*. С помощью сравнительно-исторического метода делается попытка выяснить, какие из глаголов с упомянутым суффиксом могли выступать в прибалтийско-финском праязыке и каким было первичное значение этих производных. Сложные вопросы связаны с тем обстоятельством, что в основном не известны корневые слова, к которым присоединился суф. -**aiδa*/-**äiδä*. Т. Лехтинен развивает положения Д. В. Бубриха и Л. Пости о том, что рассматриваемый суффикс не выступал на ранней стадии прибалтийско-финского праязыка, а образовался позже на базе суф. -**aise*/-**äise*, опираясь на аналогию глаголов с суф. -**aδa*/-**äδä*.

Х. Лескинен в статье «Как исчезает диалект» (с. 67—91) рассматривает изменения в языке тех финнов, которые в 40-х годах переселились с Карельского перешейка в Западную Финляндию. Исследование основывается на статистических данных, полученных путем обработки магнитофонных записей общим объемом в 100 часов. Изучались люди разных возрастов, мужчины и женщины. Наилучшим образом первичный диалект (юго-восточный) сохранился у людей старшего поколения, однако часть людей среднего возраста тоже владеет им достаточно хорошо и даже сознательно пытается сохранить характерные черты этого диалекта. И наоборот, у представителей поколения, родившегося в 50-е годы и позже, явления, свойственные юго-восточному диалекту, встречаются лишь случайно. Язык женщин вообще консервативнее, чем язык мужчин, но эта закономерность не сохраняется в отношении молодежи. Из рассмотренных 14 фонетико-морфологических черт тенденцию к более быстрой утрате имеют те, которые особенно заметно противопоставлены речи коренного населения, например, дифтонги *oa*, *eä* (в литературном языке и западных диалектах им соответствуют *aa*, *ää*), форма 3-го л. ед. числа наст. времени с окончанием *oo* от глаголов с основой на *-e* (*juoksoo* «бежит», лит. *juoksee*). Лучше других сохраняются такие диалектные черты, которые сами носители диалекта не замечают, например, полная утрата конечного *k* в позиции перед согласным, где в произношении литературного языка и в большинстве диалектов выступает двойной согласный, идентичный начальному согласному следующего слова (*tulet tänne* < **tulek tännek* «иди сюда», в юго-восточном диалекте *tule tänne*).

В фонологии и морфологии прибалтийско-финских языков важное место принадлежит долготе согласных и чередованию одиночных и двойных согласных. Представитель младшего поколения лингвистов А. Миеликяйнен в своей статье (с. 93—117) описывает такие встречающиеся в отдельных диалектах случаи геминации согласных, которые до сих пор системно не изучались. Автор пытается выяснить ход развития этих явлений и связи их с другими, хорошо известными типами геминации. Рассматриваемые Миеликяйненом явления не регулярны ни фонетически, ни морфологически; здесь налицо лишь зарождающиеся звуковые изменения. Материал статьи представляет интерес с точки зрения общей теории звукоизменений. Автор, однако, не делает никаких обобщений в этом плане.

Статья Х. Паунонена «Заметки об исследовании городских диалектов в Финляндии» (с. 119—138) представляет сравнительно новую область диалектологии. В 1972 г. была создана группа лингвистов для изучения социального варьирования разговорной речи в Хельсинки, позже были охвачены исследованием города Турку, Тампере и Ювяскюля. В статье рассматриваются два фонетических явления — сочетание согласных *ts* и звук *d* как слабоступенное соответствие *t* — в речи разных социальных и возрастных групп жителей Хельсинки и Там-

пере. Информанты составляли три группы в зависимости от образования и рода деятельности, каждая из них в свою очередь делилась на три возрастные группы. Во всех группах наблюдалось употребление форм, не свойственных литературному языку. Наиболее близкой к последнему оказалась речь пожилых людей с высшим образованием, и напротив, пожилые представители рабочего класса употребляют особенно много диалектных форм. Языковые различия между возрастными группами в настоящее время все же значительнее, чем между социальными слоями. Молодежи свойственно избегать отдельные формы литературного языка. Хотя встречающиеся в речи горожан формы нелитературного языка имеют диалектный источник, мы не всегда имеем дело с непосредственным влиянием определенного диалекта; в городе скорее складывается новая система, состоящая из элементов литературного языка и различных диалектов. Например, в речи молодежи Хельсинки получила распространение утрата слабоступенного соответствия *t* (*kaheksan* «восемь» вм. лит. *kahdeksan*), что представляет собой восточнодиалектное явление, хотя в Хельсинки процент жителей — выходцев из Восточной Финляндии невелик. По примеру Хельсинки такие формы распространились и в Тампере, причем для территориальных диалектов этого района они совершенно чужие. Характерна также и лексикализация фонетических явлений: произношение *tt* вм. *ts* литературного языка, которое во многих территориальных диалектах вполне закономерно, в городской речи касается только определенных слов.

А. Ряйсянен в статье «Взаимоотношения непроизводного и производного слова в финском языке» (с. 136—156) разрабатывает такие вопросы, как цепи словообразования и связи между их звеньями в сознании говорящего, так называемое регрессивное словообразование (от суффиксального слова производится слово того же корня без суффикса), роль памяти и творчества в образовании производного, граница между корнем и суффиксом. Автор считает, что говорящий на родном языке при образовании производного опирается как раз на словообразовательные цепи, причем направление словообразования может быть у разных людей различным. Утверждения автора подкрепляются проведенными им психолингвистическими опытами, а также фактами лингвогеографии и истории языка.

И. Савиярви анализирует избыточность при выражении отрицания и возможное опущение отрицательного глагола в финских диалектах (с. 157—174). В большинстве финно-угорских языков отрицание передается с помощью специального отрицательного глагола, который изменяется по лицам и числам, причем главный глагол остается без личного окончания. Кроме того, в предложении могут выступать факультативные отрицательные элементы, которые призваны подчеркнуть отрицающее содержание предложения. В финском языке такими элементами служат, например, усилительный суф. *-kaan/kään* (в утвердительном предложении ему соответствует суф. *-kin*), который может присоединяться как к именам и глаголам, так и к наречиям, а также такие возможные только в отрицательных предложениях слова, как *ensinkään*, *suinkaan* «никак нет», *ainakaan* «по меньшей мере нет», *koskaan* «никогда», *kukaan* «никто», *mikään* «ничто». Благодаря этим элементам в диалектах возможен эллипс отрицательных глаголов, например, *miä enää muistakka* (*-kka* = *-kaan*) *sitä paikkaa* «я больше не помню этого места», вм. *miä en* (форма 1-го л. отрицательного глагола) *enää muistakka sitä paikkaa*. Таким образом, и в финском языке закладываются основы для такого же развития, как в венгерском языке, где общефинно-угорский отрицательный глагол полностью утрачен.

В последней статье сборника (с. 175 — 189) инициатор создания Архива звукозаписей финского языка П. Виртаранта рассказывает о деятельности этого учреждения. Широкое использование магнитофонов для сбора языкового материала началось в Финляндии в 50-е годы. Для координирования этой работы и сохранения записей в 1959 г. был основан вышеназванный архив, который в настоящее время действует при Научно-исследовательском центре языков Финляндии и является одной из основных исследовательских баз для диалектологов. Поскольку появились признаки быстрого нивелирования диалектов, приходилось спешить. Первоначальный план предусматривал записать по каждому финскому говору — а их насчитывается 475 — по меньшей мере 30 часов языковых образцов. К настоящему времени это задание в основном выполнено, а в отношении многих говоров и перевыполнено. К концу 1980 г. в архиве находилось 14 233 часа звуковых записей финских говоров. Из других финно-угорских языков больше всего материала собрано по карельскому — 1269 часов. В рамках научно-технического сотрудничества между СССР и Финляндией финские лингвисты (много раз и П. Виртаранта) проводили запись диалектной речи карельского, эстонского, водского, ливского, мордовского и других языков на территории Советского Союза. Сейчас, по мнению П. Виртаранта, одной из главных задач является запечатление финской разговорной речи нашего века в ее разнообразных проявлениях. По возможности следует продолжать также записи других финно-угорских языков, желательно в сотрудничестве с советскими и венгерскими лингвистами. Работники архива занимаются также расшифровкой магнитофонных записей и публикацией соответствующего материала. В результате этой работы уже увидели свет несколько десятков книг диалектных текстов финского и родственных ему языков, часть из них в фонетической транскрипции, другая часть, предназначенная для широкого читателя, в более простой записи.

Лаанест А. Х.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Rapola M.* Suomen kielen äännehistorian luennot. Helsinki, 1966.
2. *Kettunen L.* Suomen murteet III A. Murrekartasto. Helsinki, 1940.
3. *Martinet A.* Économie des changements phonétiques: traite de phonologie diachronique. Berne, 1955, p. 311—323.
4. *Posti L.* From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic.— FUF, 1953, Bd. 31.
5. *Ariste P.* Ühest eesti keele astmevahelduse küsimusest.— Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised, 1954, k. III.
6. Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. М., 1975, с. 36—37.
7. *Kiviniemi E.* Väärät vedet. Tutkimus mallien osuudesta nimenmuodostuksessa. Helsinki, 1977.
8. *Lehtinen T.* Itämerensuomen verbien historiallista johto-oppia: suomen *avajaa*, *karkajaa*-tyyppiset verbit ja niiden vastineet lähisukukielissä.— MSFOu, 1979, t. 169.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11—13 мая 1983 г. в г. Телави (ГрузССР) проходила III Всесоюзная конференция по ономастике Кавказа, организованная Отделением языка и литературы АН ГрузССР, Институтом этнографии АН СССР и Тбилисским государственным университетом.

В работе конференции приняли участие свыше 80 специалистов почти из всех союзных и автономных республик и областей Кавказа, из Москвы и Ленинграда.

Доминирующая тематика конференции — топонимия и антропонимия: аспекты рассмотрения изучаемого материала: структура и семантика, мотивация и функционирование собственных имен, языковые контакты, этимология, топонимические параллели, передача топонимов на другой язык и т. д.

Около десяти докладов было посвящено комплексным вопросам ономастики. Ш. В. Дзидзигури (Тбилиси), открывший конференцию, кратко охарактеризовал ономастическую работу в Грузии. В. А. Никонов (Москва) коснулся узловых вопросов ономастики Кавказа, отмечая достижения и пробелы исследовательской работы в этой области. В докладе Б. А. Джорбенадзе (Тбилиси) рассматривались основные принципы номинации и вопросы функционирования имен собственных. А. М. Решетов (Ленинград) остановился на проблеме взаимосвязи ономастики и этнических процессов на Кавказе в советское время в условиях развития полилингвистической ситуации. Ю. Д. Каражаев (Орджоникидзе) охарактеризовал синтаксические отношения в ономастике. В. В. Истомина и Л. Х. Цыпленкова (Майкоп) представили сопоставительный анализ устойчивых сочетаний с участием собственных имен в русском и адыгейском языках. К. Г. Алиев (Баку) докладывал об ономастике Азербайджана, а Ш. М. Саадиев (Баку) — об ономастике крызцев. Р. Ю. Намитокова и М. Х. Шхапацева (Майкоп) коснулись общих вопросов окказиональной ономастики в художественном тексте.

Топонимия. Значение топонимии для истории языка, в частности, дифференциации родственных языков, продемонстрировал Г. В. Топуриа (Тбилиси) на примере ряда топонимов и этнонимов из региона юго-западной Грузии. Т. М. Ахмедов (Баку) подчеркнул роль субстратных топонимов при изучении становления и развития языка (на материале топонимии Азербайджана).

Топонимия привлекалась также для решения задач исторической географии, археологии и этнографии. По этим проблемам выступили: А. Н. Карсанов (Москва) с докладом «В поисках ясского города Дедяков», Т. К. Микеладзе (Тбилиси) — «О вероятностной увязке данных топонимии и археологии и опыт реконструкции этнических процессов в древней Колхиде». С. К. Керимов (Баку) и М. О. Османов (Махачкала) привлекли топонимию юго-западного Азербайджана и скотопрогонных трасс даргинцев для восстановления исторической картины хозяйственной деятельности этих народов.

Особое внимание уделялось этнотопонимии. Адыгейские топонимы этнического происхождения проанализировал К. Х. Меретуков (Майкоп), тюркские — Г. Дж. Агаев, М. К. Гаджихалилов и С. Н. Мирмахмудова (Баку), дагестанский этнотопоним *Зирихгеран* — Т. М. Айтберов (Махачкала). Э. Г. Хинтибидзе (Тбилиси) отметил факты идентификации этнотопонимов *Эфиопия* и *Индия* на основе их одинаковой интерпретации древними греками и рядом народов Кавказа и Малой Азии.

И все же большинство докладов по топонимии составили этимологии. Постулируя маловероятность локальных названий больших горных регионов, О. Н. Трубачев (Москва) предложил этимологию топонима *Кавказ* из индоарийского (праиндийского); наиболее авторитетным вариантом признается *Groucasim*. В докладе К. В. Ломтатидзе (Тбилиси) ороним *Эльбрус* рассматривался как источник для абхазского названия того же объекта — *Ерцахв*. Этимологию ойконима *Баку* представил Ш. З. Бахтиев (Баку). Г. В. Бедошвили (Тбилиси) предложил новую этимологию грузинского гидронима *Мткварн*; этот же гидроним, а также название центральной части Грузии — *Картли* — попытался этимологизировать В. Т. Алпенидзе (Тбилиси). К. Ш. Микаилов (Махачкала) дал этимологический анализ грузинского ойконима *Марнеули*, а У. Д. Салтхуцишвили (Тбилиси) — микротопонима *Тевали*. З. Г. Чумбуридзе (Тбилиси) проанализировал грузинские топонимы, содержащие картвельские названия дуба. В докладе П. М. Мура-

дяна (Ереван) обсуждалась этимология зафиксированного в древнеармянском термина *Тапаракан* и социального термина позднего средневековья *Табарук*. Североосетинские топонимы грузинского происхождения рассматривались в докладах Т. А. Гуриева (Орджоникидзе) и М. К. Санакоти (Тбилиси), а так называемые «гибридные топонимы» Южной Осетии — в докладе З. Д. Цховребовой (Цхинвали). Л. В. Гогичаева (Орджоникидзе) представила этимологии и исторические справки по трем русским и осетинским топонимическим парам. Ж.Б. Логашова (Москва) докладывала об истории топонимии Каспийского моря, а Л. Г. Гулиева (Баку) — о русской топонимии на территории Закавказья и Северного Кавказа.

Интересными оказались доклады по топонимическим параллелям. Р. В. Гордезиани (Тбилиси) на основе сопоставительного анализа ряда догреческих и картвельских топонимических параллелей указал на наличие компонента картвельского типа в Эгеиде. Г. И. Донидзе (Москва) представил сопоставительную характеристику различительных определений в топонимии Грузии и Азербайджана, повторяющихся у нескольких однородных близлежащих географических объектов. Анализ параллельного употребления русских и грузинских эквивалентов позволил К. Б. Лернеру (Тбилиси) привлечь микротопонимию и собственно урбонимию в качестве социолингвистических маркеров.

В отдельных докладах освещались вопросы структуры и семантики топонимов: грузинские гидронимы рассматривались в докладах Л. Ю. Асатиани и Б. А. Цхададзе (Тбилиси); Э. Б. Нуриев (Баку) проанализировал названия рек южного склона Большого Кавказа, а М. А. Аббасова (Баку) — оронимию Апшеронского полуострова и Гобустана. П.А. Цхадая (Тбилиси) охарактеризовал картвельскую микроойконимию по принципам первичной и вторичной номинации, распределив основные словообразовательные типы по картвельским языкам. А. К. Чкадуа (Тбилиси) изучил алломорфы общекартвельского суффикса генитива **-is* в сванской топонимии, а В. Г. Джиганян (Ереван) выделил топонимы Армянского нагорья, оканчивающиеся на *-ур*.

С региональными топонимическими обзорами выступили: по ногайской топонимии — М. А. Булгарова (Черкесск), абазинской — С. Х. Ионова (Майкоп), азербайджанской — А. А. Ахундов и Ш. М. Саадиев (Баку).

В трех докладах освещались вопросы передачи топонимов на другой язык. В. Ш. Джоджуа (Тбилиси), выделив несколько способов передачи топонимов Древней Грузии у античных авторов (заимствование, перевод, повторная номинация), отметила большую устойчивость грузинских форм. Г. И. Цибахашвили (Тбилиси) поэтапно охарактеризовал историю адаптации грузинских топонимов в русском языке. Р. К. Чокаев (Грозный) докладывал о русской и вейнахской транскрипции чечено-ингушских топонимов.

Плодотворно работала и секция **антропонимии.** Доклад А. А. Глонти (Тбилиси) был посвящен анализу грузинских подфамилий (так называемых «сахинджари»), причин и условий их возникновения и функционирования в грузинской антропонимической системе. Ш. Т. Апридонидзе (Тбилиси) рассмотрела табуирование имен и многоименность среди восточногрузинских горцев. И. М. Вешапидзе (Тбилиси) коснулся образования исконных грузинских имен от личных форм глагола, а А. Э. Гвенцадзе (Телави) — образования уменьшительно-ласкательных форм грузинских мужских имен. О восточногрузинских прозвищах докладывала Л. К. Шалваштвили (Телави). К. М. Годердзишвили (Тбилиси) дала общую характеристику имен персонажей на материале грузинской литературы XII—XX вв.

А. Н. Абрегов (Майкоп) выявил закономерности использования названий растений в качестве антропооснов в картвельских и абхазско-адыгских языках. В. А. Флоровская и Э. Р. Хуг (Майкоп) представили результаты комплексного исследования адыгейского именника за 1971—1980 гг., а З. У. Бляго з (Майкоп) — структурно-семантический анализ исконно адыгейских фамилий. Дж. Н. Коков (Нальчик) проанализировал адыгские антропонимы, происходящие от этнонимов и топонимов. А. А. Магометов (Тбилиси) представил сопоставительный анализ личных и родовых имен аула Кубачи и антропонимии других даргинских диалектов. Г. Г. Буржунов (Махачкала) остановился на исконных лакских именах. Т. З. Козырева (Орджоникидзе) коснулась этнофорных имен в осетинской антропонимии, а Р. Л. Сельвина (Элиста) классифицировала калмыцкие женские имена по семантической мотивировке. Тюркские имена в армянских письменных источниках V—VIII в. и эпиграфических памятниках XIII—XIX вв. исследовал Ю. Б. Юсифов (Баку). Вопросы структуры и семантики азербайджанских антропонимов освещались в докладах А. М. Пашаева, М. М. Адилова (Баку) и М. Н. Чобанова (Тбилиси).

Всего несколько докладов были посвящены **этнонимии.** В докладе А. А. Абдуллаева (Махачкала) обсуждался вопрос взаимоотношения билингвизма и этнонимии на материале дагестанских этнонимов. Н. П. Гордеев (Москва) коснулся древнейших ономастических связей северо-восточного Средиземноморья. К. З. Чокаев (Грозный) представил этимологию самоназвания чеченцев — *нохчи//нахчи*, а К. Х. Хагурова и Р. Ю. Намитокова (Майкоп) — этнонима *нарты*, функционирующего в эпосе, как самоназвание этнической общности.

Эпизодический характер имели сообщения по **теонимии.** О лезгинских теонимах докладывали Р. Ризванов (Кусары) и А. А. Селимов (Махачкала).

Вовсе не затрагивались, к сожалению, вопросы зоонимики, ктематонимики, космонимики.

На заключительном заседании были заслушаны сообщения П. А. Цхадая — о работе Топонимической лаборатории ТГУ и Г. И. Донидзе — о работе сектора методики стандартизации географических названий Отдела географических названий Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэросъемки и картографии. Обсуждались два сборника «Ономастика Кавказа». Подытожив работу конференции, председатель оргкомитета В. А. Никонов и ученый секретарь Ж. Б. Логашова отметили высокий научный уровень конференции, упомянув и о некоторых недостатках, касающихся в основном пассивного участия ряда регионов (Армении, Абхазской АССР). Была принята резолюция о преобразовании Топонимической лаборатории ТГУ в Ономастическую (по характеру выполняемой работы). Ориентировочным местом проведения IV конференции по ономастике Кавказа был назван г. Нальчик.

Апридонидзе Ш. Т. (Тбилиси)

С 27 по 29 января 1983 г. в Орле проходила региональная научно-техническая конференция на тему «Межъязыковые коммуникативные связи и научно-технический перевод», организованная Орловским областным правлением НТО «Машпром», Орловским филиалом Всесоюзного заочного машиностроительного института и Орловским центром научно-технической информации. Оргкомитет (председатель Ю. А. Орлов, сответственный секретарь О. Н. Кныш) проделал большую работу по организации и проведению конференции. На конференции было заслушано 26 докладов и сообщений. С вступительным словом выступил директор Орловского филиала Всесоюзного заочного машиностроительного института О. А. Горлов.

На конференции был обсужден широкий круг вопросов, интересующих сегодня лингвистов многих специальностей, в частности вопросы соотношения языка и мышления, общей теории языка, языковых контактов и интерференции, теории и практики перевода, терминологии и лексикографии, структурно-семантического анализа конкретных языков и подъязыков.

Некоторые проблемы соотношения языка и мышления нашли отражение в докладе Г. Г. Инфантовой (Таганрог) «К вопросу об отражении закономерностей внутренней речи в спонтанной разговорной речи», в котором отмечается зависимость синтаксиса спонтанной разговорной речи от закономерностей внутренней речи, которая, в свою очередь, обусловлена способностью сознания быстро переключаться с мысли на мысль. Мышление, по автору, имеет опережающий характер, отражаясь, в частности, в употреблении вставочных конструкций. О. А. Теплоухова (Москва) прочитала доклад на тему «Японский язык и доминантность мозгового восприятия».

Некоторых аспектов общей теории языка коснулась Н. В. Черемисина (Москва) в докладе «Принцип экономии в системе языка и в процессе коммуникации». В докладе отмечалось, что к законам экономии в диахронии относятся многозначность слова, омонимия, дублетные синонимы, а в синхронии — отбор единиц языка, их комбинаторика. Той же тематике посвящены доклады И. С. Торопцева (Воронеж) К вопросу о подсистемах языка» и К. Я. Авербух (Москва) «Проблема перевода и языковая компрессия». О связи теории языка и перевода говорилось в докладе П. И. Копанева (Минск) «О единицах сопоставительного анализа языка оригинала и языка перевода в их коммуникативной направленности (широкая и узкая пресуппозиция)».

Проблемы языковых контактов и интерференции при двуязычии обсуждались в нескольких докладах. В докладе «К типологии языковых контактов» М. А. Бородина (Ленинград), исследуя причины возникновения языковой интерференции в многоязычных странах, устанавливает два типа языковых контактов: между разными языками и между разными статусами (стратами) одного языка. В. В. Акуленко (Киев) в докладе «Интерференция в сфере лексики и ее влияние на речевую коммуникацию» рассматривает вопросы интерференции как проблему практического перевода. Вопросы интерференции и языковых контактов обсуждались также в сообщениях О. С. Сапожниковой (Горький) «Изображение языковых контактов в текстах» и О. В. Буш (Рига) «Специфика системы разговорной речи языка, функционирующего в условиях двуязычия».

В большей части докладов и сообщений освещались проблемы теории и практики перевода. Взаимодействие языков при переводе было раскрыто в докладе Ф. А. Литвина (Орел) «О лингвистике, поэтике и научной терминологии». В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) «О системе машинного перевода ЭТАП-I» была описана экспериментальная система автоматического перевода (АП), разработанная им в Институте «Информэлектро» совместно с Л. Л. Цинманом, и рассмотрен вопрос о связи проблем АП с вопросами теоретической лингвистики. Основным теоретическим результатом экспериментального функционирования системы АП докладчик считает концепцию единого (интегрального) описания языка. Практические вопросы перевода и моделирования нашли отражение в сообщениях Л. В. Дубровиной (Москва) «Пути и способы заимствования медицинской лексики», Л. Г. Акуленко (Киев) «О системных и норма-

тивных соответствиях в лексико-семантических системах языков (на материале немецкого и русского языков)», Н. И. Зимомри (Ужгород) «К вопросу о функциональном моделировании и генезисе перевода».

В некоторых докладах были освещены проблемы терминологии и лексикографии. Вопросы проникновения терминов в литературный язык были подняты в докладах А. В. Суперанской (Москва) «Национальный литературный язык и язык для специальных целей» и в совместном докладе Б. М. Балина и С. П. Островской (Калинин) «Термины протяженности в двуязычных немецко-русских словарях». Некоторые проблемы грамматической ассимиляции иноязычных терминологических заимствований очерчены в докладе В. Е. Ярнатовской и Г. С. Шиповой (Москва) «Иноязычные термины и их морфологическое оформление». В. М. Лейчик (Москва) сделал доклад на тему «О преобразовании семантического треугольника в терминологии и об удвоении схемы при переводе терминов».

Некоторые вопросы конкретного структурно-семантического анализа раличных языков и подъязыков нашли отражение в сообщениях В. В. Жуковой (Москва) «О коммуникативной значимости семантических связей слов в рамках научно-техничского текста», Н. П. Макаровой (Саранск) «К проблеме функциональной реализации неместоименного вопросительного предложения в диалоге», А. М. Косякина (Ковров) «Предлог *als* и статус заимствованных предлогов», Ю. Г. Новиковой (Красноярск) «Публицистические фразеологические единицы в двуязычной ситуации», З. Г. Даштамировой (Алма-Ата) «Явление парцелляции в типологическом аспекте», Н. В. Гуровой (Магнитогорск) «О терминологических сложных единицах».

Выступившие в прениях высказали мысль о важности сотрудничества русистов и филологов, занимающихся иностранными языками. Было отмечено, что данная научная конференция явилась хорошим импульсом к дальнейшим лингвистическим разысканиям. С заключительным словом выступил заместитель председателя секции научно-технического перевода Ю. Г. Коротких, рассказавший о задачах и перспективах очередной конференции, посвященной теории и практике перевода, которую намечено провести в 1985 г.

Кривоносов А. Т. (Москва)

CONTENTS

Articles: Česnokov P. V. (Taganrog). Logic and semantic forms of thought as meanings of grammatical forms; Petr J. (Prague). The International working-program «National languages in developped socialist society; **Discussions:** Gorelov I. N. (Saratov). Lingustic problems of artificial mind; Menovščikov G. A. (Leningrad). Eskimo-Aleut linguistics; Results and problems; Zuravlev V. K. (Moscow). Diachronic phonology. The present state and perspectives; Šabes V. Ya. (Leningrad). Extrapolation of meaning units unto the level of expression; Vasčenko V. (Bucharest). The grammatical category of common gender; Popova Z. D. (Voronež). Can syntax dispense with parts of the sentence?; **Materials and notes:** Selov S. D. (Moscow). Terminology, professional word-stock and professionalisms; Alekseev M. E. (Moscow). On the classification of the Lezguinian languages; Vejxman G. A. (Moscow). Text linguistics and problems of the complex sentence; Muravickaja M. P. (Kiev). Psycholinguistic aspects of the interaction of the lexical and the grammatical in the word; **Surveys:** Mel'nicuk A. S. (Kiev). Linguistic problems at the IX International Congress of slavists; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Česnokov P. V. (Taganrog). Formes logiques et sémantiques de la pensée en tant que *signification* des formes grammaticales; Petr J. (Pragulé). Programme international de travail «Langues nationales dans la société socialiste développée; **Discussions:** Gorelov I. N. (Saratov). Problèmes linguistiques de l'intellect artificiel; Menovščikov G. A. (Léningrad). Linguistique esquimau-aléutienne. Résultats et problèmes; Zuravlev V. K. (Moscou). Phonologie diachronique. État actuel et perspectives; Šabes V. Ya. (Leningrad). Sur l'extrapolation des unités du contenu sur le plan de l'expression; Vasčenko V. (Bucarest). La catégorie grammaticale du genre commun en russe; Popova Z. D. (Voronež). La syntaxe peut-elle se passer de la théorie des termes de proposition?; **Matériaux et notices:** Selov S. D. (Moscou). Terminologie, lexique professionnel et professionalismes; Alekseev M. E. (Moscou). Sur la classification des langues lezguiniennes; Vejxman G. A. (Moscou). Linguistique du texte et problèmes de la phrase complexe; Muravickaja M. P. (Kiev). Aspects psycholinguistiques de l'interaction du lexical et du grammatical dans le mot; **Revues:** Mel'nicuk A. S. (Kiev). Problèmes linguistiques au IX Congrès International des slavistes; **Comptes rendus**; **Vie scientifique.**

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.06.84 Подписано к печати 11.09.84 Т-13353 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 12,6 Усл. кр.-отт 74,0 тыс. Уч. изд. л. 15,0 Бум. л. 4,5
Тираж 5795 экз. Зак. 323

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10